

Непрошедшее прошлое

Собрание сочинений Шимона Маркиша

Том 2

Эразм и его время

que numero poni, tum полѣтъ
Idque tibi non minus displicebat, cum
hunc Psalmum. Quandoquidem plura
trahis ad tres personas, Patrem, Filium
Sanctum. Hanc vero novam regulam
Hebraeus aliquis suppeditavit, nec a
fideo. certe nullus Hebraeorum negat
um esse Deo, eloim nunc poni
pro Deo, adjuncto consortis, sicut
mundo faciamus, inquit, hominem : nunc pro An-



pro Primatibus, aut Judicibus, nunc
hoc tantum volunt interesse inter
Malachim, quod Malachim dicantur An-
es ad functionem aliquam mittuntur,
les dignitas et eminentia declaratur. Ad-
ajuta, quoties eloim usurpatur absque
alutatis, semper ventisse Deum. Id si ve-
t hoc loco ventissent Deum, cum absit

Непрошедшее прошлое

**Собрание сочинений
Шимона Маркиша**

Том 2

Эразм и его время

Составитель
Zsuzsa Hetényi

ELTE — MűMű
Budapest, 2021

Издание Ателье Художественного Перевода (MűMű) ЭЛТЕ, Будапешт
Published by the Atelier of Literary Translation MűMű, Budapest
Kiadja az Eötvös Loránd Tudományegyetem MűMű Műfordító Műhelye

Ответственный редактор
Жужа Хетени / Zsuzsa Hetényi

*В конце работы над серией составитель был аффилирован–ным научным
сотрудником в ИПИ ЦЕУ (2020–2021).*

At the end of her work with this series the Editor was Affiliated Senior Fellow at
Institute for Advanced Study of Central European University (2020–2021).

На обложке

Конспект по Эразму из архива Шимона Маркиша

Иллюстрация к «Adagia» («Адагии. Пословицы») первого парижского
издания, 1550. (Из издания: Markis Simon. Rotterdami Erasmus, 1976)

Ганс Гольбейн мл. Портрет Эразма Роттердамского, 1523. Kunstmuseum, Basel

*Публикация в открытом доступе в интернете позволяет вносить
поправки. Просьба сообщить об опечатках или ошибках по адресу:
phd.kny@gmail.com*

Тексты этой книги представляют собой **ограниченный
авторскими правами материал**, обязывающий на
цитирование и ссылки согласно академическим правилам.
Публикация в любой форме возможна только по договору и
с разрешения владельца авторских прав, составителя книги.

Корректурa, техническая редакция:

Евгения Волнова, Наталия Дьяченко (с поддержкой ЦЕУ ИПИ),
Анель Коженбергенова, Антонина Краснопольская

© Шимон Маркиш (*наследник*) / Shimon Markish (*heir*)

© Жужа Хетени / Hetényi Zsuzsa

ISBN 978-963-489-270-0

Содержание

<i>«Непрошедшее прошлое» (От составителя).....</i>	<i>5</i>
<i>Жужа Хетени</i>	
<i>«Образ мира, в слове явленный...»</i>	
<i>(Предисловие ко второму тому).....</i>	<i>9</i>
Прощание с Эразмом, или	
Был ли Эразм антисемитом (2001).....	23
Прощание с Эразмом (посмертно, 2004).....	29
Первое русское издание	
произведений Гуттена (1960).....	33
Эразм из Роттердама	
(к 500-летию со дня рождения) (1966).....	39
Похвальное слово Эразму из Роттердама (1966).....	69
Эразм Роттердамский (1969).....	75
Знакомство с Эразмом из Роттердама (1971)	98
Ян Панноний — взгляд со стороны (1972).....	353
(Перевод с венгерского Наталии Дьяченко)	

Из переводов

Письмо Яна Паннония Галеотто Марцио (1962)365

Письмо Андрея Кржицкого (Криция)

Эразму Роттердамскому (1962)371

Эразм Роттердамский:

Навозник гонится за орлом (1971).....377

Жужа Хетени

Краткая биография Шимона Маркиша413

Библиография работ Шимона Маркиша

по Эразму и его эпохе416

A Summary.....419

Жужа Хетени

«НЕПРОШЕДШЕЕ ПРОШЛОЕ»

От составителя

Эта книга является вторым томом в серии «Непрошедшее прошлое. Собрание сочинений Шимона Маркиша». Публикация первых томов приурочена к 90-летию со дня его рождения, к 6-му марта 2021 года.

Во второй том собрания сочинений Шимона Маркиша вошли разные тексты об эпохе Возрождения и Реформации. Текст книги «Знакомство с Эразмом из Роттердама» (1971) сопровождается статьями, опубликованными в основном в период с 1966 по 1986 год о Гуттене, Эразме и об их эпохе. Поздние лекции-близнецы с похожими названиями знакомят читателя с историей исследования Эразма в советские времена и с автором в нем. В том включены три перевода: среди них — «Навозник гонится за орлом» Эразма, аллегория о тирании. Новизна книги — статья о Яне Паннонии, переведённая с венгерского (оригинал не сохранился), и два забытых перевода 1962 года, упомянутых в этой статье и найденные вместе с другими пятью только в 2021 году. Открытый доступ позволит строкам Маркиша достичь заинтересованных специалистов и широкого круга русскоязычных читателей.

Настоящая книга является результатом независимого и никем не поддержанного проекта (в соответствии с таким же статусом Маркиша в науке). В нем составителю-редактору-издателю томов (с неродным русским языком), автору этих строк помогали лишь студенты-непрофессионалы.

В тома серии входят и архивные, никогда не печатавшиеся материалы, или печатавшиеся только на других языках; и также в полной форме те тексты, которые при первой публикации были сокращены.

Уникальность серии состоит и в стремлении к полноте в том, что она охватывает все творчество Маркиша, филолога-классика, исследователя эпохи гуманизма-ренессанса-реформации и основателя ныне расцветающей исследовательской области «русско-еврейская литература»; и в том, что он показан в ней как ученый, публицист и переводчик одновременно, но, главное, в том, что — в отличие от первых изданий текстов (нередко с ошибками) и их нелегальных версий (и в интернете, и в форме книг) — все тексты поправлены на основе оригиналов, не только рукописей и машинописей, но и подправленных руками автора окончательных версий, после публикации статей в журналах и книгах. (Маркиш регулярно правил уже вышедшие в печати тексты, куда могли закрасться опечатки.)

Цитаты, слова и названия источников на восьми иностранных языках, активно используемых Маркишем, должны даваться без ошибок в соответствии с этими языками. При этом иногда нужно вносить правку и в рукопись самого автора, который в большинстве случаев (до 1999 года) печатал свои тексты на машинке, не всегда выкручивая расползающиеся листы из одной машинки, чтобы вкрутить в другую для смены шрифта. Например, если бы Маркиш печатал в наши дни, вместо названия журнала *Комментэри* дал бы *Commentary*. Изменения и исправления такого порядка были сделаны мной. Однако, троеточия для обозначения пропуска в статьях и цитатах были оставлены.

Томы распределены тематически, по главным направлениям деятельности Шимона Маркиша на протяжении его творчества. Таких направлений было три, как он сам выражался, у него было три жизни: античность, эпоха ренессанса-реформации (Эразм) и история русско-еврейской литературы (со второй половины XIX века). Эти три периода связаны, с одной стороны, с

переводческой деятельностью разной степени интенсивности, а с другой стороны — с его биографией, переездами и переселениями. По паспорту и хронологии это были Советский Союз, Венгрия, Израиль и Швейцария. «Языковая биография» Маркиша тоже многоцветна — мастер русского родного, греческого и латыни, переводчик с английского, венгерского и немецкого, говоривший на французском, разбиравший библейский древнееврейский, охотно болтавший на итальянском и неохотно — на немецком, с грехом пополам, но с большой любовью — на иврите и на идиш (и это слово, следуя примеру Жаботинского, он никогда не склонял).

Тексты публикуются в соответствии с примерной хронологией творчества самого автора, которая удивительно совпадает с хронологией культуры человечества и чуть ли не полностью ее охватывает. Не зря Маркиша называли и энциклопедистом, и гуманистом, и космополитом культуры. Внутреннее время его публикаций по темам анализа охватывает диапазон с эпохи древнейших Псалмов до его современника Фридриха Горенштейна. Хронология соблюдается и внутри томов, ибо первичной целью собрания сочинений является показать пройденный автором путь, и даже если жанровые и тематические принципы иногда пересекаются. на первом плане стоит эта внутренняя линия творчества Маркиша, путь его становления и развития.

Общее предисловие к серии об истории архива помещено в первом томе.

Любые предложения к коррекции и улучшению принимаются с благодарностью¹.

¹ По адресу, который служит и для заказа печатной версии через книжный сайт в системе «book on demand»: **phd.kny@gmail.com**.

«ОБРАЗ МИРА, В СЛОВЕ ЯВЛЕННЫЙ»

Предисловие ко второму тому «Эразм и его время»

ЖУЖА ХЕТЕНИ

Сомнений нет — в следующей после античности научной области Маркиш снова нашел (или создал?) для себя то «непрошедшее прошлое», которое сопровождало его в течение всей жизни и стало его ведущим концептом, а то и частью мировоззрения. Его книга об Эразме, вероятно, законченная в год переезда в Венгрию и вышедшая на год позже, в 1971-м, создавалась, как мне представляется, в предвкушении освобождения от советской среды. В ней он выделяет у Эразма «скрытую жажду духовной свободы, духовного равновесия, неподвластности обстоятельствам», а в обращении к читателю он эзоповым языком иносказания пишет о своем решении: «...Эразм призывает и к освобождению не только от внутреннего рабства, но и от тиранической власти обстоятельств, не дающих человеку разогнуться, поднять голову, ощутить себя человеком в истинном смысле слова. Решится ли кто отрицать непреклонный максимализм и непреходящую ценность этого требования?»². В этом тексте даже нынешнее поколение легко выделит слова «призыв к освобождению от тиранической власти», в которых звучит резкость мнений, которую Маркиш высоко ценил и у Эразма, и у Жаботинского, и которая формировала голос будущего эссеиста на злобу дня, не без интонации пафоса в стиле.

² Знакомство с Эразмом из Роттердама. М., Издательство «Художественная литература», 1971.

В первой части «Знакомства с Эразмом из Роттердама», в коротком эссе «Вместо биографии» Маркиш обещает показать через пространные отрывки Эразма его «образ мира, в слове явленный», дав цитату без ссылки, а это ведь цитата из стихотворения «Август» Бориса Пастернака из цикла к роману «Доктору Живаго», который нельзя было прочесть в те годы иначе чем в самиздате или в тамиздате, а цитировать в публикации мало кто осмеливался. Маркиш продолжал воспринимать прошлое и современность в прямой и прочной связи. Личная тональность со временем всё больше проявляется в его текстах, перед которыми, конечно, он неизменно отдаёт дань памяти отцу — тоже жест вызова, адресованного режиму. Эпиграф «Перецу Маркишу всегда и везде» в начале книги «Никому не уступлю» как будто читается вместе с заглавием.

Материал данного тома, как и другие темы творчества Маркиша, естественно, можно интерпретировать с разных сторон. Основной аспект прочтения, релевантный в первую очередь для исследователей, раскрывает в материале данного тома идеи и личность Эразма, гуманиста-реформатора. Другое прочтение позволяет проследить в текстах отблеск эпохи написания, контекст сложного исторического периода через аллегории и параллели (как например слова о тирании). А с третьего аспекта откроется творческий путь Маркиша через хронологическую презентацию его работ, а при более близком рассмотрении — через его выборы тем, фокус внимания и насыщенный нарративными приемами стиль — и его скрытые исповеди. К примеру, выбор произведения «Навозник гонится за орлом» для перевода можно считать неслучайным — его принято толковать как текст о тиранах, основанный на аллегории басни Эзопа. В названии книги об Эразме для юношества (по жанру — продолжения пересказов Маркиша по Гомеру и по Плутарху) тональность вызова выдвинута прямо в название, выражена в цитате от Эразма: «Никому не уступлю!» (1966). Этот девиз Эразма, «*concedo nulli*», тем важнее для Маркиша, что Эразм цитирует

его из римской легенды (которая рассказывает о недвижимом пограничном камне, посвященном старому богу границ Термину при возведении нового храма Юпитера) в изложении Тита Ливия, пересказанном Маркишем в книге «Война с Ганнибалом» (1968). В статье о Яне Паннонии тоже читаем эхо времён: «век наш слышал уже достаточно панегириков, обращенных к вождям и наставникам всевозможных рангов» (1972).

В решении обратиться к исследованиям эпохи Возрождения для Маркиша послужили толчком и редакция перевода П. Губера «Похвалы глупости» (1958), и перевод Ульриха фон Гуттена (1959), сначала сторонника, а затем противника Эразма, — поэтому рецензия 1960 года на Гуттена помещена в начало данного второго тома. В рецензии противопоставлены Гуттен и Эразм, и последнего он и в дальнейшем рассматривает в контрасте с другими мыслителями, главным образом с Мартином Лютером.

В 1966-м году наступил юбилейный год Эразма, и Маркиш опубликовал сразу три статьи по этому поводу — две из них вошли в данный том (одна из газеты «Труд» ещё не нашлась»). Конечно, в публикациях об Эразме возможны переключки и повторения, но именно они, их сопоставление интересны с точки зрения расставленных акцентов и доминант, среди которых главным является стремление высказаться эзоповым языком против советского режима и определить место, а то и задачи интеллигенции в нем — или против него. Мы помним, что занятие эпохой античности Маркиш называл «укривищем». В занятии Эразмом и в его фигуре он нашел не менее подходящее укривище — поведение: «"Никому не уступлю!" Сам он толковал эти слова как напоминание о всемогуществе смерти, которую никто не в силах остановить. Но сегодня мы вправе толковать их по-своему — как боевой клич»³.

³ Похвальное слово Эразму из Роттердама. Литературная газета 27 октября 1966, С. 3. См. в данном томе.

Для того, чтобы понять контекст эпохи написания, любопытно будет вспомнить, что как раз в это время, в 1965-м году, за год до юбилея Эразма, было опубликовано первое издание основополагающей книги Михаила Бахтина, «Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса», касающаяся исследуемой Маркишем эпохи Возрождения, но Бахтин рассматривал ее, если можно так выразиться, с противоположной Эразму стороны, с точки зрения народного сознания, а не в аспекте высокой письменной культуры богословия и философии. Разница существенная и в масштабе, и в жанре — в то время Маркиш больше работал в той области гуманитарных наук, что «обслуживает» исследования — он переводил, занимался текстологией, писал пересказы, предисловия, комментарии и статьи, которые приближали читателей к «непрошедшему прошлому», и все это выполнялось им на таком уровне, что из комментариев нередко можно составить исторический словарь по культуре данной эпохи или о данном авторе. Однако, при всем различии, творчество Рабле как точка соприкосновения с Бахтиным занимает место и в библиографии работ Маркиша — читатель Бахтина 1965 года мог обратиться к новейшему изданию Рабле⁴ в переводе Николая Любимова с пространными примечаниями Маркиша и С. Артамонова (и с не менее обширными цензурными купюрами). Перевод вышел в 1958 году. Или в 1961 году? Издание 1958 года не значится в каталогах библиотек и библиографиях, всюду зарегистрировано только издание 1961 года⁵. Оно

⁴ Франсуа Рабле. Гаргантюа и Пантагрюэль. Перевод Н. Любимова. С примечаниями С. Артамонова и С. Маркиша. М., Государственное Издательство Художественной литературы. 1961.

⁵ Текст этого издания был значительно сокращен цензурой, в нем отсутствуют целые главы. Русский читатель мог, конечно, обратиться и к более ранним переводам (1790, 1896, 1901, или к переводу В. А. Пяста 1929 года — переизданных и в 1940 и 1945. Перевод Любимова в почти полной мере восстановленным текстом был переиздан в 1973 году («Художественная литература»).

и в библиотеке Маркиша едва заметно, ибо на коричневой обложке книги ничего не написано, хотя внутри все как полагается, на титульном листе указаны название, переводчик, издательство и год. Зато примечания пестрят значительным числом чернильных поправок и добавлений двумя разными почерками на обветшалой желтой бумаге, один из них принадлежит Маркишу. На некоторых страницах стоит печать «3-я корректура», а страницы обрезаны так, что и концы некоторых строк обрезаны — значит, Маркиш (или не только он) заказал переплет для корректурного экземпляра. Возможно, речь идет об издательском, как называлось, сигнальном экземпляре внутреннего пользования (которое иногда и подавалось цензурным властям), и превратился в самиздат. Какими судьбами этот вариант дошел до издания только через три года и какие изменения претерпел, можно будет выяснить текстологической работой. В библиотеке издание 1962 года подписано Н. Любимовым: «Единственному "внутреннему" редактору, оказавшему мне большую помощь в работе; во-вторых — талантливому переводчику, а в-третьих — дорогому другу Симе Маркишу — от любящего и им любимого Николая Любимова. Москва февраль 1962».

Бахтин уже до издания ознакомился с этим переводом (который был готов уже в 1955 году)⁶. Здесь обнаруживается интересное совпадение: затянувшийся процесс вокруг его диссертации (1940, 1946, 1947–1952) возобновился именно в 1962 году⁷, после появления нового перевода с пространными

⁶ Интервью с Н. Любимовым. // Независимая газета, 5 августа 1992 г. С. 5. Любимов не упоминает корректурное издание 1958 года.

⁷ Из записок Бахтина при ходе подготовки книги: «Кроме того, придется дать в примечаниях перевод всех иноязычных текстов, внести некоторые пояснения, местами улегчить изложение, использовать новый перевод Н. М. Любимова и т. п. Но сущность книги останется неизменной». Комментарий и приложение. // Собрание сочинений М. М. Бахтина в 7-и томах. Т. 4 (2). Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса (1965) / Ред. С. Бочаров, В. Кожин. Ред. тома Попова И. Л. М., Языки славянских культур, 2010. С. 37.

примечаниями. Публикация перевода ввел в общий дискурс, в какой-то мере «реабилитировал», легализовал имя и феномен самого Рабле⁸.

По словам Маркиша, он активно участвовал и в редактировании текста. Опыт этой редакторской работы и составления комментариев был запечатлен в двух статьях (которые войдут вместе с другими работами о теории перевода в более поздний том этой серии). Любопытно еще, что в наших беседах Маркиш критиковал Бахтина за то, что последний опирался в своей теории гротеска на жанр мениппеи — он как античник утверждал, что раз ни одна сатира в жанре мениппеи целиком не сохранилась, все написанное о мениппеях принадлежит к сфере предположений⁹.

⁸ «Примите мою глубочайшую благодарность за подаренную мне книгу, но прежде всего за тот чудесный перевод Рабле, который Вы подарили России! Вы сделали огромное дело. Рабле до сих пор был нам, в сущности, совершенно чужд. <...> Разумеется, я не успел еще прочитать всего перевода, но я просмотрел ряд эпизодов, которые считал особенно трудными для перевода, и был прямо поражен. Я очень хорошо помню нашу единственную встречу и ту любезную помощь, которую Вы тогда оказали мне в моих переговорах с редакцией Гослитиздата. И теперь Ваше участие в письме в "Литературную газету" и Ваш перевод окажут мне неоценимую помощь в деле продвижения моей книги о Рабле. За все это приношу Вам свою глубокую благодарность». (там же, 639–640.) Письмо, упомянутое Бахтиным сыграла решающую роль в допущении его работы к защите. Оно была написано и подписано переводчиком Н. М. Любимовым, а В. В. Виноградовым и К. А. Фединым, и помещена внизу самой последней, 30-ой страницы газеты. Литературная газета, 23 июня 1962 г. (№ 74) С. 30.

⁹ Книга Бахтина упоминается Маркишем в статье о Рабиновиче (Т. 3, примечание 136). Теория карнавала Бахтина была в центре моих ранних исследований текстов Бабеля с 1977 года. См. Хетени Ж. Эскадронная дама, возведенная в Мадонну. // *Studia Slavica Hung.* 31 (1985) 161-170.; Hetényi Zs. "Up" and "down", Madonna and Prostitute: the Role of Ambivalence in *Red Cavalry* by Isaac Babel. // *Acta Litteraria Academiae Scientiarum Hungaricae XXXII/3-4.* (1990) 309-326.

К систематическим занятиям эпохой Реформации Маркиша привела несправедливая, на его взгляд, концепция Гуидо Киша об Эразме¹⁰, о том Эразме, в творчестве которого он увидел предшественника современных взглядов толерантности-терпимости, а Гуидо Киш — юдофоба, не отстающего от Лютера, и поборника идей, аналогичных национал-социализму XX века.

Выразив несогласие с концепцией Киша, он тут же сформулировал и принципиально-методологическое возражение: Киш основал свою теорию главным образом на переписке Эразма. Свою позицию о письмах как основе для анализа Маркиш изложил в начале книги «Знакомство с Эразмом из Роттердама»:

Теперь зададим себе вопрос, обязавшись ответить на него с полной искренностью и откровенностью. Если мы заинтересовались каким-нибудь писателем и решили с ним познакомиться, с чего должно начаться наше знакомство? С жизни писателя, с его друзей и врагов, истоков его творчества и влияния на последующие поколения или же с самого творчества, с книг, писем, высказываний, заметок? Облик полководца или путешественника складывается из того, что он совершил, из фактов его биографии; ими же определяется его значение для потомства. *Но писатель — это, в первую очередь, то, что им создано*; его биография привлекает наше внимание лишь постольку, поскольку оно уже привлечено творениями писателя. Мы можем дивиться «горестной жизни» Франсуа Вийона, или честолюбию Грибоедова, или служебной карьере Тютчева, мы можем восхищаться мужеством Хемингуэя или несокрушимостью рабочих привычек Томаса Манна, но все это приобретает свой подлинный смысл лишь в той мере, в какой соотносится с «Большим завещанием», «Горем от ума», «Silentium», «По ком звонит колокол», «Волшебной горой», в какой отвечает

¹⁰ Kisch G. Erasmus' Stellung zu Juden und Judentum. Tübingen, Philosophie und Geschichte 83/84, 1969.

или противоречит *единственной истинной биографии писателя — истории его творчества.*

(курсив мой. — Ж. Х.)

Этот принцип, как уже было упомянуто в общем предисловии к данному собранию сочинений в первом томе, многократно повторялся в разных формах и относительно самых разных эпох: после Эразма — и в работе о Василии Гроссмане (1986), и о Григории Богрове (2000)¹¹.

Порыв к опровержению идей Киша описан Маркишем во введении к мемориальной лекции на ежегодном собрании Эразмианского общества, куда его пригласили в 2000 году. «Надо его опровергнуть, а для этого еще раз перечесть всего Эразма, все сочинения и письма, собрать и сопоставить все, сказанное им о евреях, ни на миг не забывая о фоне». Это возвращение к истокам, перечитывание оригинала отражает ту задачу, которую ставили себе поколения Возрождения и Реформации — вернуться к античным корням европейской культуры, вернуться к оригиналу Священных книг. Статья, в которой Маркиш вспоминает о своем пути, пройденном вместе с Эразмом¹² (его самая поздняя работа на эту тему) приведена в данном томе в качестве авторского предисловия (как это делалось и в первом томе). В ней Маркиш подытоживает свою «вторую жизнь».

¹¹ Только один раз он позволил себе некоторое отклонение от этого принципа, когда — в подтверждение проблематичности еврейского героя Гордона в «Докторе Живаго» — процитировал письмо Бориса Пастернака о муках, связанных с его еврейским происхождением, Горькому. Это письмо написано не другу или родственнику, а видной фигуре того времени и коллеге по искусству, оно не личное, а содержит авторефлективную исповедь.

¹² Прощание с Эразмом, или был ли Эразм антисемитом? // Лехаим 2001. 3. (107). Публикуется в настоящем томе вместе с другой статьей со схожим названием, но отличающимся текстом: Прощание с Эразмом. // Иерусалимский Журнал 18, 2004.

Хронологические рамки этого второго периода (20–25 лет) в творчестве Маркиша наглядно прослеживаются по списку его работ, во главе которого стоят три книги; каждая из них была издана на двух языках (таким образом получается три пары книг на пяти разных языках: русский и литовский, русский и венгерский, французский и английский), а из десяти статей разного веса две вышли по-венгерски, в переводе (оригиналы не сохранились).

Главные же переводы текстов Эразма, выполненные Маркишем, вышли в 1969–1971 году, обрамляя год переезда в Венгрию (август 1970 года). Хотя он уехал легально (правда, сразу вышел из советского гражданства), это событие моментально положило конец его публикациям в Советском Союзе.

Эразмиана Маркиша биографически прочно связана и с Венгрией. В течение этих трех с половиной лет у него не было работы, место, и то без жалованья, он получил только в 1972 году в Исследовательском институте литературы ВАН благодаря Дьюле Ортугаи, фольклористу и политику культуры, который и поручил ему перевод венгерских сказок (в рамках проекта был издан том аутентичных сказок на нескольких иностранных языках). Рабочее место было нужно не только для приобретения статуса в венгерской научной среде, но и для получения паспорта — без работы даже заявку на паспорт подать было нельзя.

В институте он имел возможность познакомиться с группой ученых «Ребакуч» (исследователями по ренессансу и барокко, основанная в 1969 году), хоть и не участвовал в их большой юбилейной конференции, приуроченной к 500-ой годовщине смерти Яна Паннония, венгерского гуманиста Ренессанса, поэта на латыни, получившего образование в Италии (1434–1472). Поэзию Паннония знал и ценил Эразм. Маркиш написал статью о его стихотворениях под названием «Взгляд со стороны», и первые слова статьи свидетельствуют о том, что его знакомство с поэзией Яна Паннония началось уже в 1962-м году, когда он переводил его стихи для хрестоматии по Возрождению для пед-

институтов. Статья, вошедшая в этот том, является уникальной публикацией, потому что за неимением русского оригинала дается ее обратный перевод с венгерского. А в хрестоматии, наряду с текстами выдающихся переводчиков (Бориса Пастернака, Корнея Чуковского, Виктора Ярхо, Голенищева-Кутузова и других), оказалось семь переводов, которые отсутствовали в (со временем всё расширяющейся) библиографии его работ, и два из обнаруженных текстов были включены в данный том.

Во главе группы Ребакуч стоял основатель, организатор и заместитель директора института, Тибор Кланицаи. Его имя заслуживает внимания потому, что после нелегального невозвращения Маркиша из Женевы в 1974 году он, вместе с Дьюлой Ортутай, написал Маркишу не одно письмо о предательстве и обманутом доверии и звал «беглеца» назад.

В Будапеште, в Академической библиотеке Маркиш нашел элитарную среду, круг молодых философов-либералов, которых называли «детским садом» Дьёрдя Лукача, т. е. третьим, следующим после учеников школы Лукача (Дьёрдь Маркуш, Янош Кишш и др.) поколением. Они находились в оппозиции к режиму, а впоследствии стали основателями партии Свободных Демократов, подготовившей падение социалистического режима в Венгрии. Маркиш говорил с ними сразу на трех языках, да ещё и на «запрещённые» темы. По их воспоминаниям, после поездки в Париж Маркиш привез запрещенную литературу и давал им читать Солженицына, а также рассказывал о своем горьком советском опыте, об убийстве отца, о своей ссылке.

Переводчиком его стал Янош Фаркаш, философ и литературовед, исследователь венгерской поэзии XX века¹³. Венгерский вариант книги, хоть и является переводом «Знакомства с Эразмом из Роттердама», слегка расширен, в нем местами добавлены дополнительные цитаты из Эразма с комментариями к ним.

¹³ Markis Simon. Rotterdami Erasmus. Пер. на венгерский Farkas János. Budapest, Gondolat, 1976. 357 С.

Возможно, что эти вставки были действительно добавлены переводчиком, но не исключено, что по каким-то соображениям они были вычеркнуты из оригинала, автором ли, или же издателем русской версии, определить теперь невозможно. В данном томе эти лакуны обозначены сносками для сопоставления и, может быть, для будущего сравнения. Другая существенная разница между русской и венгерской версией состоит в том, что вторая богато снабжена примечаниями (всего их 597). Язык перевода неверно передает стиль Маркиша, он настроен скорее в научном регистре, с замысловатыми и сложными оборотами. А легкий юмор Маркиша, ясность мысли и личная эмоциональность чувствуются мало. Текст, плавно читающийся в оригинале, отличается в венгерском переводе манерностью, которая тяготеет к риторике немецкой философии в довоенном тяжеловесном переводе, чтение его затруднено, а кроме того, он содержит ошибки.

О том, что значительная доля работы над монографией «Эразм и еврейство» (впоследствии вышедшей по-французски и по-английски) была выполнена в Венгрии, свидетельствует научная статья в академическом журнале, где на семи страницах мелким шрифтом излагаются основные идеи его будущей книги с 75 примечаниями¹⁴.

Этот срединный период в творчестве Маркиша тематически оказался связующим-переходным. С одной стороны, исследование Эразма и его эпохи было основано на предыдущем интересе к античности и на том же языке культуры (ведь философия Возрождения сама опиралась на античность), с другой — в теме «Эразм и еврейство» уже предвосхищён переход к занятиям еврейской культурой. Как он говорил в интервью 2001 года, уже

¹⁴ Erasmus és a zsidóság [Эразм и евреи]. // Filológiai Közlöny XIX. 1–2. 1973. 90–96. Русский оригинал не сохранился. Его предполагаемый подзаголовок «предварительные замечания» неадекватно переведен как «конспекты».

цитированном в первом томе: «Один голландец как-то показывал мне статью русского автора, в которой сказано, что именно я "вернул Эразма в Россию". Это приятно»¹⁵.

По стечению обстоятельств Маркишу не довелось узнать, какую его книга сыграла значительную роль еще и в венгерской истории исследований Эразма, хотя он часто бывал в Будапеште в 1997 году, когда вышла статья Саболча Барлаи об истории рецепции Эразма в Венгрии. В ней книге Маркиша посвящена целая страница¹⁶. Взгляду венгерских историков (которые, ссылаясь на советские позиции, вообще исключили богословие из круга науки и исказили образ Эразма) Барлаи противопоставляет концепцию Маркиша, который восстанавливает ранг богословия-теологии и европейский ранг Эразма¹⁷.

Кажется, не будет преувеличением сказать, что и во втором поле научных занятий Маркишу удалось достичь первой линии международного уровня в области изучения Эразма. Маркишу, родственному Эразма и в поведении («для которого интеллектуальный труд был не забавой, не удовольствием, не благородной страстью, а важным, необходимым обществу делом»), и в многосторонности образованности и знаний, удалось и увидеть, и показать в нем современника, «героя не только своего века, но и нашего». Эразм был и его героем, тот «едва ли не первый в истории Европы интеллигент-профессионал», представляющий

¹⁵ Интервью Вадиму Аристову. // Венгерский курьер, 2001. № 11.

¹⁶ Barlay Ö. Szabolcs. A hazai Erasmus-kutatás múltja és jelene. [Прошлое и настоящее отечественных исследований Эразма]. // Magyar Könyvszemle 113 (1997). 3. 327–333. После рассмотрения истории с самого начала, с современников Эразма, которые и переписывались с ним, автор показывает, как венгерскими эразмистами на идеологическом основании создавался фальшивый образ Эразма, искаженный то национализмом, то социализмом.

¹⁷ Правда, Барлаи представляет читателям Маркиша в качестве советского-московского авторитета: «Вряд ли можно назвать его западником-ренегатом, ведь он окончил университет в Москве», — пишет Барлаи в 1997 году, видимо, не проверив, о ком идет речь.

собой «предвестие демократизма», и это (утверждает Маркиш, исследователь греческой демократии, читателю, никогда этой системы до 1966 года и не видевшего) «всегда будет отличительной чертой подлинной интеллигенции»¹⁸. Маркиш выделил в текстах Эразма еще одну ценность демократизма — предпосылки современного принципа терпимости.

¹⁸ Похвальное слово Эразму из Роттердама. Литературная газета 27 октября 1966, С. 3. См. в данном томе.

ПРОЩАНИЕ С ЭРАЗМОМ, ИЛИ БЫЛ ЛИ ЭРАЗМ АНТИСЕМИТОМ?¹⁹

Эразм из Роттердама, «король» европейского гуманизма на севере Европы XVI века, или, как его еще принято именовать, христианского гуманизма, был центром моих профессиональных интересов чуть ли не полжизни. Я и переводил его, и комментировал, и писал о нем — и не только для взрослых, но даже для детей школьного возраста. Не стану рассказывать, как и с чего это началось, расскажу лишь о заключительном, по всей видимости, эпизоде этого долгого «романа».

Но прежде чем перейти к заключению, все же немного об истоках.

Эразм очаровал и пленил меня еще в 50-е годы и не навязшей в зубах у любого филолога или историка «Похвалою Глупости», а с совершенно неожиданной стороны — по контрасту с одним гуманистом первой трети XVI века — Ульрихом фон Гуттенем, которого я тоже переводил и который Эразма сперва обожал, а потом ненавидел. Лютому ожесточению Гуттена противостояла прохладная и, как мне казалось, спокойная терпимость Эразма. В 60-е годы я написал очерк о творчестве и мировосприятии Эразма, стараясь, чтобы главным героем моего очерка была все та же эразмова терпимость. Вот почему я был поражен, можно сказать в самое сердце, когда прочитал брошюру базельского историка права Гуидо Киша, изданную к 500-летию со дня рождения Эразма в 1969 году. Киш доказывал, что

¹⁹ Прощание с Эразмом, или был ли Эразм антисемитом? // Лехаим 2001. 3. (107).

Эразм был злобный юдофоб, ничуть не лучше врага своих поздних лет Мартина Лютера — сторонника и пропагандиста радикального решения еврейского вопроса в духе нагрянувшего четырьмя веками позже национал-социализма. Вот тебе и апостол терпимости!

Нет, не может быть прав Киш, априори не может! Надо его опровергнуть, а для этого еще раз перечесть всего Эразма, все сочинения и письма, собрать и сопоставить все, сказанное им о евреях, ни на миг не забывая о фоне — об эразмианстве как мировоззрении, столь высоко ценимом немногими лучшими людьми в наш кровавый и подлый век. Я попытался, в меру сил и способностей. Книга «Эразм и еврейство» была написана в 1971–1975 гг. и увидела свет на французском языке в 1979-м в Лозанне и на английском — в 1986-м в Чикаго, в университетском издательстве. На этом, казалось, все и закончилось: не то чтобы я разлюбил Эразма, но интерес к нему притупился. От XVI-го я перешел к XIX и XX векам, от неолатинской литературы — к литературной продукции российского еврейства на русском языке. С этой последней была связана и тема, под которую я получил стипендию в Будапештском институте продвинутых исследований. В программу Института на 1999–2000 академический год была включена сессия, посвященная Эразму и его роли в интеллектуальном и педагогическом движении европейской цивилизации, и я получил приглашение прочитать годичную мемориальную лекцию на собрании Эразмианского общества, заседающего каждую осень в конце октября, в день рождения Эразма.

Вот эта лекция и стала для меня почетным прощанием с Эразмом, подведением итога, и о ней я хочу рассказать. Эразмианцы собрались в Нидерландах, но не на родине Эразма, в Роттердаме, а в Лейдене. Поездка в Голландию была своего рода компенсацией за горечь обиды, испытанной больше тридцати лет назад.

Пятисотлетие рождения Эразма праздновалось по меньшей мере три года — с 1966-го по 1969-й из-за недостоверности даты его рождения, но главные торжества прошли в 1969 году в Роттердаме. Благодаря энтузиазму и великодушию, а также и щедрости голландского русиста Карела ван хет Реве я получил персональное приглашение на конгресс в Роттердаме. Тот, кто по возрасту помнит наше постсталинское прошлое, сообразит, что приглашение должно было поступить по официальному каналу, в моем случае — через Союз писателей. Иностранная комиссия этого учреждения велела мне готовиться к поездке. Опять-таки помнящие прошлое, и только они, способны понять мой восторг и возбуждение: увидеть родину Эразма собственными глазами, подышать ее воздухом — это ведь было чудом в 1969-м! Как раз в те дни вышла из печати знаменитая книга Эразма «Разговоры запросто» в моем переводе, полностью по-русски ранее не существовавшая. Я рассказал об этом в инокомиссии. «Вот и замечательно! Принеси-ка нам показать». Я принес. Больше из инокомиссии меня не тревожили: с моим переводом в Роттердам уехал один из самых черных и смрадных антисемитов в писательском союзе — Анатолий Софронов.

С этого эпизода я начал свою мемориальную лекцию, чтобы от антисемитизма XX века обратиться к юдофобии XVI-го. Она была тотальной, не знающей исключений, нельзя назвать никого, кто испытывал бы к нашему племени мало-мальскую симпатию. Не был исключением и Эразм. Сразу же возникают сомнения и вопросы. Например.

Каждый историк эпохи Возрождения знает имя первого на севере Европы христианского гебраиста Иоганна Рейхлина, старшего современника Эразма, который написал Рейхлину посмертный панегирик. Рейхлин боролся против доминиканцев-инквизиторов, требовавших сожжения Талмуда и других еврейских книг, и эта борьба стала сюжетом прославленного сборника

«Письма темных людей» (одним из авторов которого был, к слову сказать, упомянутый Ульрих фон Гуттен).

Так что же, и Рейхлин, заступник Талмуда, ненавидел народ, создавший и Библию, и Талмуд? Да, ненавидел! Его забота о Талмуде была заботой филолога, богослова и христианского каббалиста (Каббала начала привлекать внимание гуманистов еще в предыдущем, XV веке). В остальном же, как утверждают самые авторитетные специалисты и знатоки, Рейхлин мог бы сказать о себе словами одного из Отцов Церкви, также гебраиста не из последних: «Ненавижу народ обрезанных!»

Или вот:

Кто еврей? *Ми у Йеуди*? Этот вопрос тревожил (и тревожит!) не только раввинов в наши дни и во дни Эразма. Тяжба Рейхлина с доминиканцами была спровоцирована неким наглым выкрестом — так вправе ли гуманисты, защищая Рейхлина, бранить выкреста «дважды евреем» и вообще попрекать его происхождением или крестильная вода смывает все следы еврейства? Можно спросить и по-иному, на более современный лад: еврейство — это религия? Или «раса»? Или то и другое вместе?

Или еще:

Вправе ли мы сегодня, через полвека после Шоа, валить в один адский котел вражду к евреям во все времена, повсюду, без разбора, применяя к XVI веку те же критерии, что к своему XX-му? Или это было бы не просто антиисторизмом, но несправедливостью на грани фальсификации?

Держа в уме все это и многое подобное, я и через четверть века после того как поставил последнюю точку в своей последней книге об Эразме, решаюсь предложить следующие — все те же! — соображения по вынесенной в подзаголовок теме.

Эразмианство было попыткой осуществления главного принципа Возрождения — «Назад, к истокам!» — на почве религии и, шире, духовной жизни в целом. Истоками же было раннее христианство, которое — всё, полностью! — появилось из противостояния иудаизму. Совершенно естественно, что в

диаметральном противопоставлении «философии Христа» у Эразма появляется «иудаизм» — именно в кавычках, потому что этот термин означает в контексте эразмианства не реально существующую еврейскую религию, а некую вневременную абстракцию, основой имеющую антииудейскую полемику в евангелиях и апостольских посланиях, как будто и не было полутора тысяч лет, отделяющих эти тексты от века Эразма. И нацелен этот антииудаизм в кавычках не против евреев-современников Эразма, а против дурных христиан, погрязших в обрядах и пустых церемониях. Можно ли считать эти антииудейские в кавычках выпады проявлением юдофобии? По-моему — нет.

Но, как я уже сказал, Эразм не был исключением, общехристианский дух ненависти к еврею не был ему чужд. Он, этот дух, ведет к юдофобским взрывам, не частым, меньше десятка за всю жизнь, и отразившимся только в письмах, и ни разу — в основных сочинениях. Скажу сразу и без обиняков: взрывы эти мерзки на наш сегодняшний взгляд, по низости и вульгарности вполне отвечают перепалке в автобусе или на коммунальной кухне, но что гораздо важнее — они противоречат самой сути эразмианства: индивидуальному, гнушающемуся «духа» толпы. И каждый из таких взрывов находит себе объяснение в конкретных обстоятельствах момента и в деталях психологической конституции Эразма, далеко не всегда приятных и благостных. Однако о систематическом антисемитизме как важной составляющей мировосприятия (как было у многих современников Эразма, хотя бы у того же Лютера) речи нет и быть не должно.

Зато систематически встречаются высказывания — и в сочинениях, и в письмах, где звучит некая отстраненность от евреев-современников: какое, мол, нам, христианам, до них дело, они ничтожно малочисленны и слабы, они не заслуживают нашего внимания, пусть себе живут, как хотят, лишь бы не нарушали законов, которыми мы, христиане, их обуздываем. Что же касается обращения упрямых неверов в истинную веру, Эразм твердо придерживался убеждения, что это дело будущего, дело

Б-жественного Промысла, а не человеческих усилий, как предсказано апостолом Павлом в «Послании к Римлянам». Насильственное же крещение, того рода, что учинила инквизиция в Испании, он осуждал категорически.

Получается любопытное сочетание взглядов, несколько напоминающее то, что немцы в конце XIX века называли «асемитизмом», имея в виду холодное невнимание к евреям, исключение их из сферы своих интересов, в противоположность как ненависти, так и симпатии к ним. Нельзя не согласиться, что на фоне раскаленной добела ненависти — доминанты в христианско-еврейском «диалоге» той эпохи, — «асемитизм» Эразма был первым шагом на пути к подлинной терпимости, не только религиозной, но и в более широком смысле признания иного.

Именно в этом смысле мне хотелось бы понимать слова из письма Эразма 1524 года: «Я готов любить и еврея, если только он ведет себя пристойно и не хулит Христа в моем присутствии».

ПРОЩАНИЕ С ЭРАЗМОМ²⁰

В декабре 1979 года лозаннское издательство L'Age d'Homme выпустило мою книгу «Эразм и евреи». Книжка вышла во французском переводе, и нет практически никаких шансов, что русский оригинал когда-нибудь увидит свет. Обстоятельство это, сказать по совести, меня мало тревожит и еще меньше огорчает, но оно, как мне кажется, дает мне некоторое право самому рассказать о своей книге — на том языке, на котором она была написана.

Эразмом из Роттердама я занимался почти всю мою профессиональную жизнь в Советском Союзе — переводил, редактировал старые переводы, комментировал, писал статьи и книги. Но, уезжая в 1970 году, я был не только готов к радикальным переменам в своей профессиональной судьбе — я их самым решительным образом желал и ждал. И главным решением, главным желанием было: отныне и впредь делать свое, еврейское дело. Не так просто, однако, оборвать разом все старые связи и привязанности, и, живя в Будапеште, переводя венгерские народные сказки (что, сознаюсь, доставляло мне немалое удовольствие), я продолжал заглядывать в новые публикации, посвященные старой моей любви. Именно таким образом наткнулся я на брошюру «Отношение Эразма к евреям и еврейству», вышедшую в Тюбингене всего за год до моего отъезда к 500-летию со дня рождения Эразма, торжественно праздновавшемуся по всей Европе. Написал ее известный историк права Гуидо Киш, автор монографии об Эразме и юриспруденции его

²⁰ Впервые посмертно из архива: Иерусалимский журнал № 18, 2004. С. 207–209.

времени и, в то же время, несомненно еврейский ученый: сын знаменитого раввина из Бреслау, он получил прекрасное еврейское образование и написал немало ученых и популярных работ о евреях в средние века и в эпоху Возрождения. Брошюра привела меня в уныние, чтобы не сказать в отчаяние: оказывается, мой герой, апостол терпимости и враг фанатизма, был отчаянный антисемит, мало чем отличавшийся от Лютера, который в поздние свои годы предложил довольно подробную программу «окончательного решения».

Брошюра Гуидо Киша, казалось мне, сводила мое прошлое с моим будущим: Эразма — с евреями. Вдобавок она дразнила и подстрекала: вот он какой, твой герой и любимец — попробуй, опровергни! Я решил попробовать. Для этого у меня были вот какие основания.

Киш допустил неточность, граничившую с передержкой: об отношении Эразма к евреям он судил только по его переписке, оставив без всякого внимания не только общий контекст системы Эразмова мировосприятия, но и все, что могло быть высказано прямо или брошено намеком в бесчисленных богословских, педагогических и полемических сочинениях.

Второе, что настораживало, — ожесточение, слишком злой и запальчивый тон: в них отчетливо звучали и легко узнавались неизжитые комплексы гетто. Слишком часто мы по-прежнему делим мир на две категории, на тех, кто нас хвалит, и тех, кто бранит, и первых, в свою очередь, восхваляем, а вторых поносим или же обходим ледяным молчанием. Фигуры нейтральные, которых мы специально не занимали, нимало не занимают и нас. А между тем не гонителей и покровителей надо нам искать в минувших веках, а смысла и закономерностей своей истории, не постижимых иначе, как внутри истории окружавшего нас большинства, в связи с закономерностями этой «макроистории».

И третье: антисемиту Эразму противопоставлялся философ Рейхлин. Но если довольно жутким цитатам из Эразмовых писем я не мог поначалу противопоставить ничего (надо было

перечитывать *все*, а «все» — это два года одного чтения и выписок), то каков был Рейхлин юдофил, я знал достаточно хорошо. Нет слов, мы помним и не должны забыть никогда, что в начале XVI века гуманист Иоганн Рейхлин, первый в северной Европе гебраист, мужественно защищал еврейские книги от угрозы сожжения, а юрист Иоганн Рейхлин последовательно отстаивал права евреев. Но совершенно прав был один из лучших наших историков прошлого века, Людвиг Гейгер, который считал, что враги несправедливо укоряли Рейхлина в покровительстве евреям и в дружбе с ними. Гейгер писал, в частности: «Рейхлин мог бы защитить себя словами Святого Иеронима, которые он принимал и одобрял: ненавижу народ обрезанных. Он ненавидел этот народ, видя в нем врагов христиан и христианства, но чтил в нем носителя священного предания...» Рейхлин и все его сторонники-гуманисты, в том числе и те, что создали «Письма темных людей» и подарили всем европейским языкам слово «обскурант», защищали совсем не еврейские книги и тем более не евреев, а принципы гуманистической филологии и право на свободное исследование в любой области.

К соображениям полемического, условно говоря, характера присоединилась более серьезная мысль. Хорошо, допустим, что я не углядел в Эразме антисемита, а Гуидо Киш (с помощью «Предметного указателя» к одиннадцатитомному собранию Эразмовой переписки) изобличил его в компрометирующих идеях и высказываниях. Но ведь Лютер, например, с которым не побоялся сравнить Эразма Киш, написал два неистово злобных памфлета, без конца поминал еврейские негодяйства в застольных беседах (запись которых сохранилась) и в письмах; на него ссылались многие поколения юдофобов, вплоть до гитлеровцев; на Нюрнбергском процессе Юлиус Штрейхер приводил лютеровские поджигательные речи и писания как образец, которому он, Штрейхе следовал в своей журналистской практике. В Эразмовой традиции мы ничего подобного не находим. Эразмианство всегда ассоциировалось с терпимостью, отвраще-

нием к фанатизму, с «духом диалога», как принято говорить сегодня. Если все-таки Киш прав, тогда альтернатива «Европа Лютера — Европа Эразма», о которой довольно много говорили в начале 70-х годов, в связи с развитием Европейского Экономического Сообщества, альтернатива узкого национализма и широкости, универсализма, не имеет смысла: ее символы ложны. Эразм принадлежал к числу великих наставников, у которых ищут ответа на все вопросы, даже на те, которыми они, наставники, вообще не задавались. В карикатурном виде мы знаем это по обязательным — о чем бы ни шла речь — ссылкам на Ленина, Сталина или Мао. Мельком оброненные слова и замечания старательно собираются адептами, складываются одно к одному, находят свое место в системе, включаются в традицию и оказывают на будущее, на борьбу идей воздействие гораздо большее, чем специальные сочинения знатоков. Если Киш все-таки прав, историки европейской общественной мысли и историки еврейства просмотрели важный источник европейского антисемитизма, соизмеримый, по меньшей мере, с Фурье ил Прудоном.

Я не стану рассказывать обо всех перипетиях моей работы — они едва ли интересны. Скажу только, что рукопись смогла стать книгой благодаря вниманию и поддержке друзей, а не ученых коллег, евреев или христиан.

ПЕРВОЕ РУССКОЕ ИЗДАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ГУТТЕНА²¹

Девизом своей литературной деятельности Ульрих фон Гуттен избрал знаменитое изречение Цезаря "Alea iacta est" — «жребий брошен», которое сам он переводил на немецкий язык как "Ich hab's gewagt" («Я дерзнул»). Эти слова поставлены эпитафией к большинству произведений Гуттена, их можно было бы поставить эпитафией и ко всей его жизни. Не признающая никаких границ, никаких стеснений отвага, нередко переходящая в безрассудство и бросающая вызов целому миру, — такова основа его натуры, во многом определившая его литературную и политическую деятельность, личную его судьбу и место, которое он занимает в великой семье гуманистов. В этой семье были дети спокойные и благоразумные, превыше всего ценившие мирный досуг, тишину кабинетов и библиотек, безмолвную беседу со старинною рукописью, радости творчества, восторги неожиданных и, в то же время, долгожданных открытий, — таков Гильом Бюде, таков, в особенности и прежде всего, Эразм. Были и другие — нрава куда более живого и непоседливого, не менее первых любившие науку, но кроме нее — и радости земные, и власть: таков Бембо, таков Эннеа Сильвио Пикколomini, будущий папа Пий II. Третьи власти предпочитали независимость, свободу насмешливого, скептического ума; таков Рабле, готовый на «все вплоть до костра, но — исключительно». И были, наконец, дерзкие смельчаки, которых не мог остановить

²¹ Ульрих фон Гуттен, Диалоги. Публицистика. Письма. Составление и перевод с латинского С.П. Маркиша. Вступительная статья М. М. Смирин, М., АН СССР, 1959. 522 С. // Вестник истории мировой культуры 1960. 1. 130–133.

даже костер, которые шли напролом и, очертя голову, бросались в огонь. И едва ли не самым дерзким среди них был Гуттен. Можно по-разному относиться к этим различным типам гуманистов. Крайности Гуттена, его резкость, его колючий, неуживчивый нрав могут вызывать антипатию, но не привлечь внимания, не вызвать интереса эта чрезвычайно яркая и характерная для своего времени личность не может. Замечательный мастер не мертвого (как принято считать), но неумирающего, вечного языка, один из лучших латинских писателей эпохи Возрождения, Гуттен интересен для нас еще и тем, что в отличие, например, от Эразма, чьим отечеством была вся Европа, но ни одна страна в частности, он был национальным писателем, одним из первых перевозвестников политического и духовного единства Германии. Не только сословные интересы (в широком смысле слова — будь то интересы рыцарства или «республики ученых»), но общенациональные, патриотические были стержнем лютой ненависти Гуттена к римской курии, к попам и монахам — разорителям немецких земель.

Институт истории и издательство Академии наук СССР выпустили в свет первый в русской переводной литературе сборник произведений Ульриха фон Гуттена²². Книга вышла в серии «Научно-атеистическая библиотека», что, разумеется, в значительной степени определило ее состав. В то же время не следует считать, что какие-то важные стороны творчества Гуттена остались скрытыми от русского читателя, ибо почти вся его литературная жизнь прошла под знаменем борьбы с Римом, и преобладающая часть лучших его произведений служила оружием в этой борьбе. Конечно, составителю хотелось бы, чтобы и тонкая

²² Некоторые произведения Гуттена в отрывках или в сокращении напечатаны в сборнике «Источники по истории Реформации», вып. I (М., 1906) в переводе В. С. Протопопова; в вып. 2 напечатаны «Письма темных людей», (перевод Н. А. Куна, под ред. Д. Н. Егорова), одним из авторов которых был Гуттен. «Письма темных людей» были изданы также отдельно (М.—Л., Academia, 1935).

ирония, и изящество поэмы «Никто», и пламенный пафос инвектив против Ульриха Вюртембергского, и любопытнейшие портреты современников, содержащиеся в некоторых письмах, и еще многое другое открылось любителям старины, не знающим латинского языка, но надо надеяться, что первая книга не будет последней и дальнейшие издания восполнят эти пробелы.

В сборнике два раздела — «Диалоги» и «Публицистические произведения и письма». Из двенадцати диалогов Гуттена отобраны семь: «Лихорадка. Диалог второй», «Вадиск или римская триада», «Наблюдатели» и так наз. «Новые диалоги» («Булла», «Уведомитель. Диалог первый», «Уведомитель. Диалог второй», «Разбойники»). Созданные на протяжении всего двух лет (1519–20 гг.), почти один за другим, они показывают, как стремительно углублялась и оттачивалась антиклерикальная сатира Гуттена, как она конкретизировалась политически (от беспредметных призывов к изгнанию попов в «Лихорадке II» до развернутой программы союза сословий и совместной борьбы рыцарства и горожан в «Разбойниках»). В обоих «Уведомителях», наряду с критикой папизма, дана картина Реформации в том виде, в каком рисовал ее себе Гуттен и его единомышленники (но отнюдь не Лютер, выступающий собеседником в «Уведомителе I»). Детали той же картины мы находим и в «Вадиске» — самом знаменитом из произведений Гуттена, сочетающем блестящее остроумие с глубиной и зрелостью мысли. Высокими художественными достоинствами отличаются «Наблюдатели», где все три собеседника (Солнце, Фаэтон и легат Каэтан) — живые, искусно индивидуализированные фигуры, резко отличающиеся от сугубо условных персонажей некоторых диалогов. Чрезвычайно интересен образ самого Гуттена, написанный правдиво, почти портретно, но не без юмора. Больше всего это относится к «Разбойникам»: вспыльчивый рыцарь, оскорбленный невоздержным на язык купцом, бросающийся на него с кулаками, но потом отступающий по совету своего гостеприимца и покровителя Франца фон Зиккингена и примиряющийся (хотя и не

очень охотно) со своим противником, как живой предстает перед глазами читателя.

Во втором разделе сборника помещены письма, послания, речи Гуттена, предисловия к некоторым изданиям, которые он предпринимал (например, к изданию книги Лоренцо Валлы о так называемом «Константиновом даре»). Все они, помимо идейного единства, объединяются характерным гуттеновским стилем — стилем устной речи, почти импровизации, часто неряшливым, страдающим ненужными, назойливыми повторами одной и той же мысли, но до предела насыщенным эмоционально. Замечательны и его инвективы против папских легатов на Вормском рейхстаге и попов — гонителей Лютера, письма к Лютеру и послания императору Карлу... Прирожденный оратор, страстный трибун, Гуттен, даже сидя наедине с собственной чернильницей, видел вокруг себя людской океан, жадно внимающий каждому его слову.

В литературном наследии Гуттена есть вещи, написанные по-немецки. Но если Гуттен-латинист — подлинный мастер, то как немецкий писатель он еще неопытный подмастерье. Поэтому в «Жалоба и предостережение против непомерного, нехристианского насилия папы и недуховного духовенства» и «Указание господина Ульриха фон Гуттена на всегдашний образ действия римских епископов или пап по отношению к германским императорам», а также псевдо-гуттенов диалог «Новый Карстганс», объединены в особом «Приложении»²³.

Книге предпослана написанная М. М. Смирным статья «Германия в первые десятилетия XVI в. и Ульрих фон Гуттен». В ней анализируется сложная историческая обстановка в Германии накануне Реформации и Великой крестьянской войны, показывается своеобразие и классовый характер политической и литературной деятельности Гуттена, «обратившегося к передовым идеям своего времени... но при этом без всяких на то

²³ Переводы с немецкого выполнены Е. М. Марковичем.

реальных оснований мечтавшего сделать рыцарство руководящим классом, который сможет использовать в своих интересах все материальные и духовные силы народа». Автор отводит Гуттену, «вставшему на защиту прогрессивных сил немецкого народа против господствовавших сил мракобесия», почетное место «среди ярких фигур борцов и сильных характеров той эпохи».

В обширных примечаниях к сборнику, составленным М. Н. Цетлиным, главное внимание уделено вопросам религиозной борьбы в ее тесном переплетении с борьбой политической.

Сочинения Гуттена представляют немалые трудности для перевода. Правда, язык его чист, почти свободен от варваризмов — наследия средневековой «кухонной» латыни, столь зло высмеянной им и его друзьями в «Письмах темных людей», но сами понятия, которыми он оперирует, нередко для нас темны. Однако главная трудность — не в этом, а в воссоздании гуттеновского стиля по-русски. Подражая различным древним авторам, Гуттен насыщает свои произведения прямыми цитатами из них, а также близкими и отдаленными реминисценциями. Вместе с тем, в религиозной полемике он то и дело обращается к Священному писанию, к образам Ветхого и Нового заветов; особое приращение (как и прочие деятели Реформации) он питает к посланиям апостола Павла. В результате получается весьма пестрая смесь, отличающаяся в то же время удивительным внутренним единством, стройностью и цельностью. Диалог льется плавно и непринужденно, речи местами многословны, но в целом напряженны и энергичны.

Сочинения Гуттена занимают особое место в серии «Научно-атеистическая библиотека». Служа, как и все книги этой серии, целям антирелигиозной пропаганды, они имеют не атеистический, а антиклерикальный характер. Гуттен горячо верил в бога, верил в то, что защищает бога и христианскую веру от их злейших врагов. Его критика разит столь метко и беспощадно потому, что в ней есть то, чего иной раз не достает атеистической пропаганде, апеллирующей только к науке и политике, — знание

предмета, знание существа дела. Вот почему эта книга полезна и нужна как историкам, так и пропагандистам. И еще по одной причине она полезна — она учит недоверию к любому фанатизму, в каком бы облики он ни выступал, ибо в фанатизме были повинны не только католики, но и новорожденные протестанты. Гуттеневские призывы к беспощадной, кровавой расправе с «романистами» звучат отнюдь не привлекательнее, нежели речи испанских инквизиторов.

Восхищаясь силой духа и замечательным талантом Гуттена мы не должны забывать присущего его времени, его сословию, его натуре фанатизма. И, отдавая должное подвигу его жизни, мы еще и еще раз убеждаемся, как необходимы широта взглядов, уважение к чужим мнениям — благожелательность и миролюбие в самом широком смысле этого столь важного сегодня слова.

ЭРАЗМ ИЗ РОТТЕРДАМА
(К 500-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)²⁴

Эразм умер в Базеле. Безродный и неприкаянный, он для того и приехал сюда за год до смерти, чтобы умереть, — в этот город, где провел ранее больше десяти лет и где жили близкие ему люди и будущие наследники и душеприказчики. Его погребли в кафедральном соборе, в левой части храма, у подножия лестницы, ведущей на хоры (до Реформации на этом месте стояла часовня во имя Пресвятой Девы). На могильном камне была начертана следующая эпитафия:

Дез. Эразма
Роттердамского
друзья схоронили
под сим камнем
за четыре дня
до июльских ид MD XXXVI

Во имя Христа Спасителя!
Дезидерию Эразму Роттердамскому,
мужу великому во всем,
чью несравненную ученость во всех видах знания,
соединенную с такою же несравненною мудростью,
восхищенно будут прославлять потомки.
Бонифаций Амербах, Иероним Фробен и Николай Эпископий,
наследники его и душеприказчики,
поставили сей камень
наилучшему среди патронов —

²⁴ Впервые: Вопросы литературы 1966. 11. С. 139–155.

не для того, чтобы увековечить его память, которую он сам, своими трудами, учинил бессмертною (он будет жить дотоле, доколе цела земля, и дотоле имя его будет на устах ученых всех стран и народов), но дабы дать пристанище брэнному телу.

Скончался за четыре дня
до июльских ид,
уже семидесяти лет,
в год от Рождества Христова
MD XXXVI.

Итак, стало быть, он умер 12 июля 1536 года, а родился в 1466. Все ясно. Никаких сомнений.

Но в августе того же 1536 года любимый ученик и друг Эразма Беат Бильд из Рейнау в Эльзасе, более известный под именем латинским именем Беатус Ренанус, писал своему знакомцу об умершем учителе: «Год, в который он был рожден среди батавов, нам неизвестен, а день известен — пятый до ноябрьских календ; день этот посвящен памяти апостолов Симона и Иуды» (28 октября). В 1622 году городские власти Роттердама воздвигли памятник знаменитому земляку и на цоколе написали: родился в 1467 году. Ту же дату называли и авторы одного из панегириков, выпущенных вскорости после смерти Эразма. В XIX — да еще и в XVIII — веке взялись за дело ученые. Они педантически собрали все относящиеся к этому высказывания самого Эразма и его друзей, все близкие и далекие намеки, надписи и уцелевшие копии исчезнувших надписей. Вывод оказался очень любопытным. Из пяти косвенных упоминаний следует, что он появился на свет в 1469 году. (В этих случаях он не имел в виду называть год своего рождения, а сообщал, например, что с английским гуманистом Джоном Колетом они были ровесники, и что когда они встретились впервые, обоим было по тридцать.) Сведения, извлеченные из таких упоминаний, между собою совпадают.

Но вот прямые высказывания на ту же тему. Их двадцать три. Если их расположить в хронологическом порядке, то первые пятнадцать довольно согласно укажут: 1466, а последние восемь: 1464.

Эразм был вообще небрежен в датах и цифрах, но тут, весьма возможно, небрежность умышленная. Он родился вне брака, что было в ту пору пятном несмываемым и наносило урон не только моральный, но и вполне вещественный — мешало карьере, особенно духовной. Эразм же и принадлежал к духовному званию, и отличался болезненной чувствительностью к обидам. Самыми скверными из незаконнорожденных считались дети духовных особ. Отец Эразма был как раз священником и принял рукоположение незадолго до рождения сына. Таким образом, если сдвинуть дату рождения назад, пятно станет несколько менее грязным: по-прежнему будешь злосчастным плодом запретной любви, но хотя бы мирянина, не священника! И Эразм сдвигает дату, избирая 1466 год, быть может потому, что старший брат его Питер — еще один плод той же любви — родился ровно на три года раньше. С течением времени и этот сдвиг показался ему недостаточным, и он прибавил себе еще.

Разумеется, это не более чем гипотеза, но ее поддерживают многие известные ученые нашего века²⁵.

Что же из того? Три года раньше, три года позже — не так уж это важно. Дело ведь не в точности расчета, а в «памяти, которую он своими трудами учинил бессмертной». Однако, когда речь идет об Эразме из Роттердама, сама неточность, неопределенность, сомнительность знаменательна и даже символична. В 1533 году он писал в предисловии к своему изданию св. Гилария:

²⁵ Например: Pr. Smith, Erasmus. A Study of His Life, Ideals and Place in History, New York, 1962, p. 7–8, 445–446.; M. M. Phillips, Erasmus and the Northern Renaissance, London, 1949, p. 6.; R. R. Post, Geboortejaar en opleiding van Erasmus. Mededelingen der KNAW. Nieuwe reeks, deel 16, Amsterdam, 1953, N 8.

Слишком многое мы определили из того, чему лучше бы оставаться неопределенным. Существо нашей религия — мир и согласие, а их не достигнуть, если мы не решимся определять как можно меньше, а большинство вопросов будет предоставлено на свободное усмотрение каждого.

А между тем Европа уже расколота пополам «Лютеровой схизмой», и каждый из лагерей требует непримиримости, непоколебимой стойкости, строжайшей дисциплины, короче — фанатичной однозначности в большом и в малом. По словам католического мыслителя нового времени, Эразм «склоняет разум своих читателей к умеренному сомнению, к особому рода скептицизму, который обнаруживает себя в вежливой улыбке или почтительном молчании».

И потому кажется уместным даже в юбилейной статье высказать несколько сомнений об Эразме из Роттердама — о традиционном его облике, о традиционных представлениях, связанных с его наследием. Сомнения эти не слишком оригинальны и даже не очень новы, но русская эразмиана настолько бедна, что они могут оказаться любопытны для читателя «Вопросов литературы».

* * *

Имя его должно быть известно каждому: нет такого учебника — не исключая и школьной «Истории средних веков для 6–7 классов», — где бы Эразму не было отведено особой главки или хотя бы двух-трех абзацев. Мы узнаем, что он принадлежал к числу крупнейших ученых-гуманистов эпохи Возрождения, блестяще владел латинским и греческим языками, издал вперые греческий оригинал Нового завета со своим (новым) латинским переводом и комментариями и что «филологическая критика «священных книг» положила начало их историческому объяснению», «подорвав доверие к официальному истолкованию

«первоисточников» церковного вероучения»²⁶; что тем не менее он не пошел на разрыв с католичеством, не принял Реформацию, которую сам же и подготовил, ибо критика его была половинчата и он «с презрением относился к народной массе», старался «угодить власть имущим и враждебно относился ко всякой революционной борьбе»²⁷. В. Жирмунский пишет: «Критика современного общества не имеет у Эразма революционного характера. Сильный в насмешке и отрицании, он не имеет ясного положительного социального идеала, и его философские раздумья о смысле человеческой жизни неизменно заканчиваются иронической резиньятией мудреца...»²⁸. Даже автор превосходной статьи «Эразм Роттердамский и его «Похвальное слово Глупости» Л. Пинский порицает «главу европейской республики ученых» за то, что он «не обладал натурой бойца и... цельностью, отмечающей тип человека эпохи Возрождения», а потому «занял нейтральную позицию между партиями, выступая в неудачной роли примирителя непримиримых станов»²⁹. (Лишь принадлежащая В. Пуришеву глава в академической «Истории немецкой литературы» свободна от подобных упреков³⁰.)

И везде читаем: наибольшее значение в литературном наследии Эразма имеет «Похвала Глупости» и, после нее, «Домашние беседы». Л. Пинский назвал Эразма «писателем одной книги» и, сопоставляя его в этом отношении с Мором и Рабле, заметил: «Время — лучший критик — не ошиблось в своем отборе»³¹.

²⁶ История зарубежной литературы. Раннее средневековье и Возрождение. / Под общей редакцией В. М. Жирмунского, М., Учпедгиз, 1959, С. 340.

²⁷ История средних веков, М., «Высшая школа», 1964, С. 524.

²⁸ История зарубежной литературы. Раннее средневековье и Возрождение, С. 343.

²⁹ Пинский Л., Реализм эпохи Возрождения, М., Гослитиздат, 1961, С. 84, 83.

³⁰ История немецкой литературы, т. 1, IX–XVII вв. М., Изд. АН СССР, 1962, С. 241–254.

³¹ Л. Пинский, Реализм эпохи Возрождения, С. 56.

Едва ли, однако же, эти укоры справедливы, а утверждения верны.

В 1923 году появился классический ныне труд голландского ученого Й. Хёйзинги (Johan Huizinga) «Осень средневековья»³². Задолго до рождения модной теперь науки социальной психологии там была дана удивительная по точности, конкретности и обоснованности психологическая характеристика позднего Средневековья — и общая, и по социальным группам — той именно эпохи, из которой вырос Эразм. Хёйзинга говорил о громадной напряженности эмоциональной жизни, большей — в сравнении с сегодняшним днем — яркости всех переживаний, резкости контрастов, четкости контуров и граней, большей силе реакций (ярость, обида, радость и т. д.) и внешнего их проявления. Безудержная страстность выказывала себя во всем — в дикой жестокости и в наивных фантазиях, капризах в политике и романтически-кровавых судьбах государей, в чудовищной мстительности и слепом фанатизме, полной бессердечности к беднякам и сентиментальной нежности к ним, поразительной неосновательности в рассуждениях и доводах, поразительном легковерии и легкомыслии, каким-то чудом уживавшимся с крайней подозрительностью и замкнутостью. Долгое и чрезмерное напряжение неизбежно ведет к усталости, упадку сил. Горизонт средневекового человека тесен и мрачен, преобладающее настроение — безнадежная разочарованность в жизни, стремление уйти, спрятаться от ее бесчисленных забот и тягот.

Всякий, кто действительно углубляется в те времена, с трудом находит в них что-либо светлое: повсюду, кроме сферы искусства, царит мрак. В грозных прорицаниях

³² Тремя годами позже Хёйзинга напечатал отличный очерк жизни и творчества Эразма; эта книга — в немецком и английском (несколько сокращенном) переводах — пользуется большой и вполне заслуженной известностью. Вероятно, она была одним из главных источников для «Триумфа и трагедии Эразма Роттердамского» Стефана Цвейга.

проповедников, в сокрушенных вздохах высокой литературы, в однообразных сообщениях хроник и документов — повсюду вопиет многоликий грех и стонет нужда³³.

Эти особенности психологического склада, разумеется, налагают отпечаток на основу основ духовной жизни средних веков — религиозность. Чрезмерная напряженность, перенасыщенность религиозного чувства разрешается упадком: храмы пустеют, на праздниках, в дальних паломничествах, в пышных процессиях пьянствуют и распутничают, в церковь идут, чтобы покрасоваться нарядами и поглазеть на красивых женщин, там же, рядом с алтарями, ищут клиентов потаскухи. Другая причина упадка религиозности — неудержимая потребность облечь все святое в зримый, чувственный образ. Религия приближается к быту, к низменным деталям повседневности, человек становится слишком бесцеремонен с богом и верою. Но за всем тем это именно наивная фамильярность с богом, а не безбожие; вера средневекового человека неколебима, она для него — нечто само собою разумеющееся³⁴.

Эразм, его ум, характер, личность, дух, — вне зависимости от того, как они сложились, это вопрос особый, и здесь его надо опустить, — весь Эразм целиком, во всех своих проявлениях был отрицанием средневековья, не католичества, не религии вообще, а именно средневековья. Как антипода средневековью и надо его рассматривать. Ему отвратительно все неразумное, чисто формальное — пустые обряды, невежество монахов, слепая вера в реликвии и т. п. Обряд имеет ценность лишь постольку, поскольку он осмыслен и прочувствован. «Мы целуем туфли святых и

³³ Цитирую по немецкому переводу: Huizinga J. *Herbst des Mittelalters. Studien über Lebens- und Geistesformen des 14 und 15 Jahrhunderts in Frankreich und in den Niederlanden*. München, Drei Masken Verlag, 1928, S. 31.

³⁴ См. интереснейшую гл. XII книги Хёйзинги (С. 213–250 по названному выше изданию).

грязные тряпицы, которыми они утирали пот со лба, но пренебрегаем их книгами — самыми священными из реликвий, какие они оставили по себе», — писал он. Он ненавидит всякую чрезмерность, излишества, перехлесты. Он отличается предельной ясностью мышления и строгостью доказательств. Его идеал — свобода, ясность, простота, чистота, покой, и этим идеалом определяются все его взгляды и вкусы. Он убежден, что человек по природе своей хорош и добр, и должен следовать велениям своей природы, доверять ей. В любых делах, будь то религия, нравственность, искусство, политика, воспитание, необходима простота, возврат к первоначальному, избавление от бремени средневековых предрассудков, условностей, схоластической учености. «Назад к источникам» — универсальный для Эразма лозунг, и термин «возрождение» применяется им к религии с такую же естественностью, с какою к гуманистической образованности. Возникает новый тип гуманиста — христианский (еще его называют библейским, или евангельским), новое богословие и связанная с ним новая — взамен схоластики — философия, которую сам Эразм окрестил «философией Христа», или «евангельской философией».

Новое богословие было просто изучением Священного писания и Отцов церкви в согласии с канонами филологической критики, выработанной гуманистами. Новая философия заключалась не в постижении тонкостей стоицизма, Аристотеля или святого Фомы, а просто в светском (как противоположность монашескому) благочестии, достигаемом через непосредственное следование заветам Христа. Ведь Христос сам — наилучший из учителей и лучше всех изложил собственное учение сам. А стало быть, надо только чутко прислушаться к его наставлениям, изложенным в Евангелии, и повнимательнее вчитаться в творения тех, кто близок к Христу и по времени, и по образу жизни. Эразмово «подражание Христу», свободное и от метафизических спекуляций, и от мистицизма, молчаливо отвергало церковный авторитет. Религия как профессия, как

занятие перестает быть высшей формой жизни христианина и делается личным делом и личным призванием каждого³⁵.

Никто не станет отрицать, что *объективно* такая позиция была антикатолической, антицерковной, но Эразм никогда и не думал о низвержении престола Римского Первосвященника, ни тем более о расколе церкви. Напротив, как и его друг Томас Мор, как и большинство «эразмианцев» (если понимать под «эразмианством» условное имя для идеологии предреформы), он был готов на все, лишь бы избежать раскола, лишь бы сохранить мир и единство³⁶.

Если не упускать всего этого из виду, то окажется, что позиция Эразма после выступления Лютера, его отношение к ново-рожденной Реформации были вполне последовательны. Окажется, что его девиз «Cedo nulli!» («Никому не уступлю!»), который сам он толковал как напоминание о всемогуществе смерти, — своего рода вариант «Memento mori!» — на самом деле был боевым кличем борца. Окажется, что прав американский историк Генри-Чарлз Ли, который говорит: «Эразм, хворый ученый из Роттердама, льстец пап и князей, тщеславный хвастун и неутомный ворчун (когда ему отвечали ударом на удар), есть, если правильно на него взглянуть, одна из самых героических фигур века героев»³⁷.

Можно было бы показать, как неосторожны, неточны и худо обоснованы почти все обращенные к Эразму упреки современников и потомков. Здесь мы разберем — и то, разумеется, в самом сжатом виде — лишь его раздор с Лютером.

Сперва Эразм всецело сочувствовал Лютеру, действительно считая, что они делают общее дело. Правда, открытой поддержки он Лютеру не оказывал; он опасался, что это лишь обострит

³⁵ См.: McConica, James K. *English Humanists and Reformation Politics under Henry VIII and Edward VI*, Oxford, At the Clarendon Press, 1965, pp. 20–22.

³⁶ Цит. по: McConica, *Op. cit.*, p. 43.

³⁷ Цит. по: Pr. Smith, *Op. cit.*, p. 437.

раздор и взаимную ненависть, а Эразм хотел примирить враждующих. Но в письмах, не предназначенных для печатного станка, в частных беседах он одобрял мужество Лютера, говорил, что сама безупречность его жизни опровергает обвинение в ереси, призывал германских государей защитить Лютера от покушений папы, который требовал, чтобы еретика заключили в оковы и доставили в Рим, на суд.

Но с самого начала его тревожила и настораживала в Лютере грубость, несдержанность, чрезмерная страстность, которая граничит с одержимостью и в любой миг может обернуться ничем не обузданной жестокостью. Иными словами, его отталкивало как раз то, что было в Лютере от человека средневековья. И Лютер с самого начала не доверял Эразму. Еще в марте 1517 года, то есть за полгода до Виттенбергских тезисов, он писал одному из друзей: «Человеческое значит для него больше, чем божественное». Конечно, в устах Лютера это страшное обвинение, и сам Эразм, возможно, всячески старался бы его опровергнуть, но для нас оно звучит завидной и заслуженной похвалой.

Эразм не ошибся. Чем дальше, тем более свирепыми и бесчеловечными становились призывы Лютера. Летом 1520 года он напечатал слова, которые способны испугать еще и теперь, четыре с половиной века спустя:

Если мы караем воров виселицей, разбойников плахой, а еретиков костром, то не лучше ли нам со всеми орудиями кары наброситься на этих творцов погибели — на этих кардиналов и пап, на всю эту римскую сволочь, которая без устали развращает церковь божию, почему не умыть нам руки в их крови?

Можно ли после этого изумляться, что весной 1523 года в ответ на яростные нападки Гуттена, который обличал Эразма в подлой измене и требовал, чтобы он пожертвовал жизнью ради истины, Эразм писал: «Я готов стать мучеником Христовым, если сам Христос даст мне на то силу, но быть Лютеровым

мучеником не желаю!» (Вообще экстаз мученичества был абсолютно чужд Эразму. Еще в 1520 году он объявляет кардиналу Кампеджо: «Пусть другие принимают венец мученика — себя я не считаю достойным такой чести». Само собою напрашивается сравнение с Рабле, истинным преемником и духовным сыном Эразма: «Я готов на все вплоть до костра, но — исключительно!»)

Эразм очень рано почувствовал, чем грозит Лютер и христианству, и гуманизму, то есть всей Эразмовой «философии Христа». В начале 1521 года он писал в частном письме, которое увидело свет лишь в нашем веке:

Какою ненавистью обременяет Лютер дело науки и христианства! Он всех хочет втянуть в свои дела! Каждый признаёт, что церковь страдает под тиранической властью некоторых людей, и многие думали, как этому помочь. Но он принялся за работу таким образом, что сделал наше ярмо еще крепче и тяжелее.

Не прошло и трех лет, как Лютер «раскрылся» до конца. «Я убежден, — объявил он, — что без гибели наук истинному богословию вообще не устоять».

Отходя от Лютера все дальше, все отчетливее понимая, что распри и раздоры неумолимо ведут к расколу церкви, а раскол погубит все его надежды на «возрождение христианства», освободившегося от догматики и схоластики, просвещенного светом учености и разума, Эразм тем не менее долго не выступал против Лютера открыто. А когда все-таки выступил, то спор, богословский по внешней видимости, затронул самую суть их разногласий, самую основу мироощущения обоих.

В сентябре 1524 года постоянный типограф Эразма Иоганн Фробен выпустил «Беседу о свободе воли». Год спустя Лютер отвечал трактатом «О несвободе воли». Спор шел о том, свободен ли человек в своих поступках, обладает ли он свободною волей или все его действия и мысли, его земная судьба и судьба его души после смерти заранее предопределены богом. Свободная

воля, утверждал Лютер, — пустой звук. Когда человек полагается на свои силы и дела, он неизбежно впадает в смертный грех. Пусть лучше уподобится он расслабленному и, опустив руки, преклонив колена, смиренно молит творца о милости и благодати. Человек ничтожен и слеп, он не способен отличить добро от зла. Воля человека — словно верховой конь: она вся во власти всадника, и не от нее зависит, кто оседлает ее — бог или же сатана. Немногие предназначены к спасению и блаженству, огромное большинство ждут вечные муки, и тем не менее мы обязаны любить бога и верить в его милосердие. В этом и состоит подвиг веры — единственная заслуга и оправдание человека. А если бы разум мог нас убедить, что бог, обнаруживающий столько злобы и несправедливости, все же милостив и справедлив, в вере не было бы никакой нужды.

Несвобода человеческой воли — необходимый вывод из Лютерова учения об оправдании одною верою. И хотя это учение потрясло основы средневековой церкви и угрожало самому ее существованию, в глубине своей оно было дважды и трижды средневековым. Все то же в нем презрение к человеку, все та же ненависть к разуму, все то же требование слепой веры, ничего не спрашивающей, ни в чем не сомневающейся.

Нет нужды излагать здесь Эразмовы богословские доводы против теории предопределения и оправдания одною верою. Достаточно сказать, что и в «Беседе» он остается верен себе — апеллирует к здравому смыслу и жизненной практике, сохраняет всегдашнюю свою иронию и ясность ума. Он говорит о шаткости человеческих суждений и о явной ненадежности, субъективности толкований, которые предлагаются богословами к трудным местам Писания. «Что бы мы ни вычитали в Библии, мы все обращаем на защиту собственных взглядов, точь-в-точь как влюбленные, которым повсюду, куда б они ни обернулись, чудится предмет их любви». Он настаивает на опасности Лютерова учения — в силу таящейся в нем безнравственности. Он признает необыкновенную сложность проблемы и предполагает, что

окончательное ее разрешение оставлено Божественным Промыслом до дня Страшного суда. «Среди великого множества книг по метафизическому богословию, сочиненных за последние четыре столетия, — пишет Пр. Смит, — «Беседа о свободе воли» — одна из очень немногих, которые все еще можно читать благодаря ее краткости, сдержанности и остроумию»³⁸.

Отделив себя от лютеранской теории, Эразм со страхом наблюдал первые плоды, какие она приносила на практике:

Это «новое евангелие» произвело на свет новую породу людей — людей жестоких, бесстыдных, коварных, бранчливых, лгунов и сикофантов, немилых друг другу, не повинующихся никому, досаждающих всем... Они мне до того противны, что если бы я только знал город, свободный от них, я бы туда перебрался³⁹.

И еще пятью годами позже:

Мессу отменили, но что более святое поставили на ее место?.. Я никогда не входил в их церкви, но мне случалось видеть, как выходят оттуда после проповеди: люди словно одержимы злым духом, гнев и ярость написаны у них на лицах... Они точно воины, воодушевленные речью полководца перед битвою. Был ли случай, чтобы эти проповеди вызывали раскаяние, будили уснувшую совесть? Куда там! В них одни лишь призывы истребить духовенство, уничтожить церковную жизнь! Разве не способствуют они более мятежу, нежели благочестию? Разве смута не самое обычное дело для этого евангельского племени? Разве оно не обращается к насилию по самому пустяковому поводу?⁴⁰

³⁸ Pr. Smith, Op. cit., p. 346.

³⁹ Письмо Генриху Штромеру от 10 декабря 1524 года.

⁴⁰ «Послание против некоторых самозванцев, ложно именующих себя племенем евангельским» (конец 1529 года).

Эразм сделал то, к чему был призван, утверждал Лютер, он пригласил нас к изучению древних языков и отвлек от пустых и безбожных занятий, которые не имеют права зваться богословием. Но подобно тому, как Моисей, который вывел еврейский народ из Египта, чтобы вернуть его на родину отцов, в Святую землю, сам земли этой не достигнул и умер на ее пороге, так и Эразму не дано войти в обетованную землю будущего. Однако же и нам ясно, и сам Эразм отлично понимал, что в Лютеровой «земле будущего» Эразму делать нечего. Их пути разошлись.

В первые годы Реформации все, и друзья, и недруги, повторяли крылатую, неизвестно кем пущенную фразу: «Эразм снес яйцо, Лютер его высидел». (Злобные монахи придумали свой вариант: перефразируя известное место из третьей главы «Первого послания к Коринфянам апостола Павла» — «Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил бог», — они твердили: «Эразм насадил, Лютер поливал, а диавол пустил в рост».) Однако же, как остроумно замечает американский историк и филолог, издатель Эразма, Уоллес Фергюсон, справедливее было бы обратное утверждение: Лютер не высидел, а разбил яйцо, которое снес Эразм⁴¹, не продолжил, а повернул вспять дорогу, которую он прокладывал.

Нетрудно показать, что столь же стойким и независимым оставался Эразм и по отношению ко второму из враждебных лагерей, к твердолобым католикам, фанатичным ненавистникам реформы, охранителям существующего порядка вещей. Но не в этом теперь моя задача. Мне хочется настоятельно подчеркнуть лишь одно: Эразм никогда и никому не изменял, он постоянно был верен себе, своим взглядам, своему «эразмианству», и если мы одобряем его убеждения и позицию до 1517 года, то обязаны признать честным и последовательным все, что он делал, писал и говорил в последние двадцать лет жизни. Мало того, мы

⁴¹ W. K. Ferguson, *Europe in Transition. 1300 – 1520*, London, Allen and Unwin, 1962, p. 554.

должны проникнуться восхищением перед его одинокою борьбой на два фронта, ибо он действительно никому и ничего не уступил. Говорить же, что «Эразм оказался в положении осмеянного им самим... бесстрастного мудреца-стойка, высокомерного по отношению ко всяким живым интересам», ибо «выступления крестьян и городских низов на арену истории... и были в этот период высшим выражением социальных «страстей» эпохи, тех принципов «природы» и «разума», которые с такой смелостью защищал Эразм в «Похвальном слове», указывать на ограниченность «его мирного гуманизма»⁴², — это примерно то же самое, что удивляться, почему Лев Толстой не увидел осуществления своих идеалов в революционных выступлениях крестьян, захватывавших и разорявших помещичьи усадьбы.

Это совсем не означает, что я намерен поставить под сомнение историческую неизбежность Реформации или выступления Лютера в том виде, в каком оно произошло, или же что я не вижу всей утопичности Эразмовой «философии Христа». Важно лишь одно: освободить Эразма от несправедливых обвинений. В сложнейшей обстановке первых десятилетий Реформации он не мог и не должен был действовать иначе. Лютеру принадлежал «сегодняшний день», которому суждено было очень скоро обратиться во вчерашний, Эразму «исторически принадлежало будущее»⁴³.

* * *

Чтобы верно оценить литературное творчество Эразма, нужно прежде всего определить его объем. А это очень трудная задача. Есть все основания считать, что она до сей поры не решена, а быть может, толком и не поставлена.

⁴² Л. Пинский, Реализм эпохи Возрождения, стр. 84–85.

⁴³ Там же, стр. 82.

Наследие Эразма громадно. В первое десятилетие XVIII века в Лейдене вышло полное собрание его сочинений в десяти томах *in folio*⁴⁴. Лишь в 1958 году было завершено растянувшееся на полвека издание переписки Эразма (вместе с письмами его корреспондентов) — одиннадцать объемистых томов, набранных шрифтом чуть поболее петита⁴⁵. Что в этой горе материала принадлежит литературе в узком смысле слова и что богословию, педагогике, филологии, философии? Редакторы LB, по видимому, над этим вообще не задумывались. Они распределили все написанное Эразмом по томам, придерживаясь такой схемы:

1) То, что относится к обучению словесности (*quae ad institutionem literarum spectant*).

2) То, что касается наставления в добрых нравах (*quae ad morum institutionem pertinent*).

3) То, что наставляет в благочестии (*quae ad pietatem instituunt*).

На этом сила тематического принципа иссякала, и в действие вступал новый принцип — жанровый: 1) пословицы («Адагии»), 2) письма, 3) самооправдания, 4) переводы из греческих Отцов церкви, 5) парафразы книг Нового завета. Кроме того, в особый том был выделен Новый завет с примечаниями.

«Похвала Глупости» заняла место среди наставлений в добрых нравах рядом с переводами из Плутарховых «Моралий» и такими сочинениями, как «Воспитание христианского государя»

⁴⁴ «Desiderii Erasmi Roterodami Opera omnia emendatiora et auctiora, ad optimas editiones, praecipue quas ipse Erasmus postremo curavit summa fide exacta in decern tomos distincta. Lugduni Batavorum, Cura et impensis Petri Vander (1703 – 1706)», то есть: «Полное собрание сочинений Дезидерия Эразма Роттердамского, исправленное и расширенное, подготовленное по лучшим изданиям, прежде всего — последним прижизненным, в десяти томах. В Лейдене, заботами и расходами Петра Вандера». Обычное условное сокращение — LB, то есть Lugduni Batavorum (в Лейдене).

⁴⁵ *Opus Epistolarum Des. Erasmi Roterodami denuo recognitum et auctum per P. S. Allen. Oxonii, 1906 – 1958. Т. 1 – 12. (12-й том — указатели.)*

или «Поэма о тяготах старости», после «Изречений в восьми книгах» и перед «Панегириком государю Филиппу Бургундскому по случаю счастливого возвращения из Испании». А «Разговоры запросто» («Домашние беседы») «отнеслись» к обучению словесности, и вполне справедливо. Ведь первоначально они были задуманы как учебное пособие, как своего рода хрестоматия образцов повседневной, простой, разговорной латыни. Первые «Разговоры» написаны еще в годы безвестности и нужды, в Париже, для нескольких учеников; их автор — еще не великий Эразм, а скромный монах, августинский каноник из обители Стейн, что близ Гауды в Голландии, студент богословского факультета. (Русское название «Домашние беседы» нельзя понять иначе, как недоразумение, — оно не отвечает ни содержанию сценок, ни воображаемым обстоятельствам, в которых протекает действие.) Соседи «Разговоров» в LB — трактаты по греческой и латинской грамматике, стилистике, фонетике, знаменитое педагогическое сочинение «О достойном воспитании детей с первых лет жизни», переводы из Лукиана, Либания, Эврипида.

Нет сомнения, прямолинейность рубрик LB вызывает сейчас улыбку, но, перелистывая похожие на простыни страницы, проглядывая подряд колонку за колонкой, убеждаешься, что хотя бы в одном отношении такая прямолинейность полезна. В начале XVIII века решение «времени — лучшего критика» еще не было объявлено, и перед нами предстает единый во всех своих писаниях Эразм, а не двуипостасный «автор одной книги»⁴⁶ и многих тысяч мертвых, сданных историей в архив строк. Теперь в неисчерпаемых кладовых эразмианы, все разобрано,

⁴⁶ Кстати, все же не одной, а хотя бы двух. У немцев, англичан, французов «Разговоры» пользуются не многим меньшею популярностью, чем «Глупость», и то, что им не повезло по-русски, еще ничего не доказывает. Издавались и продолжают издаваться в переводах на европейские языки сборники писем, отдельные эссе из «Адагий», «Жалоба Мира».

разложено по ящикам и полочкам, расчленено на десятки вопросов и проблем: «Эразм и римская курия», «Эразм и Италия», «Эразм и Испания», «Эразм и начало Реформации во Франции», «Эразм-ученый», «Эразм о целях и методах обучения», «Дружба Гуттена и Эразма», «Эразм и Лютер», «Рабле и Эразм», «Эразм и Томас Мор», «Эразм и его портретисты» e tutti quanti. Все к нашим услугам, все готово к употреблению, и нелепо ожидать, чтобы каждый, кто займется Эразмом, знакомился со всем, что от него осталось. Когда автор отличного исследования о молодых годах Эразма бросает вскользь: «Те, кто прочел все печатные труды Эразма, утверждают, что...»⁴⁷ — это вовсе не звучит признанием в собственном невежестве.

И, однако же, приходится вспомнить Эразмов лозунг «Назад к источникам».

Конечно, очень любопытно узнать, что один из самых забавных анекдотов в «Гаргантюа и Пантагрюэле», рассказ о простодушной монашке Крокиньольской обители сестре Толстопопии, забеременевшей от молодого послушника Ейвставия³, заимствован весельчаком Рабле у скромнейшего Эразма (из «разговора» «Рыбоедство»). Важно выяснить связи «Похвалы Глупости» с традициями «дурачествующей» литературы средневековья и Возрождения. Но едва ли менее важно прислушаться к словам самого Эразма, который писал: «В «Глупости» речь идет о том же самом, о чем в «Кинжале христианского воина», только там всерьез, а здесь под маскою шутки. Мы хотели вразумить, а не уязвить, помочь, а не обидеть, исправить нравы, а не испортить их»⁴⁸. Чтобы с этим согласиться или, напротив, признать это вынужденной отговоркою, уступкой критикам, полезно (а быть может, и необходимо) читать не только «Христианского воина»,

⁴⁷ Нума А. *The Youth of Erasmus*, Ann Arbor, University of Michigan Press, 1930, p. 12.

³ Кн. третья, гл. XIX.

⁴⁸ Письмо Мартину Дорпу от конца мая 1515 года.

но все подряд. Вот, например, в Новом завете, в «Евангелии от Иоанна», XX, 21, к словам «Иисус же сказал им вторично: мир вам!» дано такое примечание:

Видишь, ни о чем так настойчиво не толковал Христос ученикам, как о мире... И не стыдно ныне христианскому люду все силы свои отдавать войне! Это можно было бы терпеть лишь в одном случае — будь христиане безумны. Но ничем иным не заняты большинство государей, а что еще гнуснее, священнослужители не только подбивают их на это, но и сами воюют. Те, кто исповедует Евангелие мира, убеждают народ идти на войну; те, кому подобало бы воспламенять в душах благочестие, трубят в боевые трубы и, вывернув наизнанку Священное писание, превращают кротчайшего миротворца Христа в разжигателя войны. Появись он снова на земле в наш век — чтоб мне пропасть, если эта новая порода фарисеев не приняла бы его суровее, чем те, древние...⁴⁹.

Это написано семь лет, спустя после «Глупости». Можно ли утверждать, что это хоть сколько-нибудь, содержанием или силою осуждения, отличается от известной тирады о войне и воинственных папах в конце LIX главы «Похвалы Глупости»?

А вот другое примечание к тому же Новому завету, которое во многом *буквально* совпадает с LIII главою «Глупости», где осмеиваются богословы, повторяю — *буквально*, хотя здесь нет уже и намека на шутку, а всё — «философия Христа», та же, что в «Христианском воине». Это примечание к «Первому посланию к Тимофею св. апостола Павла» (I, 6), к словам «уклонились в пустословие» (Эразм приводит греческий оригинал: *eis mataiologian*):

Что до произношения, то «матайология» немногим отличается от «теологии», хотя, по сути, они чрезвычайно

⁴⁹ LB, VI, col. 415 – 416.

далеки одна от другой. А все же остережемся, как бы, занимаясь теологией, не впасть в матайологию — в нескончаемые опоры о жалких пустяках. Обратимся лучше к тому, что преобразует нас в подобие Христово и делает достойными неба. В самом деле, что толку препираться, сколькими способами воспринимается грех и есть ли это некий ущерб душе или же пятно, лежащее на душу? Пусть лучше о том старается богослов, чтобы все ненавидели грех и чурались греха... Мы рассуждаем, как возможно огню, в коем горят души нечестивцев, вещи материальной, воздействовать на вещь бестелесную. Насколько важнее приложить все старания к тому, чтобы, этот огонь, каков бы он ни был по своей природе, не нашел что выжечь в наших душах!.. А ведь у иных вся жизнь заполнена подобными исследованиями, и дело доходит и до крика, и до нешуточного ожесточения, до брани, а когда и до кулаков... А что сказать о вопросишках, не просто лишних, но прямо-таки кощунственных, которые мы поднимаем, разглагольствуя о могуществе бога и Верховного Первосвященника?.. Мог ли господь от века сотворить этот мир лучшим, чем он есть? И может ли сотворить человека, который никоим образом не способен грешить?.. Может ли содеянное учинить несодеянным и через это блудницу сделать девственницей? Может ли любая божественная ипостась принять любую природу, как Слово приняло человеческую природу?.. В той же ли мере возможны послышки: «Бог есть навозный жук» или «Бог есть тыква», в какой послышка: «Бог есть человек»?.. Св. Дух, исходя от Отца и Сына, от одного начала истекает или от двух? Возможно ли утверждение: «Бог-Отец ненавидит Бога-Сына»? Могла ли душа Христа заблуждаться, или вводить в заблуждение, или лгать?..

О могуществе Римского Первосвященника рассуждают еще усерднее... Может ли он постановить что-либо вопреки евангельскому учению?.. Бóльшая ли у него власть, чем у Петра, или такая же? Может ли он приказывать ангелам?.. Обыкновенный ли он смертный или как бы бог и причастен ли вместе с Христом обеим природам (то есть человеческой и божественной. — С. М.)?

Милосерднее ли он Христа, раз про Христа нигде не сказано, что он хоть кого-нибудь избавил от мук Чистилища?.. Разве нет во всем этом явного стремления подольститься к папе и, одновременно, оскорбления для Христа, по сравнению с коим все государи, даже самые великие, не более, нежели жалкие черви?.. А ведь над вопросишками подобного свойства бьются целые школы богословов!.. Время быстролетно, и долг христианина исполнить нелегко. Так почему же мы не отбросим все лишнее, почему не обратимся к тому, что желал внушить нам Христос, что передали апостолы, что истинно ведет к любви, не обратимся с чистым сердцем, чистою совестью и верою невымышленною, которую Павел зовет единственным завершением и исполнением всего закона?..

Вот на какие хитросплетения растрачивают целую жизнь те, кто исповедует апостольскую простоту... Я знал богослова, который утверждал, что и девяти лет недостанет, чтобы постигнуть одно только предисловие Скота к Петру Ломбардскому. А другой — я слышал это собственными ушами — говорил, что невозможно уразуметь во всем Скоте ни единой посылки, если не держишь в памяти всю его метафизику⁵⁰.

Я думаю, что мы сможем гораздо вернее определить значение «Глупости», если рассмотрим ее в контексте *всего созданного Эразмом*. Достоинства бессмертной сатиры это нисколько не умалит, читателям сулит множество счастливых находок, а перед исследователем открывает совсем новые перспективы. В разных областях истории общественной мысли сейчас все чаще встречаются исследования, которые, за неимением лучшего слова, приходится называть монографически-синхронными: автор исследуется не как звено в цепи традиции, а как производное от своего времени, как определенная система взглядов; соотнесенность и взаимосвязь элементов, составляющих систему, — главный предмет исследования, независимо от того, как

⁵⁰ LB, VI, col. 926 – 928.

эти элементы сложились и какую судьбу имели в дальнейшем. Эразм-писатель — благодарнейшая тема для такой работы.

Именно в этом смысле прежде всего любопытны приведенные выше цитаты. Они свидетельствуют, как мне кажется, что чертами писательского дарования может быть отмечено и «то, что наставляет в благочестии», и «то, что касается наставления в добрых нравах». Они подтверждают, что черты эти многочисленны и многообразны, и зовут искать единства в многообразии. Лучший знаток Эразма в нашем веке, издатель его переписки П. Аллен, одну из причин Эразмовой славы видел в счастливых особенностях его литературного таланта. Эразм, утверждает Аллен, никогда не стеснял себя рамками избранной темы. В любой миг он мог отклониться в сторону, заговорив о другом, причем столь откровенным и доверительным тоном, будто думал вслух, не стесняясь чужим присутствием. Легко, даже стремительно стекали на бумагу слова: воспоминания, рекомендации друзьям, похвалы Голландии и Брабанту, заметки о чужих обычаях, укоры корыстолюбцам, изобличения обманщиков, упреки королям⁵¹. Добавим от себя, что в этом он оказывается преемником и наследником своего любимого Плутарха, величайшего мастера рассказа, построенного на единстве интонации и чисто ассоциативных связях.

Утверждения, подобные алленовскому, щедро разбросанные по разным книгам и статьям, почти все любопытны и ценны, но все носят характер импрессионистских заметок. Будущему исследователю есть от чего оттолкнуться, а в выводах его импрессионистскую неопределенность должна заменить твердая, стопроцентно документированная уверенность.

Тот же Аллен говорит:

Очень немного из того, что написано Эразмом, можно определить как литературу в собственном смысле слова...

⁵¹ Allen P. S. Erasmus. Oxford, 1934, pp. 8–9.

Во всем видна вполне определенная цель — моральная, социальная, политическая, и соображения искусства всегда ей подчинены. Даже в «Похвале» взор его устремлен на недуги мира, который он жаждет увидеть исцеленным⁵².

Но столь же верно и обратное: весьма немногое из написанного Эразмом поддается исключению из понятия «литература» в собственном смысле слова. Очень хотелось бы подтвердить это на примере какого-нибудь филологического трактата вроде «Языка» (1525), или этического рассуждения вроде «Наставления в христианском браке» (1526), или, еще лучше, эссе-комментариев из сборника «Адагии» (то есть «Пословицы») вроде «Навозного жука», «Силенов Алкивиада», «Войны». Но для этого необходим перевод, и довольно полный. Приходится обращаться к более беллетристическому жанру, который позволит ограничиться пересказом, — к диалогу. Зато диалог возьмем самый «нечитанный», самый незначительный — «Юлий, не допущенный на небеса».

Диалог написан в 1513 году по случаю смерти папы Юлия II (Джюльяно делла Ровере), того самого «дряхлого старца», на которого намекает упоминавшаяся выше глава LIX «Глупости», а напечатан в 1517 году в Базеле у Фробена. Вероятно, он ходил по рукам и до того, еще в рукописи. Сам Эразм тщательно скрывал свое авторство и открещивался от «Юлия» как только мог, но друзья и поклонники — в их числе Виллибальд Пиркгеймер и Мартин Лютер — не сомневались, что «Глупость» и «Юлий» написаны одним пером. «Он такой забавный, ученый и остроумный, иными словами, такой от начала до конца эразмовский, что вынуждает читателя смеяться над пороками церкви — теми пороками, над которыми любой настоящий христианин должен бы тяжело вздыхать», — восхищался Лютер⁵³. Тем не менее *твердо доказать* принадлежность «Юлия» Эразму удалось только

⁵² Allen, Erasmus, p. 75.

⁵³ Цит. по: Pr. Smith, Op. cit., pp. 127–128

четыреста лет спустя (это сделал П. Аллен⁵⁴), и тогда он появился в приложении к LB.

Диалог, как всегда у Эразма, начинается прямо с реплики Юлия, без какой-либо авторской ремарки: «Это еще что такое? Не отворяются двери? Не иначе как переменяли засов, или, может, он испортился». Это папа изумлен, что его ключ от неба, которым он владел при жизни, не может отворить райских врат. Вскоро мы узнаём, что папа явился к вратам рая не один, а в сопровождении своего гения (по языческой моде!) и громадной толпы — свиты. Святой апостол Петр, который, конечно, никого из них не впускает, дает отличное описание и этой толпы, и самого Юлия:

Ты привел с собою чуть не двадцать тысяч, и в такой толпе я не замечаю ни единого христианского лица! Какой гнусный сброд, и сколько потаскух, и от всех разит либо вином, либо порохом! По-моему, это наемные убийцы, или нет — вернее, духи ада вырвались из-под земли, чтобы потрясти войною небо. А в тебе самом, чем больше на тебя гляжу, тем меньше вижу хотя бы намек на мужа апостольского. Во-первых, что это за диво — ты носишь наряд верховного священника, а под ним гремит окровавленное оружие? И потом — какой суровый взгляд, упрямый рот, грозный лоб, какие гордые и надменные брови! Стыдно сказать и противно глядеть, но весь ты, с головы до пят, измаран следами чудовищной и мерзкой похоти. Умолчу уж о том, что ты непрерывно рыгаешь хмельным духом. Мне кажется, ты недавно блевал. Такое у тебя обличив, что скорее всего не от старости и не от болезней ты одрябнул, выцвел и надломился, а от пьянства!

Затем Юлий представляется небесному ключарю полным своим титулом и, подстегиваемый вопросами Петра, подробно объясняет все свои достоинства, начиная с того, что он лигуриец,

⁵⁴ См. Opus Epistolarum, II, p. 418 ff. — преамбула к письму № 502.

а не какой-нибудь еврей, как сам Петр. Далее следует описание бранных подвигов папы-воина — покорение Болоньи, Венеции, Феррары. Далее рассказ о неудавшейся попытке нескольких кардиналов свалить Юлия, созвав собор. К сожалению, расправиться с врагами окончательно папа не успел — помешала смерть, и теперь перспективы неясны. Петр расспрашивает Юлия о внешних делах. С величайшим презрением и цинизмом Юлий говорит о «варварах», то есть всех не-итальянцах. Варварских светских государей (а впрочем, и итальянских тоже) можно и нужно держать в руках, стравливая их друг с другом. Юлию это прекрасно удавалось. Но ведь пожар войны может в конце концов поглотить весь мир? «Ну и пусть поглощает, лишь бы Римский престол сохранил свое влияние и свои владения. Впрочем, я старался все бремя войны переложить с итальянцев на варваров: пусть сражаются сколько влезет, а мы поглядим, а может, еще и попользуемся плодами их безумия».

Юлию надоели пустые разговоры, и он принимается грозить Петру. Петр объясняет ему, что он недостоин неба, потому что показал всему миру, каким не должен быть папа. Юлий удивляется: да ведь он украшал и возвышал церковь Христову именно теми украшениями и тою славой, какие единственно подобают торжествующей церкви. А Петр просто-напросто отстал от жизни, его взгляды безнадежно устарели: и церковь и папа теперь не те, что полтора тысячелетия назад. Но Петр не уступает, и Юлий взрывается:

Ты говоришь так потому, что завидуешь нашей славе, видя, каким жалким и убогим было твое правление по сравнению с нашим!

Петр. Наглец, ты смеешь сравнивать твою славу с моей? А ведь моя слава — это слава Христа, не моя! Станешь ли ты со мною спорить, что Христос — лучший и истинный глава церкви? Так вот, он сам, сам Христос, отдал мне ключи царства, сам поручил пасти его овец, сам похвалил и одобрил мою веру. А тебя сделали папою

деньги, хлопоты смертных, коварство и ложь, — ежели только вообще должно именовать тебя папою. Я столько тысяч душ стяжал для Христа, ты столько тысяч погубил! Я первый научил имени Христову Рим, дотоле языческий, ты сделался наставником язычества для христианского Рима. Я тенью своею исцелял больных, избавлял от злого духа одержимых, возвращал к жизни умерших и, где бы ни появлялся, все наполнял благодеяниями. Было ли что подобное в твоих триумфах? Единым словом своим я мог кого угодно предать во власть Сатаны, но все свое могущество всегда употреблял лишь на общую пользу. А ты — для всех бесполезный! — делал все, что мог, для всеобщей погибели!

Юлий слегка растерян. Христа нынче восхваляют все, это так, но подражать ему невозможно. Нет, решительно возражает Петр, восхвалять — значит подражать. Всякое иное восхваление лживо. «Хочешь, дам тебе добрый совет? У тебя целая армия здоровых мужиков, у тебя денег без счета, сам ты искусный строитель — так возведи себе какой-нибудь новый рай...» «Нет уж, уволь, — огрызается усопший папа, — я сделаю по-своему: открою несколько меняльных лавок и, когда накоплю денег, вышвырну вас отсюда силою, если вы не сдадитесь подобру-поздорову. Не сомневаюсь, что солдат у меня скоро будет без числа — войны громоздят горы трупов»⁵⁵.

«Юлий» написан по малой мере за пять лет до прославленных антипапских диалогов Ульриха фон Гуттена и, можно предполагать, в какой-то мере послужил для них образцом. Для самого Эразма он тоже был, по сути дела, первою пробой пера в жанре диалога, которому предстояло сделаться его любимую литературной формой: ранний вариант «Разговоров запросто», напечатанный без ведома и согласия Эразма, в счет идти не может, а

⁵⁵ Erasmi Opuscula. A Supplement to the Opera omnia. / Edited with Introductions and Notes by Ferguson W. K., Ph. D. The Hague, Martinus Nijhoff, 1933, pp. 65–124.

серьезная работа над «Разговорами» началась лишь после 1519 года. Вполне понятно, что «Юлий» уступает лучшим «Разговорам»⁵⁶, но Лютер прав: и здесь легко узнать по когтю льва.

При всей остроте и смелости сатиры Эразмов герой не превращается в карикатуру, в сказочное чудовище, — как, например, папа на некоторых немецких лубках времен Реформации, — или в сказочного же остолопа, — как папский легат Каэтан в гуттеновских «Наблюдателях». Он рассуждает вполне здраво и последовательно (со своих позиций, разумеется), а потому его речи оставляют впечатление искренности и даже некоторой убедительности. Но он до того далек от Петра (иными словами, от подлинного христианства), что совершенно неспособен его понять. Впрочем, он и сам видит пропасть, отделяющую его от Петра, да только при этом уверен, что ему достался счастливый и завидный жребий, а Петру — убогий и несчастливый. Он заявляет напрямик, с жалостью и легким презрением: «Эти древние папы, которые, на мой взгляд, были папами только по имени...»⁵⁷ Петр несколько раз спрашивает его, по справедливости ли его поносят враги, действительно ли он повинен в том, что ставится ему в укор, и всякий раз Юлий с наивным чистосердечием возражает: да какая разница? К делу это никакого касательства не имеет: коли я папа, стало быть, прав и ни перед кем не в ответе⁵⁸. Его мышление и чувства абсолютно секуляризованы, в нем не осталось ни страха перед богом, ни надежды на его помощь, ни веры в *божественную* справедливость своей борьбы. Когда Петр спрашивает, кто победит — он или мятежные кардиналы, Юлий спокойно объясняет: «Это в руках судьбы. Правда, у нас денег больше — француз разорен бесперывной

⁵⁶ Справедливости ради отметим, что Аллен (Op. cit, p. 77) держится противоположного мнения.

⁵⁷ Erasmi Opuscula, p. 73.

⁵⁸ Ibidem, pp. 91, 97.

войной, а у англичанина еще горы золота... Я очень надеюсь на наши деньги...»⁵⁹

Прекрасно! По крайней мере никаких лживых заигрываний с Провидением, никаких иллюзий. У папы Юлия свои, очень четкие, очень крепкие понятия о церкви, ее целях, ее славе, величии, унижении. Он человек убежденный и даже честный: обещал царствие небесное и вечное блаженство всякому, кто выступит под его знаменами, — и приводит к вратам рая своих павших соратников, хотя, конечно же, мог бы их надуть, если бы пожелал.

Мастерство и убедительность внутреннего портрета — счастливое свойство Эразма; по-моему, никто из гуманистов не может соревноваться с ним в этом мастерстве. Особенно сказывается оно в письмах; переписка Эразма — это целая портретная галерея его современников (назовем хотя бы знаменитую характеристику Томаса Мора в письме Гуттену от 23 июля 1519 года⁶⁰, а также в письмах к Гильому Бюде от сентября 1521 года⁶¹ и к Иоганну Фаберу от конца 1532 года⁶²). Но то же самое мастерство заметно и в «Глупости». Хотя вся соль сатиры — в растяжимости понятия «глупость», хотя оратор с шутовскими бубенчиками на колпаке последовательно представляет три различные глупости⁶³, перед читателем не абстрактная фигура, не вымученная аллегория, а живое и хотя бы отчасти знакомое каждому по собственному опыту существо. Словно бы действительно слышишь бойкую бабу-пройдоху, умудренную жизнью, но вместе с тем наивную, здравую и вместе с тем вздорную, тщеславную и чуть склонную к похабству, а главное, неудержимо болтливую⁶⁴.

⁵⁹ Ibidem, p. 102.

⁶⁰ Opus Epistolarum, IV, pp. 13 – 23 (N 999).

⁶¹ Ibidem, IV, pp. 575 – 580 (N 1233).

⁶² Ibidem, X, pp. 135 – 139 (N 2750).

⁶³ В этом согласны все исследователи. См. Л. Пинский, Реализм эпохи Возрождения, С. 67. и сл.

⁶⁴ См. Bruns I. Erasmus als Satiriker. // «Vorträge und Aufsätze», München, 1905, S. 424.)

Слышишь, но не видишь, потому что внешний облик человека или явления мало занимает Эразма.

В «Юлии» достаточно отчетливо различимы почти все достоинства и недостатки будущих «Разговоров». Изящество и соразмерность. Умение описать ситуацию несколькими штрихами и, однако, с исчерпывающей точностью. Демокритовская ясность взгляда, не затуманенного, не застланного ненавистью. (Но без ненависти, вероятно, невозможен реформатор, человек действия; неспроста же проклинал «Разговоры» Лютер, писавший: «На смертном своем одре я запрещаю сыновьям читать «Разговоры» Эразма. Он гораздо хуже Лукиана, он издевается надо всем на свете, прячась под маскою благочестия»⁶⁵. Впрочем, не больше благосклонности выказали и католики — вскоре после смерти Эразма «Разговоры» были внесены в «Индекс запрещенных книг».) Прямая нравоучительность, дидактическое начало, воплощенное в положительных персонажах, то есть сочетание сатиры с декларацией собственных идеалов. Разнообразие речевых характеристик. Языковое изобилие, раскованность, вольная игра словом, которая роднит Эразма и Рабле.

Хочется надеяться, что и русский читатель не в очень далеком будущем сможет познакомиться с «Разговорами» полностью; тогда он сам убедится, как они хороши, как живы, свежи, увлекательны, увидит, как сочетался в них талант драматурга и рассказчика и как широк диапазон рассказов — тут и фацетии, и шванки, и новеллы (типа итальянской), и ядовитые анекдоты, и «газетные репортажи», и «фельетоны»⁶⁶, и «физиологические очерки», и пародии. Маргарет Филлипс права: не считая писем, это единственное произведение Эразма, где его природные качества — юмор, наблюдательность, проницательность, сочувствие всякой естественности — нашли полное свое выражение, и

⁶⁵ Цит. по: Pr. Smith, Op. cit., p. 300.

⁶⁶ О «Разговорах», как своего рода предшественнике журналистики, говорит: Phillips, Op. cit., p. 105.

потому эта книга — одно из богатейших и самых «густонаселенных» полотен, изображающих жизнь Ренессанса⁶⁷. Не считая писем. Еще один неведомый шедевр «писателя одной книги», ожидающий переводчика, чтобы открыться русскому читателю.

500-летие Эразма — великий праздник европейской культуры. Но это не все и не главное. 500-летие Эразма — праздник и торжество человечности, гуманности, праздник будущего. 12 июля 1941 года в речи по случаю 405 годовщины смерти Эразма Хейзинга сказал: «Из восьмидесяти одного пятилетия, отделяющих нас от 1536 года, не было, пожалуй, ни одного менее эразмовского, чем нынешнее. Все, что означает для нас имя Эразма, кажется оставленным и забытым. И тем не менее мир еще, видимо, захочет услышать об Эразме. Но сможет ли он еще что-нибудь нам сказать?» И правда, нет ничего более враждебного духу Эразма, чем фашизм, воскресивший все самое мрачное и самое страшное, что было в средневековье, и умноживший этот мрак и этот страх в тысячи раз. Зато теперь, когда мрак рассеян, мы, как никогда прежде, знаем настоящую цену разуму, миролюбию, спокойствию, терпимости, понимаем, что это не признаки трусости или слабости, а необходимые, неперенные условия сохранения жизни на нашей планете. Теперь, как никогда, мы знаем и цену гибкой уступчивости, и те пределы, за которыми она становится подлой капитуляцией перед маниакальной одержимостью, перед фанатизмом и бесчеловечностью. Еще в конце прошлого века либеральные протестантские богословы высказывали суждение, что протестантизм эволюционирует от Лютеровой реформы к Эразмовой. Ныне можно расширить это суждение: не только религиозная мысль (кстати, наравне с протестантской — и католическая, как показывают понтификаты Иоанна XXIII и Павла VI), но вообще мысль и чувства современного человека находят для себя все больше сродного и созвучного в наследии Эразма из Роттердама.

⁶⁷ Phillips, *Op. cit.*, p. 106.

ПОХВАЛЬНОЕ СЛОВО ЭРАЗМУ ИЗ РОТТЕРДАМА⁶⁸

Эразм не из тех фигур, о которых часто можно говорить с читателем со страниц журналов или газет. А между тем этот богослов, философ и писатель — великий герой не только своего века, но и нашего. И вот представляется случай сказать об этом. Именно случай, случайность, потому что мы знаем лишь день рождения Эразма — 28 октября, а года не знаем. Традиционная для прошлого века дата — 1466 — ныне оспорена многими учеными, и есть основания предполагать, что до пятисотлетия Де-зидерия Эразма Роттердамского остается еще три года. Но если мир празднует, хотя бы и вопреки ученым выкладкам, будем и мы праздновать вместе со всеми.

Когда он был еще мальчишкой, учеником школы при соборной церкви святого Лебуина в голландском городе Гауда, учитель, господин Синтен, угадал будущее, посулив Эразму, что он поднимется к вершинам знания и славы. Предсказание сбылось, но путь вверх начинался с самого низменного низа. Эразм был незаконнорожденным сыном бедного приходского священника и всю жизнь нес каинову печать дурного, постыдного происхождения. Он остался наг и нищ после смерти родителей и по неспособности добыть себе пропитание «в миру», по страху перед этим «миром» постригся в монахи и принял сан священника. Потом, не снимая монашеского облачения и звания, он вырвался за стены обители и стал студентом богословского факультета в Париже. Он отчаянно нуждался и отчаянно страдал от нужды, он существовал случайными уроками и

⁶⁸ Опубликовано: Литературная газета, 27 октября 1966, С. 3.

случайными подачками знатных покровителей. Он обладал нервной и необычайно чувствительной натурой, но испытания молодых (и уже не очень молодых) лет не озлобили его, не ожесточили, не заставили забыть о собственном достоинстве. Мы верим Эразму, когда в ответ на яростные нападки Гуттена, что, дескать, Эразм пресмыкался перед сильными мира сего, вымаливая пенсии и награды, он возражает: человеческая жизнь исполнена тягот, и он просил лишь о самом необходимом, а получал намного меньше того, что заслуживал.

Эразм едва ли не первый в истории Европы интеллигент-профессионал, для которого интеллектуальный труд был не забавой, не удовольствием, не благородной страстью, а важным, необходимым обществу делом. И он гордился своим трудом, знал ему настоящую цену и, не стыдясь, брал плату. А платили охотно. Князья и короли, епископы и папы — все почитали за высокую честь, если некоронованный государь в царстве истинной образованности посвящал им новую книгу или хотя бы обращался к ним с посланием. Но последний труд Эразма, написанный уже на смертном одре, украшен посвящением не папе и не кардиналу, а простому таможенному чиновнику, “мытарю”. И есть в этом нечто символическое — предвестие демократизма, который всегда будет отличительной чертой подлинной интеллигенции.

Он был гуманистом и в узком, и в более широком, нынешнем смысле этого слова: несравненное знание античности сочеталось в нем с глубочайшим уважением к человеку. Не жалкую тварь, не муху, не бессильного червя видел он в человеке, а существо, способное на великие мысли и великие дела. Те же, кто постоянно твердит о человеческой испорченности, греховности, никчемности, бессилии, — не поборники благочестия, а низкие себялюбцы, ослепленные гордыней.

Он был богословом неизвестного раньше толка. Методы и приемы филологической критики, найденные гуманистами, Эразм применил к тому, что составляло основу христианской

веры — к библии и к сочинениям отцов церкви. Возврат к началу, к истокам, не заслоненным и не подмененным средневековыми комментариями — вот принцип Эразма и его призыв. Это было настоящей революцией, и не только в богословии, потому что означало пересмотр всех порядков и обычаев, принятых церковью за много столетий.

В 1516 году он выпустил в свет первое печатное издание Нового завета в оригинале (по-гречески), снабдив его собственным латинским переводом и обширными комментариями. Эразму казалось, что, издавая Новый завет, он всего-навсего освобождает оригинал от бремени накапливавшихся веками ошибок переписчиков, а традиционный латинский перевод, Вульгату, — от неудачных оборотов и от явной бессмыслицы, порожденных стремлением древнего переводчика переводить буквально, слово в слово. Стоит людям верно понять смысл источников, как христианство возродится таким, каким было в апостольские времена, и путь к этому — ясный разум и глубокая образованность. Так он рассуждал, просто и по-человечески.

Но подойти с человеческими мерками и сомнениями к тому, что создано, продиктовано или внушено самим богом, означало посягнуть на веру в целом, потрясти все ее здание. Если сегодня одну фразу признать позднейшей вставкой, сделанной невесть чьей рукой, что помешает завтра усомниться в божественности всего писания?

Лютер бросил Эразму страшное обвинение: «Человеческое значит для него больше, чем божественное». Он был прав, но только обвинение за четыре с половиною века превратилось в похвалу.

Разумеется, Эразм верил в бога и, желая «спасти свою душу для жизни вечной», оберегал веру от яда сомнений. Но никогда не обращался он к самому надежному средству, которое предлагали проповедники во всех церквях, — не мудрствовать лукаво, не раздумывать, не размышлять, не вглядываться ни в мир, ни в

самое веру. Никогда не отказывался от дарованного человеку счастья мыслить, отличать истину от лжи и добро от зла!

И не только отличать, но и защищать, однако же без той слепой, безмозглой, кровожадной одержимости, которая зовется средневековым фанатизмом.

Пожалуй, больше всего на свете Эразм ненавидел насилие, жестокость, узколюбую нетерпимость. Он считал зверством наказывать за ошибку сожжением на костре — какой простор открывается для произвола!

Он был защитником здравого смысла и ставил добрые плоды учения выше догматов богословия и тонкостей философии. Он писал: «Ты не будешь осужден за то, что не знаешь, имеет ли дух, исходящий от отца и сына, одно или же два начала. Но тебе не миновать осуждения, если ты пренебрегаешь плодами, которые приносит дух, — любовью, радостью, миром, терпением, добротой, кроткостью, снисходительностью, верою, скромностью, чистотою». Между тем догматические несогласия и споры о едином или же двойственном начале святого духа, о том, исходит ли дух только от бога-отца или же от отца и сына, откололи восточную церковь от западной.

Мир. Это словно не сходит со страниц, написанных Эразмом, будь то нравственные трактаты, частные письма, памфлеты, наставления государям и проповедникам. Из двух прямо противоположных друг другу слов Христа, заключенных в евангелии, — «Мир мой даю вам, мир мой оставляю вам» и «Не мир я принес, но меч», — он безусловно выбирает первое.

И, однако же, этот миролюбец, этот маленький, хрупкий, всегда больной человек был бойцом несокрушимой стойкости и редкостной отваги. Все, кто сражался с духом средневековья, владевшим церковью, видели своего вождя в Эразме. Но вот пришел Лютер. Реформация началась. И очень скоро Эразм понял, что это совсем не то, чего он ждал и о чем мечтал, что слишком много в Лютере и его приверженцах от прежней, средневековой нетерпимости, фанатизма, жестокости, вражды к разуму и науке,

презрения к человеку. Предстояло сделать выбор: идти ли и дальше за старым знаменем, которое понесли по совсем иной, чуждой ему, Эразму, дороге, за знаменем, которое осталось старым лишь по внешней видимости, или отмежеваться от ложных союзников, сохраняя верность себе, своей совести, своим убеждениям и идеям. Выступление Эразма против Лютера и лютеран — не ренегатство, но акт высочайшего мужества и силы духа.

Да, он остался верен себе и, отмежевавшись от мнимых друзей, не перешел на сторону былых врагов, врагов Реформы, — тупых консерваторов, одержимых папистов, хотя они и мечтали залучить его в свой лагерь. Он остался верен себе, и остался один меж двух враждующих станов, и почти двадцать лет, до самой смерти (1536 г.) вел свою одинокую борьбу на два фронта... Еще задолго до этих трагических событий об избрал себе девизом два латинских слова: *Cedo nulli!* — «Никому не уступлю!» Сам он толковал эти слова как напоминание о всемогуществе смерти, которую никто не в силах остановить. Но сегодня мы вправе толковать их по-своему — как боевой клич.

Он был замечательным писателем. Талантом писателя отмечено все, что он создал. К сожалению, из огромного — более тысячи авторских листов — наследия Эразма русский читатель знает только «Похвалу Глупости». Эта маленькая книжечка не вмещается ни в какие рамки жанровых определений, не поддается однозначному истолкованию. То, что осмеивает, над чем печалится в ней Эразм, — не только беды феодального общества или даже всякого сообщества людей, но необузданность разума и сердца, незнание чувства меры, все тот же фанатизм, если угодно. Необузданность все выворачивает наизнанку, превращая добро во зло, благочестие в пустосвятство, гордость — в наглое чванство. Шутливое прославление владычицы Глупости — не просто шутка. Диалектическая двусторонность каждой вещи и явления была понятна Эразму как мало кому другому; он за снисходительную мудрую глупость — ласкового друга жизни — и против всегда насупленной, всегда суровой глупой мудрости —

губителя жизни. Второй всемирно известный шедевр Эразма — «Разговоры запросто» — сборник сценок на разные темы, отчасти сатирических, отчасти бытовых, отчасти и философских — известен нам только в отрывках. Но XVI и XVII столетия читали Эразма в захлеб. Хотя казалось, что он просто следует примеру древних — Цицерона, Сенеки, Плутарха, Лукиана, он создал свои, совсем новые жанры сатирического диалога, литературного письма, эссе, публицистического очерка. Никто до Эразма не говорил с читателем так живо, просто и доверительно, никто из гуманистов не писал по латыни так точно, изящно, ясно и вместе с тем так вольно, раскованно. Он писал только по-латыни и принадлежал всем народам Европы; впрочем, не только по языку, но и по духу. Его латынь не менее жива, чем французский Рабле или немецкий Лютера; она, бесспорно, высшая точка, какой смог достигнуть язык римлян во второй своей жизни, когда сделался интернациональным языком церкви, науки и литературы. С кончиною латыни начинается закат беспримерной Эразмовой популярности.

У него всегда было много друзей — и каких друзей! — от Томаса Мора до Томаса Манна! И, конечно, много врагов. Потому что не мог и не может быть другом Эразму никто из тех, кому не дороги человек и человечность, мир и культура.

ЭРАЗМ РОТТЕРДАМСКИЙ

(1469 –1536)

Вступительная статья⁶⁹

Быть может, начало нашего предисловия прозвучит несколько неожиданно, но мы должны предупредить читателя, что первоначально эта книга была написана для детей и юношества.

В 1497–1500 годах молодой богослов Эразм, сын Герарда, из Роттердама, студент Парижского университета, как и многие его товарищи по нелегкому студенческому существованию, добывал себе средства к жизни частными уроками. На попечении у него были подростки, которым надо было преподавать общеобразовательный курс наук, именовавшийся в средние века «семью свободными искусствами». Главным в этом курсе была латынь, универсальный язык тогдашней науки и литературы, целью было выучить мальчика правильно и изящно выражать свои мысли устно и письменно. Впрочем, «правильно и изящно» — условия, рожденные уже не средними веками, а гуманизмом эпохи Возрождения, объявившим истребительную войну искаженной, «варварской» латыни средневековья и ориентировавшимся на классические, античные образцы.

Чтобы учить в согласии с новыми взглядами, требовались и новые учебники, а их еще не было. Эразм составлял для своих подопечных собственные пособия; печатать их он не торопился, а может быть, и вообще не имел в виду, но друзьям передавал и

⁶⁹ Предисловие к книге: Эразм Роттердамский: Разговоры запросто. Перевод с латинского, предисловие и примечания С. Маркиша. М., Издательство «Художественная литература», 1969. С. 5–23.

пересылал регулярно. Одному из них он пишет в сентябре 1500 года, что ничего нового отправить ему не может, кроме «некоторых обыденных речей, которыми мы обмениваемся при встречах и за столом». По-видимому, это первое упоминание о будущих «Разговорах запросто». Тогда это был перечень повседневных выражений, употребляемых в разных житейских обстоятельствах (как попросить напиток, пожелать счастливого пути, поблагодарить за услугу), своего рода практическая стилистика обыденной латыни.

Миновало около двадцати лет. Безвестный парижский студент превратился в великого, прославленного по всей Европе ученого — богослова и филолога, лучшего латиниста своего века и, как знаем ныне мы, всех веков Возрождения. Ему принадлежало первое печатное издание нового завета в греческом оригинале с обширными комментариями, где он показал, как неверно, вопреки истинному смыслу толкуются многие места из священных книг христианства, и причина неверных толкований — невежество. Ему принадлежало сочинение «Кинжал христианского воина» — образец нового богословия, далекого от мертвых умствований и обращенного к жизни, гуманистического богословия, вправе мы сказать. Он составил громадный сборник греческих и латинских изречений и поговорок (известный и поныне под латинским своим названием — «Адагии»), который открывал путь в царство античной образованности всякому желающему. Он написал шутовскую декламацию «Похвала Глуposti», и шутовство, как это иногда случается, обернулось высшею мудростью, и тоненькая книжица, написанная за несколько дней, играючи, для собственной забавы и на потеху другу, Томасу Мору, осталась на века самым знаменитым из всего, что создано Эразмом. Он готовил к печати и комментировал сочинения древних христианских писателей, так называемых Отцов Церкви, привлекая внимание к истокам христианства, к первоначальной простоте, искренности и бескорыстию, столь разительно несхожими с современным богатством, жестокостью,

бездушной обрядностью и властолюбием католической церкви. Он был некоронованным владыкою в не знавшей государственных границ республике ученых, властителем умов всей образованной Европы. Короли, князья, епископы почитали за честь получить от него письмо и увидеть свое имя в посвящении к новому труду Эразма.

В эти годы все, когда-либо вышедшее из-под пера Эразма, приобрело и ценность, и интерес. Многие его рукописи, рассеянные по разным городам Европы, стали предметом внимания типографов и выходили в свет без ведома, а нередко и к немалому возмущению автора. Так получилось и с «Разговорами». У Эразма не осталось даже копии того маленького сборничка, о котором мы говорили выше, возможно он и забыл об этом домашнем учебнике, как вдруг, в ноябре 1518 года, появилась книжка под заглавием: «Эразм Роттердамский. Формулы для обыденных разговоров». Она имела успех, быстро распродалась, потребовалось несколько новых изданий. Впоследствии Эразм объяснял, что рукопись, купленная базельским типографом Иоганном Фробеном, была составлена из записей его, Эразма, учеников, записи перемешаны в полном беспорядке да еще «сдобрены» чужими прибавлениями («так что нередко заметен осел под львиною шкурою»). Несмотря на возмущение, автор сочел за лучшее не отказываться категорически от своего труда, а выправить его самому. Авторизованное издание «Формул» вышло в следующем, 1519 году, в 1522 было значительно расширено, еще два года спустя переименовало прежнее название на «Разговоры запросто» и вплоть до марта 1533 года не переставало пополняться все новыми диалогами. Как указывает сам Эразм, он преследовал тройную цель: «В угоду учащимся и Иоганну Фробену я многое добавил, причем так выбирал темы, чтобы, доставляя приятное чтение и совершенствуя речь, книга способствовала бы и нравственному воспитанию». То есть: художественное воздействие, обучение и воспитание. Книга не только сохранила, но и углубила свой педагогический, «детский»

характер. Тем более что и занимательность — как мы убедимся ниже — ценна для Эразма не сама по себе, но в качестве дидактического приема.

Каждый знает, что Эразм Роттердамский — великий гуманист, борец против средневекового мракобесия, предтеча Реформации. Так оно, конечно, и есть, но нуждается в некотором уточнении. Возрождение и гуманизм — не только ранняя весна Нового времени, но и поздняя «осень Средневековья», как выразился соотечественник Эразма, крупнейший историк культуры Йохан Хёйзинга, умерший в 1945 году. Отрицая средневековое прошлое, Эразм многое от него перенял, во многом продолжал традиции средневековья. Средневековому мышлению свойственна тяга к систематизации, желание уместить все физические или духовные — или даже те и другие разом — явления бытия в рамках единой стройной системы. Возникали различные «суммы», «своды», «зеркала», над которыми так охотно глумились гуманисты. Однако, что такое «Похвала Глупости», если не своего рода «сумма», обнимающая все стороны человеческого существования, все ступени общественной лестницы, все социальные и личные связи между людьми? И не в этой ли универсальности одна из главных причин ее нестаряющего обаяния и остроты?

Но еще замечательнее другое: «Похвала» универсальна вдвойне — в ней и вся разноликая картина мира, и все мироощущение автора. Оно было цельным и последовательным, оно, как показывают исследования новейшего времени, сложилось у Эразма в ранние, почти что юные годы и не менялось до конца дней. При всем своем миролюбию и склонности к компромиссам Эразм отстаивал его с завидной решимостью. Образ мира, сложившийся в душе автора «Похвалы», и идеальное, желаемое устройство мира, о котором он мечтал, — те же, что открываются нам еще в одной Эразмовой «сумме»: в «Разговорах запросто».

Попытаемся же описать этот образ, ни на миг не упуская из виду, что он не объективен, а субъективен, что это «образ мира, в слове явленный».

Мир, сотворенный богом (помните: Эразм — богослов, проблемы религии, веры и благочестия всегда для него на первом плане), — прекрасен. Влюбленный Памфил с блеском и убеждением рисует всю прелесть божьего мира Марии, которая колеблется, выйти ли ей замуж или отгородиться от жизни, храня свою чистоту («Поклонник и девица»). В диалоге «Эпикуреец» Эразм утверждает, что величайший из всех эпикурейцев — это Христос, потому что суть его учения — это радость, а не скорбь. Разумеется, он имеет в виду истинные радости, которые приносит дух, а не низменные наслаждения плоти. (Такой гедонизм повторяет идеи «Утопии» Томаса Мора, написанной за семнадцать лет до «Эпикурейца», но в самом общем виде эти мысли были высказаны Эразмом еще в конце 80-х годов XV столетия, то есть лет на тридцать раньше, чем родилась «Утопия».) в том же диалоге отношение благочестивого человека к природе определено как радостное и благодарное любование. ибо и природа не нема, она наставляет того, кто обращается к ней с благочестием и доверчивостью («Благочестивое застолье»).

Но то, что открывается взору, увы, не согласно с понятиями разума. Картина действительности, набросанная в «Роженице», беспросветно черна: войны, заговоры, мятежи, раскол в церкви, под угрозой исповедь, причастие, священство, все ближе подступают турки, народ стремится к анархии, одним словом — «вот-вот явится Антихрист, и весь мир разродится еще неведомою, но великой бедою». «Никогда еще наглость не имела такого преимущества перед мудростью, как в наше время» («Самозванная знатность»), — подобные оценки встречаются очень часто, слишком часто.

Причина испорченности прекрасного мира — прежде всего в превратности человеческих суждений. Люди ценят то, чем не стоит дорожить, и пренебрегают тем, что дороже всего. Весь

диалог «О вещах и наименованиях», значительная часть «Рыбоедства», многое в «Неравном браке» иллюстрирует безмерную человеческую глупость, приверженность пустому звуку, обманчивой и скоропреходящей видимости, пренебрежение сутью. А многим власть имущим это на пользу.

Вот и получается, что народ, совершенно развращенный превратными суждениями, уповает на то, в чем явная опасность, страшится того, в чем опасности никакой, предается отдыху, когда надо идти вперед, устремляется туда, откуда следует отступать. И если ты пробуешь хоть сколько-нибудь расшатать эту дурную постройку, раздаются крики, что ты вызываешь мятеж...

(«Рыбоедство»).

Из этого мотива вырастает другой, едва ли не самый главный в мировоззрении и жизнеощущении Эразма, — мотив всесторонней парадоксальности бытия, заложенной не только в человеческом существовании, но и в трансцендентных, богословских категориях, в вочеловечении божества, спасении человечества евангельской проповедью, в самой проповеди спасения, раздавшейся с креста. Все двойственно, все таит в себе собственную противоположность. Евангельская весть представляется безумием языческому миру. Спаситель является в облике жалкого бродяги и умирает самой позорной смертью — распятый вместе с разбойниками. Лишь истинная мудрость, истинное благочестие способны постигнуть этот парадокс и не смутиться им... Что может быть незавиднее доли профессионального нищего? А между тем нищий счастливее и свободнее царя, он надежнее всех прочих защищен от ударов судьбы («Разговор нищей братии»). Что более несходно друг с другом, чем монашество и шутовство? А между тем истинные монахи — «шуты мира сего»: они ничем не владеют, ни от кого не зависят и бесстрашно говорят правду богатым и сильным («Богатые нищие»). Превратность суждений ведет к парадоксу навыворот,

к метаморфозам наизнанку, и за человеческой наружностью угадывается зверь или тупая скотина («Циклоп», «Филодокс»); гниющий заживо сифилитик, ничтожество, прощельга превращается в самого завидного из женихов («Неравный брак»). Мотив парадоксальности бытия, основной в «Похвале Глупости», в блистательном очерке «Силены Алкивиада», входящем в «Адагии», и в некоторых иных сочинениях Эразма, звучит и в «Разговорах» с полной отчетливостью.

Если все сущее неоднозначно, а часто и зыбко, и даже двусмысленно, то отыскать единственно верный путь, на котором мудрость не обернется безумием, похвальное рвение — адской жестокостью, а благочестие — пустосвятством, поможет лишь сдержанность, снисходительность, ненавязчивость, чувство меры. «Ничего сверх меры», — Эразм не устает напоминать это древнее правило по самым различным случаям, напрямую и буквально — в «Мальчишеских забавах» и «Пестром застолье», косвенно — в «Дружестве», в «Рыбодестве» (осуждение крутых действий, призыв лечить, а не карать), в «Поклоннике и девице» (протест против скопчества как мерзкой крайности), в «Заклинании беса», в «Ненавистнице брака», да, пожалуй, и в любом из диалогов.

Эти общие принципы видения мира определяют все без исключения детали, от самых крупных до мельчайших. Начнем опять-таки с того, что важнее прочего для Эразма, — с веры, церкви, богословия. Подлинная вера, непоказное, нелицемерное благочестие (определяемое как благоговение перед богом и Писанием, незлобивость, милосердие, терпение) не отвлечены, но конкретны, человечны. «И потому, мне кажется, в смертном грехе повинны люди, которые тратят без счета и меры на сооружение и украшение монастырей и храмов, меж тем как столько живых храмов Христовых голодают, коченеют от голода полунагие, мучатся жесточайшею нуждою» («Благочестивое застолье»).

Благочестие не в особом образе жизни, особенном платье или прическе, или в особых познаниях, — оно в подражании высшим образцам; Христу и его святым («Ненавистница брака», «Паломничество»). Религиозные обряды важны не сами по себе, не как магические знаки и действия, но лишь как побуждение души к добру и усовершенствованию. Без доброй воли и добрых дел обряд бессилен («Серафическое погребение»), подобно тому как без злого умысла, без злой воли не может быть смертного греха («Мальчишеское благочестие»). А слепое, фанатическое усердие в обрядах убивает веру, превращает христианство в некий новый иудаизм («Рыбоедство»). Память о святых священна, но она, как уже сказано выше, — в стремлении им подражать, а не в том, чтобы по разным нуждам молиться разным угодникам, мученикам и исповедникам, забывая о боге, и не в поклонении реликвиям — всем этим щепкам, тряпицам, костям, веригам, старым сапогам, — большая часть которых заведомо подложны; и то и другое — новое язычество, идолопоклонство («Паломничество», «Кораблекрушение»).

Монашество — прекрасный, достойный, освященный авторитетом древности институт, но как редко и как мало современные монахи напоминают тех, древних! Новое монашество — не что иное, как рабство: без спросу и шагу не ступи, что ни получишь, отдай владыке, если уйдешь — поймают и притащат назад в цепи, словно ты отца родного убил («Девушка, отвергающая брак»). Доминиканцы, травившие достойного и мудрого Иоганна Рейхлина, — пособники Сатаны («об... Иоганне Рейхлине...»). Францисканцы — алчные волки, истребляющие стадо Христово, корыстные плуты, развратники, скандалисты («Богатые нищие», «Похороны», «Серафическое погребение»). Монахи — верные прислужники войны, они раздувают пламя взаимной ненависти, вместо того чтобы хранить мир и восстанавливать согласие между враждующими («Харон»). Особенно это относится к бедствиям и раздорам, вызванным Реформацией: не столько Лютер, сколько монахи повинны в том, что дело приняло

такой трагический и кровавый оборот («Проповедь»). Богословы из монахов — самые опасные, самые упорные, самые дремучие невежды («Проповедь»). Монашеский обет целомудрия Эразм называет «безумием» («Поклонник и девица»). Ничто не подвергается такой резкой критике, как монашество, но при этом много раз подчеркивается, что цель критики — не отрицание и разрушение, а защита истинного монашества, избавление его от болезнетворных наростов нового времени, возвращение к первоначальной святости и простоте.

Призыв вернуться вспять, к истокам, универсален. Новая, гуманистическая образованность на самом деле не новшество, а возрождение древних наук и искусств, забытых за долгие века готического (то есть средневекового) варварства. И новое богословие, отвергающее схоластическую псевдомудрость, не ново: оно продолжает прерванную традицию святых Отцов Церкви, сочетавших великую веру с великими познаниями. Только невежда способен отвергать античное наследие в целом на том основании, что оно языческое. Античное язычество явило необычайные образцы нравственной высоты, недостижимые для нынешних выродившихся христиан и не меркнувшие даже в сравнении с древними героями христианской добродетели. Один из персонажей «Благочестивого застолья» признается, что, читая у Платона о Сократе, он с трудом удерживается, чтобы не воскликнуть: «Святой Сократ, моли бога о нас!» Конечно, первое место должно всегда принадлежать Священному писанию, но иные изречения древних так чисты, возвышенны и вдохновенны, что, быть может, к лику святых принадлежат многие, кто в христианских святцах не обозначен (там же).

И церковь, могучую, торжествующую, богатую, Эразм хотел бы видеть вернувшейся к древней простоте, и бедности, и смирению, чтобы меч ее, как встарь, был только духовным («Паломничество», «Рыбоедство»). Правда, возврат этот мыслится сутобо добровольным, ненасильственным, несхожим с тем опустошением храмов, которое чинят лютеране: «Я предпочитаю видеть

храм ломящимся от священной утвари, чем — как в иных случаях — голым, убогим, больше похожим на конюшню, нежели на дом господень» («Паломничество»).

Перемены, однако же, необходимы, ибо положения, в котором оказалась католическая церковь, долгие терпеть нельзя. Рим, глава и столица католического мира, превратился в рассадник греха и разврата («Юноша и распутница»).

Размышлять над проблемами веры и церкви — значит искать главнейшую истину, искать самого себя и свое единственное место в системе бытия, и это право принадлежит каждому; богословие — не монополия привилегия, даруемая докторской шапочкою и перстнем. Напротив, поскольку нет ничего дороже души и ее спасения, а забота о душе непременно сталкивает человека с этими проблемами, непрофессиональное богословствование необходимо, а часто и более плодотворно, и более глубоко, нежели профессиональное. Лишь одно ограничительное условие ставит Эразм — неформальность этого богословствования, необязательность, отказ от попыток что бы то ни было ограничить, определить, навязать силою. А профессиональные богословы-схоласты, одержимые страстью все загнать в рамки своих определений, только и знают, что спорить друг с другом: их дух — это злой дух раздора, враждебный христианскому миролюбию («Благочестивое застолье»).

Неприянь к категоричности в любых формах, ко всяким раз навсегда заданным границам, неопределенность, размытость вообще чрезвычайно характерны для Эразма. В том же «Благочестивом застолье» он одобряет разнообразие взглядов и вкусов, в «Роженице» презрительно отзывается о косной приверженности толпы своим привычкам, в «Аббате и образованной даме» с неожиданною горячностью, даже с запальчивостью отклоняет довод, что, дескать, «так повсюду заведено». Строгий запрет всегда вызывает протест, скрытый или явный, и если человека, даже склонного по натуре к домоседству, запереть в отечестве, как в клетке, он не будет думать ни о чем ином, кроме побега

(«Солдат и картезианец»). К своей натуре надо прислушиваться и присматриваться, не ломать себя, подчиняясь чужим мнениям, но избирать жизненный путь в согласии с собственными склонностями и антипатиями («Дружество»). Не принимайте решений, ведущих к необратимым последствиям, пока достаточно хорошо не узнаете самих себя; в первую очередь, это касается принятия монашеских обетов («Разговор стариков», «Мальчишеское благочестие»).

Круг идей, тем, сюжетов в «Разговорах» удивительно широк и разнороден до пестроты. Добро плодотворно, злоба бесплодна, никчемна: и в жизни, и в смерти добрый подобен овце, а злой — гадюке («Паломничество»). Очень много о женщинах, и хорошего и дурного, но в общем с достаточным уважением к их природе и потребностям, с осуждением сильного пола, унижающего слабый («Поклонник и девица», «Роженица», «Сенатик» и др.). О браке, воспитании и образовании, о благородном происхождении, о государях, о черни, о житейских заботах, в которых погрязает душа, о рыцарском сословии, об игре в кости, об ужасах и мерзости войны, о зависти старого поколения к молодому, о чувстве родины, о национальных особенностях некоторых родов Европы, о заезжих дворах, морских путешествиях, гримах, роли и значении денег, мошенничестве, алхимии, ной и социальной гигиене, душе и теле, житейской удачливости, тайнах и чудесах природы... Все это было бы случайной и беспорядочной смесью, если бы не стройное и цельное мироощущение, превращающее кубики с Мальты в мозаичную картину.

Цели и идеалы Эразма (как они выражены в «Разговорах») уже раскрылись перед нами в его принципах терпимости, соразмерности, разумности, возврата к истокам — через бесчисленные примеры нарушения этих принципов, которые он наблюдает и приводит. Но есть между диалогами и такие, где положительная программа изложена впрямую; и прежде всего надо назвать «Благочестивое застолье», которое исследователи сопоставляют с «Утопией» Мора и «утопическими» главами о Телемской

обитатели в «Гаргантюа» Рабле. На первый взгляд они совсем несхожи: мало что утопичного в тихом загородном доме с прекрасно ухоженным садом и огородом, богатой библиотекой, коллекцией картин, статуй и настенных росписей, в довольно скромном или, во всяком случае, отнюдь не пышном завтраке, в мирной и ученой дружеской беседе. И правда, Эразм далек от мечтаний (пусть даже вполне бесплотных) о коренном переустройстве общества, он не обладает ни темпераментом социального реформатора, ни разумом государственного мужа, ни отважным воображением фантаста жизнелюбца; он моралист и закоренелый книжник. И все же как далеко от действительности это безмятежное застолье в накаленной атмосфере 1522 года, когда Лютер уже объявлен еретиком и предан анафеме, в церкви начался раскол, и менее трех лет отделяют Германию от диких зверств Крестьянской войны.

Евсевий в «Благочестивом застолье» объявляет: «Укротное гнездышко мне милее царских хором. Но если жить свободно и по своему вкусу означает царствовать, я здесь и в самом деле царь». Роскошью в его доме и не пахнет — «все ограничивается пределами изящества или, коли угодно, тонкого вкуса». Евсевия дополняет Симбул в «Филодоксе»:

В любых обстоятельствах помни: ничего сверх меры; всего лучше середина; будь снисходителен к чужим нравам, на легкие изъяны смотри сквозь пальцы. Не упрямясь, не держись чересчур упорно за собственное мнение, но старайся приноровиться ко вкусам других людей; никого не оскорбляй, никому не перечь, со всеми будь обходителен.

Как осуществляется эта программа на практике, мы видим на примере Гликиона в «Разговоре стариков». После веселой студенческой юности в Париже он вернулся в родной город, женился — не по страсти, но по здравому размышлению и по доброму совету пожилого и многоопытного земляка, занял

общественную должность, не слишком высокую, но зато и не слишком хлопотную, и живет, окруженный общей любовью, не зная зависти и ненависти, «никого не браня, всем улыбаясь... ничьим намерениям не противореча, ничьих правил или поступков не осуждая, ни перед кем не чванясь, соглашаясь, что каждому всего краше свое». Он не терзает себя пустой печалью об утраченном безвозвратно. Он не согласен с людьми, «которые во всем отыскивают одни неудобства... Мне ближе и милее... выискивать повсюду что есть хорошего: так жизнь слаще... Я... так настроил душу, чтобы ничего слишком не домогаться, ни к чему не питать слишком горячей неприязни». Страх смерти не заботит его:

Я знаю, что смерти не миновать. Страх перед нею может, пожалуй, отнять несколько дней жизни, но прибавить, во всяком случае, ничего не может. Пусть уж об этом тревожатся боги; а я тревожусь лишь об одном — чтобы жить достойно и приятно. Ибо лишь тогда жизнь приятна, когда она достойна». Он не путешествует в поисках новых впечатлений: «Мне представляется более надежным объезжать мир по карте и, думается, что из сочинений историков я узнал и увидел даже и побольше, чем если б, следуя примеру Улисса, целых двадцать лет носился по всем морям и землям». Ученые занятия для него — первая услада в жизни. «Но я именно услаждаю, а не изнуряю себя занятиями. Впрочем, для удовольствия ли я занимаюсь или для житейской пользы, главное — что не напоказ.

Программа обывателя, филистера, мещанина? Да, отчасти. Но следует помнить, во-первых, на каком страшном историческом фоне она разворачивается, а во-вторых, — что это лишь поверхность, в глубине же скрыта жажда духовной свободы, духовного равновесия, неподвластности обстоятельствам, мужественной глухоты к истерическим требованиям текущей минуты. А

насколько она утопична, эта программа, показывает жизнь самого Эразма, полная тревог, трудов, борьбы и странствий.

Едва ли есть нужда в дальнейших доказательствах, что «Разговоры» действительно заслуживают называться «суммой», итогом. Только, в отличие от подлинных, средневековых «сумм», она, как все эразмианское, не скована строгими правилами, свободна, не знает педантической систематизации.

Можно, однако, говорить о суммарности «Разговоров» еще в одном смысле — автобиографическом или, точнее, житейском, ни одно произведение Эразма не создавалось так долго — около пятнадцати лет (это не принимая в счет раннего, парижского варианта «Формул»). В книге масса относящихся к этим годам злободневных подробностей, немало биографических сведений. Некоторые объяснены нами в примечаниях, некоторые и объяснений никаких не требуют (например, когда в «Рыбоедстве» заходит речь о заокеанских владениях, недавно приобретенных христианскими государями). Иногда можно лишь догадываться, кто спрятан за вымышленным именем какого-нибудь Пампира или Антрония, иногда это устанавливается совершенно бесспорно. Среди всего, что рождено злобою дня, привлекает внимание одна тема, наверное, самая важная для стареющего Эразма, — Реформация.

Эразм был Иоанном Предтечею Реформации. Он пролагал ей дорогу и критикой монашества, и своей концепцией светского благочестия и светского богословия, и постоянным противопоставлением древности и современности, и изданиями нового завета и Отцов Церкви. Поэтому, когда в 1517 году выступил впервые Мартин Лютер, многие — и среди друзей, и среди врагов — признали его за духовного сына Эразма, а враги вскорости пустили крылатое словцо: Эразм снес яйцо, Лютер его высидел. Сначала Эразм поддерживает Лютера полностью (впрочем, лишь частным образом, не публично), затем со все большею настороженностью присматривается к его действиям и прислушивается к высказываниям. Он видит, что Лютер непримирим и

нетерпим точно так же, как его противники, а борьба лютеран с папским Римом направлена не к обновлению Церкви, а к ее расколу. В справедливости борьбы Эразм не сомневается, но цель ужасает его.

Между тем положение самого Эразма становится все более трудным и двусмысленным. Он жил в Базеле, подле своего издателя Фробена, лучшего из типографов Германии и, пожалуй, всех стран к северу от Альп. Все написанное Эразмом незамедлительно «предавалось тиснению». Все сказанное им немедленно становилось достоянием гласности, потому что дом всегда был полон гостей, учеников и почитателей, чутко внимавших каждому слову учителя. И католики, и лютеране ждали от Эразма решительного и решающего выступления, а он все молчал или высказывался как можно более неопределенно. От старых своих позиций он не отрекался (и католические фанатики кричали, что это он повинен во всем происходящем), но и согласия с Лютером не декларировал (и лютеране клеймили его изменником).

Но он не был изменником. Диалоги 1522 и 1523 годов («Опрометчивый обет», «В поисках прихода», «Ненавистница брака», «Кораблекрушение», «Юноша и распутница» и др.) свидетельствуют, что он не поступился ни одним из всегдашних убеждений. В марте 1524 года вышел в свет диалог «Исследование веры». Впервые в «Разговорах» была открыто, «в лоб» поставлена тема лютеранского раскола, но поставлена ради примирения враждующих: Эразм хотел показать обеим сторонам, что между ними нет пропасти, что их расхождения непринципиальны, что в главном они сходятся друг с другом.

Впрочем, к этому времени он и сам уже не верил в возможность примирения. Спустя полгода появился первый антилютеровский трактат Эразма — «Беседа о свободе воли». Поверх специфически богословских проблем встала проблема философская: находится ли человек в рабском подчинении у высших сил (пусть даже добровольном, по глубочайшему убеждению, —

быть может, это еще опаснее), или свобода выбора принадлежит ему неотчуждаемо, и без нее поступок, поведение лишаются всякой моральной ценности? Лютер, пророк и апостол несвободы, понял, что удар направлен в самую сердцевину его учения, и отвечал со всей прямоотой, грубостью и яростью, которые были присущи ему, как мало кому другому. В рабстве — единственное счастье, единственный путь к вечному спасению, потому что человеческая воля подобна верховому коню, который ни при каких условиях не способен выбрать себе седока сам; только всевышний, в неисповедимой и непостижимой для человека мудрости, одного коня избирает, другого отвергает. Искомый предел веры в том, чтобы слепо и упорно верить в благодать и справедливость бога, который, по непонятным для нас мотивам, осуждает столь многих и столь немногих оправдывает. Разуму тут нет места вовсе: если бы усилием разума мы могли постигнуть эту величайшую из тайн, надобность в вере отпала бы раз и навсегда.

Между пророком и его предтечею разверзлась пропасть. Лютер разбил яйцо, которое снес Эразм. И когда в 1526 году, в «Рыбоедстве», Эразм снова повторяет, что источник раскола — пустые человеческие суждения, это звучит неискренне или, по меньшей мере, неправдоподобно.

Что Лютер и его сторонники прониклись ненавистью к бывшему учителю, не удивительно. Но не смягчились и палисты, и это тоже не должно вызывать удивления: отмежевавшись от Лютера и его «евангельского племени», Эразм не сделался снисходительнее к порокам господствующей церкви, которые обличали и лютеране — вслед за ним и вместе с ним; любой из диалогов, пополнивших «Разговоры» после 1524 года, это подтверждает. Парижские и лувенские богословы атаковали книгу с неиссякающей энергией, Сорбонна осудила ее как еретическую. Эразм был вынужден защищаться. К изданию 1526 года присоединено письмо к читателям под заглавием «О пользе

«Разговоров». Оно содержит очень любопытную характеристику всего сборника и отдельных его частей.

Эразм действительно, в нескольких местах, подчеркивает, что это книжка для детей и юношества. Если ему скажут, что не к лицу старику мальчишеские забавы, он возразит: ничего, что мальчишеские, были бы полезные, и ничего, что забавы, если они приманивают молодежь к добру — к усовершенствованию в латыни и в благочестии. Для такого усовершенствования нужно знать пустые мнения и глупые страсти толпы, и лучше познакомиться с ними из книги, чем на собственном горьком опыте. В шутиливой форме эта книга учит самым серьезным вещам.

Сократ свел философию с небес на землю; я иду дальше, вводя ее в игры и непринужденные застольные беседы». Его упрекают, что он преподносит несмышленишкам, младшеклассникам сложные богословские проблемы. Неверно! Нет ничего особенно сложного в том, что сообщается в «Разговорах» о постах, об исповеди, обетах и прочем подобном, а полное невежество в этих вопросах непозволительно и непростительно. Некоторые утверждают, будто «Разговоры» непристойны. Ложь! Нет, например, ничего чище и нравственнее «Поклонника и девицы». «Если бы все влюбленные были таковы, как они изображены у меня!.. А ныне чего только не разрешают и не уступают девицы своим поклонникам!.. и те самые люди, которые это чтение считают для детей вредным, позволяют им читать Плавта и фацетии Поджо! Отменно рассудили!

Обвинения в ереси Эразм отклоняет категорически. Но снова мы слышим: монашеская жизнь не может не тяготить, если она не украшена любовью к наукам; чистота мыслей и бесед мирян способна послужить образцом для многих клириков; далекие паломничества — не что иное, как праздные шатания любопытных и честолюбцев, может быть, это и свойственно человеческой природе, но благочестия тут нет ни капли; есть

люди, которые людьми же выдуманные обряды ставят выше божественных законов, есть и такие, что превращают эти законы в орудие наживы и тирании.

И так было до конца — до последнего диалога, замыкающего сборник, как, впрочем, и до последнего дня жизни.

Что «Разговоры» действительно составляют аналог «Похвале Глупости», читатель, знакомый с «Похвалою», имел возможность убедиться сам. Но тысячи мотивов и деталей связывают «Разговоры» и со всем прочим творчеством Эразма, с любой из его частей, и, в первую очередь, — с тем, что также вправе называться «суммой»: с «Адагиями» и необъятным эпистолярным наследием. Это читателю придется принять без доказательств. Зато мы попробуем показать и доказать преимущественно эразмианский характер «Разговоров» по сравнению с остальными тремя «суммами».

Нет литературной формы более адекватной мироощущению Эразма, чем диалог. Уже будучи знаменитым богословом, он признавался, что от природы испытывает особую склонность к «декламации», то есть к сочинению, построенному в виде увещательной или хвалебной речи, часто произносимой от имени какого-либо условного лица; к этому жанру сам Эразм причисляет «Похвалу Глупости», «Жалобу Мира», «Кинжал христианского воина», «Ответ епископа на поздравления народа» и многое иное, но среди прочего называет и диалог «Антиварвары», по-видимому усматривая в диалоге средство многоголосой разработки декламационной темы. Его любимым писателем был Лукиан. Переводами из Лукиана начинает он практическое использование вновь приобретенных познаний в греческом языке. Он восхищается разнообразием речевых характеристик в диалогах Лукиана и с успехом учится у него. Начав с неудачных и неумелых опытов (первый вариант «Антиварваров», начало 90-х годов XV века), он становится виртуозом диалога, истинным преемником Платона и Лукиана: как и у древних, Эразмов диалог с успехом вмещает широчайший диапазон тем и

сюжетов — от филологического трактата до ядовитой сатиры, от озорной болтовни и «репортерской» зарисовки до философско-богословского рассуждения.

Выше неоднократно говорилось об отвращении Эразма к жестким граням и устойчивым формулам. Эта неприязнь характерна и для литературных его вкусов. Он писал:

Мне всегда нравились стихи, не слишком далеко отстоящие от прозы, но только от лучшей прозы. Филоксен говорит, что среди рыб самые вкусные те, которые на самом деле не рыбы, а из мясных блюд самые лакомые те, что приготовлены не из мяса; самым приятным из морских путешествий он считает прибрежное плавание, из сухопутных — прогулку вдоль моря. Вот так же и мне особенно по душе риторическая поэзия и поэтическое ораторство, чтобы в прозе звучал стих, а в стихе — ораторский период.

Для подобной размытости формы нет лучше почвы, чем диалог.

Эразм обладает острым, наблюдательным взором журналиста и бытописателя. У него сильное и конкретное воображение, сочетающееся, однако, с нелюбовью к развернутым описаниям (быть может, отчетливо все видя сам, он предполагает ту же способность и у читателя). И этим качествам особенно хорошо дает раскрыться форма диалога.

Но вот что, пожалуй, всего важнее. Эразму чрезвычайно дорога незамкнутость, открытость, неоконченность в самом широком смысле слова: ему тяжело в Британии оттого, что она отовсюду окружена морем; он жалеет ангела, приставленного караулить рай, потому что тот навеки прикован к своему посту; ему горько ощущать, что работа закончена и ее уже не продолжишь, не улучшить, не исправишь. Сборник «Разговоров» всегда оставался открытым и незавершенным... и далее: всякое категорическое суждение — в силу всеобщей парадоксальности

бытия — несет в себе зародыш нелепости, одностороннего искажения истины; лишь в столкновении различных взглядов заключена необходимая поправка, спасающая от такого искажения, и лишь диалог позволяет столкнуть различные точки зрения, не произнося окончательного суждения самому. Защищаясь от вражеских нападков на «Разговоры», Эразм все время повторяет: мнения, высказываемые в диалогах, нельзя приписывать автору, они принадлежат действующим лицам и продиктованы развитием действия и обстоятельствами. Это не трусость, не попытка уклониться от ответственности, — это защита сознательно выбранной позиции. Для примера сошлемся на рассуждение о законах, повинении властям и правах народа в «Рыбоедстве» или на рассказ об исцелении помешанного с помощью щепки от бревна, которого однажды касались стопы Богородицы, в «Паломничестве». Никому не определить, с кем здесь автор — с рыбником или с мясником, с Менедемом или с Огигием.

И читатели, и исследователи всегда отмечали прелесть латинской речи Эразма и особенно — доверительность тона, создающую полную иллюзию дружеской беседы. Его называли волшебником, чародеем, сиреною, околдовывающею слушателей звуками своего голоса. И этой стороне дарования Эразма диалог тоже предоставляет наиболее благоприятные возможности для раскрытия.

Эразмианская манера — ее легкость и изящество, бесконечные шутки, насмешки, уколы, увертки, оговорки — бесила врагов, тяжеловесных фанатиков, не меньше, чем прямая ересь. И при жизни Эразма, и после его смерти «Разговоры» предавались проклятию как в лагере лютеран, так и у правоверных католиков. В 1559 году они прочно заняли место в папском «Списке запрещенных книг», А Лютер говорил: «На смертном одре я закажу своим сыновьям читать Эразмовы «Разговоры»! Он гораздо хуже Лукиана. Он издевается надо всем на свете, прячась под личиною благочестия». Но, несмотря на гонения, книга пользовалась ни с чем не сравнимую популярностью.

Одних только прижизненных ее изданий известно около сотни, а затем, в течение двух с половиной веков, она была в руках всех школьников Европы и заморских колоний, служа одновременно любимым развлекательным чтением для взрослых. И в начале нашего века в Англии «Разговоры» выходили в виде учебника, приспособленные для нужд современной школы.

Столь же значительным было и литературное влияние «Разговоров». Из них обильно черпали многие английские авторы елизаветинской эпохи, Рабле, Маргарита Наваррская, Сервантес, Клеман Маро, Монтень, Паскаль, Мольер, Стерн, Вальтер Скотт. Следы воздействия «Разговоров» ученые обнаруживают у самых различных по таланту и значению писателей — от Шекспира до Ростана.

В России первый перевод «Разговоров» был исполнен по распоряжению Петра I (который знал их во французском переложении). Книга называлась «Разговоры дружеские Дезидерия Ерасма». Имя переводчика (или переводчиков) в точности неизвестно, зато известно, что работа Петру не понравилась. Он заявил: «За скоростью времени или за неискусством переводчиков переведены Разговоры гораздо плохо». Следующий опыт принадлежал М. В. Ломоносову. Его «Риторика» («Краткое руководство к красноречию») включает, в качестве примера к главе IV («О расположении по разговору»), полный перевод диалога «Рассвет». Переводу предпослано следующее краткое вступление: «Разговор Дезидерия Еразма Ротеродама, называемый Утро, в котором он учит не терять времени напрасно». В наши дни примерно около трети сборника увидели свет под названием «Домашние беседы» (1939 г., перевод академика М. М. Покровского).

Настоящее издание также не представляет собою полного перевода «Разговоров запросто». По примеру всех переводивших эту книгу мы сочли целесообразным опустить то, что осталось в ней от первоначальных «формул», — наборы синонимических выражений на разные бытовые темы; по объему эти

купюры невелики. К ним принадлежит и третья часть «Хозяйских распоряжений», где нет ничего, кроме перечня предметов и действий, связанных с верховою ездою. Из числа же собственно «разговоров» опущены два: «Поэтическое застолье» и «Обман». Оба не могут быть поняты без оригинала, потому что построены на обыгрывании особенностей латинской метрики и просодии, которые средствами русского языка невоспроизводимы.

В заключение хотелось бы привести высказывание американского переводчика и исследователя Эразма, Крэйга Томпсона: «Большинство из нас оценивает литературу XVI века на новых языках много выше, чем латинскую; но возможно, что такое суждение продиктовано не столько безукоризненным вкусом, сколько незнанием и незаслуженным пренебрежением». Мы надеемся, что новый русский перевод «Разговоров» будет способствовать уточнению и исправлению привычных, но далеких от справедливости оценок.



Эразм Роттердамский. Портрет работы Альбрехта Дюрера, 1520 г.

ЗНАКОМСТВО С ЭРАЗМОМ ИЗ РОТТЕРДАМА¹

СОДЕРЖАНИЕ

ГЛАВА I. Вместо биографии.....99

ГЛАВА II. Наследие Эразма.....122

ГЛАВА III. Мир Эразма.....263

¹ Первое издание: М., Художественная литература, 1971.

Одно дело догадываться, другое — судить наверное,
одно дело верить собственным глазам, другое — чужим.

Эразм в письме Джону Колету (декабрь 1504 г.)

Глава I ВМЕСТО БИОГРАФИИ

«**З**накомство с Эразмом»? Позвольте, почему же «знакомство»? С Эразмом Роттердамским знакомы все, если и не очень подробно, то, во всяком случае, достаточно твердо. Это не какой-нибудь Фома Аквинский, о котором мы знаем только понаслышке. Мы читали «Похвалу Глупости», помним, что ее автор был великий ученый-гуманист эпохи Возрождения и блестящий знаток латинского и греческого языков, что он издал впервые греческий оригинал Нового завета со своим латинским переводом и комментариями, положив этим начало историческому объяснению Священного писания и подорвав доверие к традиционному и вполне антинаучному истолкованию источников христианского вероучения. Более того, нам известны и слабые стороны великого гуманиста. Он не принял Реформацию, хотя сам же ее и подготовил, его критика пороков феодального общества в целом и, в частности, пороков католической церкви всегда была половинчата, не имела революционного характера и не опиралась на ясный положительный социальный идеал. Так, вероятно, подумает не один читатель, увидев название этой книги, и будет отчасти прав.

Действительно, нет такого учебника истории средних веков или европейской литературы, который не отводил бы Эразму

особого раздела или хотя бы двух-трех абзацев. Действительно, «Похвала Глупости» издавалась много раз и весьма внушительными тиражами. А в 1966 году Всемирный Совет Мира постановил провести юбилей Эразма в связи с пятисотлетием со дня его рождения, и во всех газетах и журналах печатались статьи, утверждавшие читателя в уверенности, что Эразм — давний и добрый его знакомец.

И все же автор настаивает на том названии, которое он выбрал для своей книги.

Представим себе, для примера, что из всего написанного Иваном Сергеевичем Тургеневым мы читали лишь «Отцы и дети». Представим далее, что основные обстоятельства жизни Тургенева нам в основных чертах известны, — что мы слышали и об его антикрепостнических настроениях, и о либерально-непоследовательной его позиции в пореформенную эпоху, и о натянутых отношениях с Достоевским, и о критике тургеневских идей и тургеневского творчества со стороны самой левой и радикально настроенной части общества, и даже о личных привязанностях и огорчениях писателя. Могли бы мы в этом случае утверждать, что знакомы с Тургеневым — не читавши ни «Аси», ни «Вешних вод», ни «Рудина», ни «Дворянского гнезда», ни «Нови», ни даже «Записок охотника»? И чего бы стоили тогда наши рассуждения не только о взглядах Тургенева на крепостное право и пути развития России после 1861 года или о конфликте Тургенева с Достоевским или Салтыковым-Щедриным, но даже о читанных, и читанных с большим вниманием, «Отцах и детях»?

А ведь в случае с Эразмом мы оказываемся в положении еще более конфузном, и намного. Читатель согласится с этим, если сопоставит объем известных ему сведений о русском XIX веке и о рубеже XV–XVI веков в Западной Европе.

Теперь зададим себе вопрос, обязавшись ответить на него с полной искренностью и откровенностью. Если мы заинтересовались каким-нибудь писателем и решили с ним познакомиться, с чего должно начаться наше знакомство? С жизни писателя, с его друзей и врагов, истоков его творчества и влияния на последующие поколения или же с самого творчества, с книг, писем, высказываний, заметок? Облик полководца или путешественника складывается из того, что он совершил, из фактов его биографии; ими же определяется его значение для потомства. Но писатель — это, в первую очередь, то, что им создано; его биография привлекает наше внимание лишь постольку, поскольку оно уже привлечено творениями писателя. Мы можем дивиться «горестной жизни» Франсуа Вийона, или честолюбию Грибоедова, или служебной карьере Тютчева, мы можем восхищаться мужеством Хемингуэя или несокрушимостью рабочих привычек Томаса Манна, но все это приобретает свой подлинный смысл лишь в той мере, в какой соотносится с «Большим завещанием», «Горем от ума», «Silentium», «По ком звонит колокол», «Волшебной горой», в какой отвечает или противоречит единственной истинной биографии писателя — истории его творчества.

Но как раз творчество Эразма читателю и неизвестно. Обращаясь к любимому и надежному литературоведческому штампу, мы должны сказать честно, что это не вина читателя, а его беда. Но сложившегося положения наше честное признание не изменит: незнакомец останется незнакомцем. Ибо мы едва ли вправе называть иным именем того, чье наследие имеет почти астрономический объем — около полутора тысяч авторских листов, что приближается к объему наследия Льва Толстого, а мы из всех полутора тысяч знаем лишь около пяти листов. Да, потому что «Похвала Глупости» — это немногим более ста маленьких страничек, а все прочее — за семью замками латыни, отомкнуть которые нынешний читатель, увы, не в силах.

Правда, некоторые ученые успокаивают читателя: Эразм — автор одной книги, эта книга — «Похвала Глупости», остальное несравненно менее любопытно, а то и вовсе нелюбопытно. Ссылаясь на самого Эразма, ученые говорят, что он был по преимуществу богословом и филологом, но ни богословские трактаты, вроде «О чистоте скинии, то есть христианской церкви» («Изъяснение псалма XIV»), ни благочестивые наставления, вроде «О христианском браке», ни, тем более, такие сугубо специальные труды, как «Диалог о правильном произношении латинской и греческой речи», просто не способны привлечь интереса в наши дни.

Такого рода успокоительные слова вызывают сомнения и подозрения, как говорится, «с порога». Нельзя верить, чтобы «Похвала» была гениальным исключением, не имеющим не только ничего равного, но и ничего близко схожего. Эта априорная мысль легко подтверждается, если «шагнуть за порог»: ведь все ученые, не исключая и сторонников «теории одной книги», говорят об особом «духе Эразма» — насмешливом и язвительном духе сатиры, которым пронизаны разные его книги, чуть ли не все подряд. А если сделать еще один шаг от порога и просмотреть письмо Эразма к голландскому ученому Мартину ван Дорпу, датированное 1515 годом и посвященное защите «Глупости» от первых нападков критиков, — оно печатается в виде приложения ко многим оригинальным и переводным изданиям «Похвалы», — мы сразу же встретимся с такими в высшей степени примечательными словами: «В «Глупости» мы направлялись к той же самой цели, что и в прочих наших сочинениях, только путь был иной. В «Кинжале христианского воина» (одно из главных, если не самое главное богословское произведение Эразма. — С. М.) мы попросту изобразили уклад христианской жизни. В книжице «О воспитании государя» мы открыто внушаем, чему должен быть обучен государь. В «Панегирике», под предлогом похвалы, мы косвенным образом делаем то же, что в книжице о воспитании делалось открыто. Вот и в «Глупости»

речь идет не о чем ином, как и в «Кинжале», но только под покровом шутки. «Мы хотели вразумить, а не уязвить, помочь, а не обидеть, исправить человеческие нравы, а не привести их в расстройство». Если это так, — а нет никаких оснований сомневаться в искренности этих слов, — напрашиваются по меньшей мере два вывода: 1) верно определить значение «Глупости» можно лишь в контексте всего созданного Эразмом; 2) разбор Эразмовых кладовых и подвалов: сулит немало счастливых находок — несмотря на не слишком заманчивые по нынешним вкусам ярлыки с названиями, красующиеся на многих ящиках и сундуках. Если первый вывод важен, главным образом, для литературоведа, то второй многое сулит читателю, успевшему полюбить автора «Похвалы Глупости».

Итак, «Знакомство с Эразмом из Роттердама» и будет, прежде всего, экскурсией в эти кладовые и подвалы. Здесь можно было бы пуститься в уверения, что это вовсе и не подвалы, на самом деле, а светлые изящные и прекрасные дворцы. Но мы не станем торопиться с рекламой. Мы постараемся как можно больше и чаще предоставлять слово самому Эразму, чтобы читатель, в свою очередь, имел возможность судить и ценить сам. А затем попробуем собрать из деталей картину Эразмова мира — «образ мира, в слове явленный»², из этих писаний возникающий.

При этом нам придется пожертвовать традиционными составными элементами био-библиографического очерка — рассказом об исторических событиях, истоками мировоззрения, влиянием на современников и потомков, — не полностью, разумеется, но в значительной мере. Для первого знакомства, впрочем, это зло, пожалуй, неизбежное. Вдобавок, едва ли возможно, на наш взгляд, отрицать право на существование за

² Цитата из стихотворения «Август» Бориса Пастернака, из цикла к роману «Доктору Живаго», который нельзя было прочесть иначе чем в самиздате или в тамиздате в то время, и мало кто осмеливался цитировать. (Примечание Ж. Х.)

исследованиями, в которых автор изучается сугубо монографически, в прямом и узком смысле этого слова — не как звено в цепи традиции, но как определенная система взглядов и художественных приемов; за исследованиями, в которых главное внимание уделяется не тому, как сложилась и какую судьбу имела система, но тому, как она функционирует и как соотносятся одна с другою ее части.

Жертвуем мы и биографией в собственном смысле слова: эта тема — биографическая — очень требовательна и ревнива, она подчиняет себе все остальные, в том числе, и тему творчества — нашу главную и, пожалуй, единственную. Здесь мы лишь напомним основные даты и события из жизни Эразма. Повторяем, речь идет не о биографии, хотя бы и самой краткой, но скорее о некоем минимуме предварительных сведений, о некоем реальном комментарии, вынесенном в начало текста.

* * *

Эразм родился в ночь с 28 на 29 октября 1469 года³.

Он появился на свет в голландском городе Роттердаме. (Голландские земли входили тогда в состав герцогства Бургундского; Эразм родился в правление последнего герцога Бургундской династии, Карла Смелого). В ту пору фамилии у голландцев еще не существовали: люди звались либо по отчеству, либо по месту рождения. Так Эразм навсегда прославил Роттердам, хотя в мало-мальски сознательные годы никогда в этом городе не жил.

Имя «Эразм» — греческого происхождения; в русском переводе оно звучит как «любимый» или «желанный»; в латинском

³ Год рождения Эразма был и остается предметом ученых споров. Пятисотлетний юбилей Эразма отмечался в разных странах на протяжении четырех лет — с 1966 по 1969. Нам наиболее вероятной представляется дата, приведенная выше и принятая земляками великого гуманиста: 1969 год был объявлен в Голландии «годом Эразма».

— «desiderius». Позже, уже взрослым, Эразм присоединит латинский перевод к греческому оригиналу и станет известен всему миру как Дезидерий Эразм Роттердамский.

Он был незаконнорожденный, причем наихудшего разбора, по тогдашним понятиям, — ребенок, прижитый священником от связи со служанкою. Пятно незаконного происхождения наносило человеку тяжелый урон, как нравственный, так и вполне вещественный — препятствуя карьере, особенно духовной. Карьеры, правда, Эразм никогда не строил и церковных почестей не домогался, но многими чертами характера — застенчивостью, нерешительностью, крайней обидчивостью и ранимостью, постоянным недовольством собою — он, возможно, обязан как раз этому мучительному обстоятельству. Папа Юлий II в 1506 году особой грамотой (бreve) освободил Эразма от всех канонических ограничений, налагавшихся на него рождением вне брака. В 1517 году Лев X подтвердил это решение.

Четырех лет от роду мальчика отдали в школу в городе Гауда, а пять лет спустя мать отвезла Эразма и его старшего брата Питера в Девентер и поместила в школу при соборной церкви святого Лебуина. Школа пользовалась доброй известностью не только в Голландии, но и в соседних областях. Хотя впоследствии Эразм отзывался о ней весьма прохладно, вспоминая «варварские» (т. е. сугубо средневековые) учебники и методы обучения, здесь он впервые встретился с двумя решающими для всей его дальнейшей жизни духовными движениями — гуманизмом и так называемым «новым благочестием». В конце пребывания Эразма в Девентере ректором школы стал Александр из Гека (или Хеека) в Вестфалии (1433–1498), энтузиаст новой, гуманистической образованности. Он был другом и учеником прославленного Ролсфа Хойсманна, или, на ученый лад, Рудольфа Агриколы (1443–1485), преподававшего латинский и греческий языки в Гейдельбергском университете и слывшего «чудом Германии». Агрикола бывал в Девентере, и Эразму посчастливилось даже услышать его однажды.

Что же касается «нового благочестия», это было религиозное течение, возникшее во второй половине XIV века в Нидерландах и отличавшееся строго этической ориентацией и сугубо личным отношением к религии: все хитросплетения схоластического богословия ничего не стоят по сравнению с личным благочестием, а оно достижимо лишь через мистическое постижение духа Христова, через подражание земным поступкам и человеческим добродетелям Христа, изображенным в Святом писании. «Новое благочестие» было идеологией формально светских, но монашеских по существу «братств общей жизни», одной из главных сфер деятельности которых было воспитание детей. «Братья» основывали школы сами или же поступали учителями в школы при больших церквях, а главное — содержали приюты для школьников. Скорее всего, Эразм жил в одном из трех таких приютов, которые принадлежали «братьям» в Девентере. Очень многое в мироощущении Эразма — не только в богословских его принципах, но и шире, в философских взглядах, — легко и убедительно объясняется влиянием «нового благочестия».

В 1485 году в Девентере вспыхнула чума, частая гостья европейских городов, начиная с половины XIV века. Мать Эразма — она жила вместе с сыновьями в Девентере — умерла; оба юноши возвратились в Гауду, близ которой служил на приходе их отец. Вскоре скончался и он. Опекуны желали, чтобы Эразм и Питер поступили в монастырь. Сироты сопротивлялись этому плану, как могли, и в конце концов получили разрешение продолжить прерванные занятия в Хертогенбосе. Здесь им пришлось худо: хертогенбосская «общежительная братия» учила своих питомцев кое-как и все силы употребляла лишь на одно — убедить или принудить молодых людей принять монашеские обеты. Правда, Питер и Эразм продолжали упорствовать, но неизвестно, чем бы кончилась эта борьба, если бы чума не посетила и Хертогенбос. В 1487 году оба брата снова в Гауде. Теперь они более благосклонно прислушиваются к уговорам

опекунов насчет монастыря. Возможно, что они признали свою непригодность для жизни в миру: они бедны, слабы, ремесла никакого не знают, милостыню просить не хотят. Вдобавок монастырские стены — единственная надежная защита от бедствий войны, а в герцогстве Бургундском со смертью Карла Смелого (1477) и вступления на престол его дочери Марии, сочетавшейся браком с Максимилианом Габсбургом Австрийским, начались (или, точнее, возобновились) жестокие междоусобицы, осложнявшиеся непрерывным вмешательством Франции, которая претендовала на «бургундское наследство». Так или иначе, но в том же 1487 (или 1488) году Эразм сделался послушником обители Стейн, принадлежавшей к ордену августинских уставных каноников и расположенной примерно в полутора километрах от Гауды, и по истечении недолгого срока послушничества принял постриг.

Первое время в Стейне Эразм чувствовал себя покойно, а возможно, и счастливо. В обители была хорошая библиотека, он много читал, — и «языческих» классиков, и древних христианских писателей, — беседовал и переписывался с друзьями, сочинял стихи. Но довольно скоро ему становится тесно и душно в монастыре. Он умолкает, замыкается, думает лишь о том, как из опротивевшего монашеского мирка снова вырваться в мир, где не только опасности и губительные соблазны, но и знание, мудрость, наука. Случай вырваться представился в 1493 году. Генрих Бергенский, епископ соседней Камбрейской епархии, готовился к поездке в Рим и искал ученого секретаря, безусловно владеющего латынью. Разрешение на временную отлучку было получено и от настоятеля монастыря, и от генерала ордена, и от епископа Утрехтского, в чьей епархии находился Стейн.

Любопытно и, пожалуй, знаменательно, что выход Эразма из монастыря совпадает с прекращением гражданских смут в Нидерландах. В 1492 году Максимилиан сумел положить конец междоусобицам и восстановил власть центрального правительства, во главе которого был поставлен малолетний герцог

Филипп, сын Максимилиана и Марии Бургундской, наследовавший своей матери.

Служба у епископа продолжалась более года и сложилась совсем не так, как рассчитывал Эразм. Путешествие в Рим расстроилось, время проходило в бесконечных кочевьях с места на место, из одной епископской резиденции в другую, работы было очень много, досуга для ученых и поэтических трудов не оставалось вовсе. Летом 1495 года Эразм упросил епископа отпустить его в Париж, учиться богословию, и в сентябре был уже студентом богословского факультета Парижского университета.

Первая студенческая зима обернулась сплошной мукой. Эразм жил в коллегии (закрытом заведении монастырского типа) Монтегю, славившейся среди прочих парижских коллегий неслыханной суровостью режима и скудостью кормежки. К весне Эразм опасно заболел и уехал на родину с намерением больше в Париж не возвращаться. Но друзья убедили его не бросать начатого, и он вернулся.

До весны 1499 года оставался он парижским студентом, существуя не столько на мизерную стипендию Генриха Бергенского, сколько частными уроками. Все это время он искал добротных меценатов, которые захотели бы обессмертить свое имя покровительством будущему светилу богословия и словесности. Осенью 1498 года такой меценат, наконец, нашелся: Уильям Блаунт, четвертый лорд Маунтджой (ок. 1479–1534). В мае 1499 года Маунтджой увозит Эразма в Лондон.

Первый визит Эразма в Англию продолжался сравнительно недолго — немногим более полугода, но английские встречи оказались чрезвычайно важными для его дальнейшей судьбы, прежде всего — встречи с Томасом Мором и Джоном Колетом. (Здесь заметим, кстати, что универсальный ученый язык средневековья — латынь — начисто снимал языковые барьеры между людьми различных национальностей.)

Томас Мор (1477–1535), будущий автор «Утопии», будущая звезда британской юриспруденции, будущий лорд-канцлер, будущий борец против Реформации, будущий святой и мученик католической церкви, а в ту пору юный, начинающий адвокат, был, без всякого сомнения, самой замечательной личностью среди всех, кого Эразму удалось узнать за свою жизнь; а ведь в числе его знакомцев (хотя бы заочных) были и государи (вроде императора Карла V или французского короля Франциска I), и папы, и люди исключительной одаренности, исключительного мужества, исключительной чистоты души. Во многом Эразм и Мор были несхожи и словно бы дополняли друг друга, образуя вдвоем действительно «совершенного человека», «венец природы». Они не просто любили друг друга, гордились и восхищались друг другом — они были необходимы друг другу. И когда вскоре после казни Мора Эразм напишет: «С тех пор, как нет Мора, у меня такое чувство, словно и меня тоже больше нет», — это будет не способом выражения, а чистой правдой.

Джон Колет (1466–1519), будущий настоятель собора Святого Павла в Лондоне и основатель знаменитой школы при этом соборе, тогда преподавал богословие в Оксфорде. С Эразмом они были почти ровесники, но Колет уже успел прославить свое имя в кругу английских гуманистов, чья любовь к возрождавшейся античной учености была неотделима от глубочайшей заинтересованности в проблемах веры и церкви; впоследствии этот круг получил наименование «оксфордских реформаторов», и Колет был признанным его главою. Эразм относился к Колету с уважением почти благоговейным; особенное впечатление произвели на него лекции Колета о посланиях апостола Павла.

Как уже говорилось выше, интерес Эразма к религии, к ее внутреннему, в первую очередь, содержанию, к книгам Священного писания, как к источнику личного благочестия, возник в школьные и укрепился в первые монастырские годы. Затем он отступил на задний план перед гуманистическими интересами

филолога и литератора. Нельзя объяснить одними житейскими трудностями то странное обстоятельство, что, явившись в Париж изучать богословие, Эразм никаких заметных успехов в богословии не сделал, — это при его-то феноменальных способностях! — зато близко сошелся с кружком парижских гуманистов, печатал свои стихи, составлял для учебников различные пособия по латинской стилистике. В ученой среде его и заметили, и оценили, но трудно не согласиться с мнением одного американского исследователя, что к тридцати годам Эразм не создал еще почти ничего, а умри он около сорока, его едва ли помнили бы сегодня. Чтобы стать властителем дум предреформационной Европы, а потом более четырех столетий сохранять репутацию самого крупного или, по малой мере, образцового представителя ренессансного гуманизма, чтобы прийти живым в XX век, он должен был снова обратиться к богословию, к проблемам веры и благочестия. Возможно, это прозвучит парадоксально, но, не утвердись Эразм в богословии, останься он по преимуществу филологом и литератором, не было бы ни «Похвалы Глупости», ни иных произведений, которыми восхищается сегодняшней читатель, относя их к сфере художественной литературы.

Новое обращение к богословию, построение нового богословия на фундаменте твердых и глубоких филологических познаний, на изучении древнейших источников христианства, своего рода союз богословия с гуманистической наукой Ренессанса были первоначально следствием влияния Колета, Мора и других английских гуманистов, которых часто именуют «христианскими гуманистами». В не слишком густые ряды «христианских гуманистов» становится теперь и Эразм, чтобы со временем занять место в самой голове колонны.

Проведя лето в имениях Маунтджоя и его тестя, за отдыхом и развлечениями, осень в Оксфорде, в августинской коллегии Святой Девы Марии, за беседами с Колетом и его коллегами, а

декабрь и большую часть января в Лондоне, Эразм в начале февраля 1500 года снова в Париже.

На этот раз он прожил в Париже немногим более года (не считая трехмесячной отлучки в Орлеан, где он прятался от чумы). Свои рабочие часы он делит между гуманистической наукой и богословием. В июне 1500 года вышел «Сборник пословиц» — 818 поговорок, изречений и идиоматических выражений, извлеченных из античных авторов. Богословские занятия складываются из чтения святого Иеронима и изучения греческого языка — языка Нового завета и большинства отцов церкви. В апреле 1501 года он издает текст трактата Цицерона «Об обязанностях», а в мае снова покидает Париж, спасаясь от чумы.

Наведив родной монастырь и благодетеля, епископа Камбрейского (в Брюсселе), Эразм поселяется близ Кале живет то в замках у знатных покровителей, то в городке Сент-Омер, в аббатстве Святого Бертина, настоятелем которого был брат епископа Генриха, Антоний Бергенский. К этой поре относится работа над одним из самых известных богословских сочинений Эразма — «Кинжалом христианского воина».

Затем Эразм пытается вернуться в Париж, но неудачно (там снова чума). Осенью 1502 года он в Лувене. Приняли его отлично: Адриан Утрехтский, будущий папа Адриан VI, а тогда настоятель лувенского собора Святого Петра, предложил ему читать лекции в университете. Но Эразм отказался. Он продолжает свои занятия, получая довольно скудные вспоможения от городских властей, а также «гонорары» за эпитафии, похвальные речи и посвятительные предисловия. Зато уже к концу 1502 года он овладел греческим настолько, что мог сразу, без подготовки выразить любую свою мысль на этом языке. Пробовал он учить и еврейский, но бросил, едва начав.

В Лувене Эразм оставался до осени 1504 года. Следующие полгода он провел в Париже, выпустив к концу этого срока «Примечания к Новому завету» итальянского гуманиста

Лоренцо Баллы (1407–1457). Рукопись Баллы, найденная в старой библиотеке какого-то монастыря близ Лувена, по-видимому, внушила ему убеждение, что прежде всего необходимо восстановить истинный смысл главной книги христианства — Нового завета, — затемненный, а кое-где даже изуродованный традиционным латинским переводом. К 1505–1506 годам относится вторая поездка Эразма в Англию. Он встретился со старыми друзьями и приобрел новых — и ученых, и высокопоставленных. Среди последних был Уильям Уорхэм, архиепископ Кентерберийский, первая духовная особа Англии. Король Генрих VII обещал Эразму приход (что означало бы твердый и регулярный годовой доход), и Эразм надумал приобрести давно заслуженную им степень доктора богословия в Кэмбридже, как вдруг получил предложение сопровождать в Италию сыновей королевского лейб-медика Джованни Боэрио, который желал дать своим детям университетское образование у себя на родине. Эразм с юных лет мечтал об Италии, — как и прежде, она была источником и светочем знания для всей тогдашней Европы, — и, не раздумывая, согласился.

По пути он задержался на два месяца (июнь — июль 1506 г.) в Париже, готовя к изданию свои переводы двух трагедий Еврипида. В конце августа он прибыл в Турин и тут же, буквально проездом, получил докторскую степень. В Италии шла война: папа Юлий II с помощью французов «возвращал под власть святого престола» города, не желавшие этой власти подчиняться или успевшие о ней забыть. Папа осадил Болонью, и 11 ноября Эразм был свидетелем его триумфального вступления в покорившийся город.

Целый год Эразм оставался в Болонье, не столько присматривая за своими подопечными, сколько пополняя «Сборник пословиц» греческим материалом. В ноябре 1507 года он написал знаменитому венецианскому типографу Альду Мануцию (1449–1515), предлагая ему переиздать перевод из Еврипида, вышедший в Париже. Альд ответил, не мешкая, и пригласил

Эразма к себе. Он вызвался напечатать и пословицы, и через восемь месяцев труда, который, даже при самом глубоком отвращении к пышным словам, нельзя не назвать титаническим и героическим, родился сборник, в три раза больший прежнего. Теперь он назывался: «Три хиляды (тысячи. — С. М.) и примерно столько же сотен пословиц», или, сокращенно, «Хиляды пословиц».

21 апреля 1509 года умер Генрих VII Английский, и на престол взошел его сын, Генрих VIII. Воспитателем нового государя в годы его отрочества был лорд Маунтджой, который тут же вспомнил об Эразме и послал ему денег на дорогу с просьбой незамедлительно возвращаться в Лондон. По пути — в седле, в лодке, на постоянных дворах, на борту суденышка, плывшего из Антверпена в Дувр, — он задумал и, возможно, продумал в деталях «Похвалу Глупости». Написана она была всего за неделю в лондонском доме Мора, без единой книги (слуга с багажом отстал), все цитаты приводились на память.

Это был август 1509 года, но книгою рукопись стала лишь осенью 1511, в Париже. (Как прошли эти два года в Англии, никаких сведений не сохранилось.) В 1511–1514 годах Эразм живет преимущественно в Кембридже, преподает греческий язык, читает лекции по богословию, но главное его занятие — работа над письмами святого Иеронима и Новым заветом: он готовит к изданию тексты и пишет обширные комментарии. Не прекращаются и чисто филологические труды, в частности — исправление и пополнение сборника пословиц. В 1513 году он тяжело болел, и летом по всей Европе разнесся слух о его смерти. Он угнетен не только физически, но, еще более, нравственно, в основном — войною, в которую втягиваются все новые земли и народы. Французы в Италии уже не союзники папы, а его враги; Испания заключает союз с папою для совместной борьбы против Франции; к союзу присоединяется Англия; Франция ищет поддержку у Шотландии; вступает в борьбу император Максимилиан; весь север Италии превращается в

театр военных действий. Борьба была в разгаре, когда Юлий II скончался (февраль 1513 г.). Эразм был счастлив: он считал воинственного папу первопричиною всеобщей взаимной вражды, — и откликнулся на его смерть язвительнейшей сатирой «Юлий, не допущенный на небеса».

В начале июля 1514 года Эразм расстается с Англией. Теперь он знаменит, теперь не он ищет меценатов, а меценаты спорят из-за него. Но он держит путь не ко двору государя или вельможи, а в Базель, к печатнику Иоганну Фрюбену (1460–1527), который впредь будет монопольным его издателем. Дорогою, в замке Ам (невдалеке от Кале), где он был гостем лорда Маунтджоя, ему вручили письмо от приора (настоятеля) монастыря Стейн: августинскому канонику Эразму предлагалось возвратиться, наконец, в свою обитель после двадцатилетних странствий. Эразм отказывается вернуться, ссылаясь на свою негодность к монашеской жизни, но прежде всего на то, что исполняет великое и угодное богу дело возрождения богословия. Хотя вернуть его силой, как беглого, монастырские власти, по-видимому, не могли (Эразм успел обзавестись охранными грамотами от папской курии, даровавшими ему особые права и привилегии), ответ приору Стейна — важная веха в биографии Эразма: он бесповоротно порвал с прошлым, осознал свое назначение в жизни.

Следующие три года проходят в новых скитаниях: Базель, Лондон, Брюссель, Антверпен, Брюгге, Гент, Майнц... В эти годы вышел в свет важнейший богословский труд Эразма — освобожденный от ошибок греческий текст Нового завета с обширными комментариями и латинским переводом, традиционным, но несколько исправленным (лишь в 1519 году Эразм заменил его собственным переводом, сделанным еще в 1505–1506 годах и существенно отличным от традиционного). Почти одновременно с Новым заветом появилось девять томов сочинений святого Иеронима; Эразм подготовил к печати и обильно прокомментировал первые четыре (эпистографическое

наследие Иеронима). Он публикует «Воспитание христианского государя», посвящая его королю Карлу Испанскому (сыну герцога Филиппа Бургундского и будущему императору Карлу V) в благодарность за должность (вернее синекуру) королевского советника, которую он получил в 1515 году. А в декабре 1516 года его трудами и заботами появляется книжица под заглавием: «О наилучшем устройстве государства и о неведомом острове Утопия» — сочинение Томаса Мора.

В 1517–1521 годах Эразм жил преимущественно в Лувене. Первые два из них можно считать апогеем Эразмовой славы. Он самая яркая звезда и светской науки, и богословия. Ему нет покоя от посетителей. Он завален письмами и подношениями. Он и досадует на эту чрезмерную популярность, и видит в ней знамение грядущего золотого века — века мира, справедливости и великого расцвета наук и искусств. Но 31 октября 1517 года выступил со своими 95 тезисами против индульгенций Мартин Лютер. Началась Реформация. Консервативные богословы мигмом ощутили внутреннюю связь между «новым богословием» Эразма и «Лютеровой ересью». В поправках к тексту и традиционному толкованию священных книг, в стремлении вернуться вспять, к источникам христианства, к идеям и правилам древней церкви, они увидели посягательства на католическую веру в целом — и были, по-своему, правы. Военные действия открыли лувенцы. Среди новоявленных оппонентов были и добрые знакомцы Эразма, люди, которых он уважал и ценил. Тем более необъяснимой и неожиданной оказалась для него эта внезапная вражда. Он отбивался изо всех сил, писал одну «апологию» за другой, взывал к защите папы и императора. К богословам присоединились нищенствующие монахи-проповедники (доминиканцы и кармелиты). Эразма публично поносят в церквях. Его объявляют ересиархом — предтечею и прямым пособником Лютера. Теперь цель травли одна — заставить князя ученых и богословов выступить против Лютера и, тем самым, раздавить Лютера весом Эразмова авторитета. Но на это

Эразм не согласен. Он предпочитает бегство, и в конце 1521 года переселяется в Базель.

В Базеле ему жилось привольно и, пожалуй, даже счастливо, несмотря на все бури, бушевавшие вокруг: Реформацию, неуклонно подвигавшуюся вперед, Великую крестьянскую войну в Германии, войну в Италии. Здесь, укрытый от истощающей брани врагов, он хладнокровно и трезво определил свою позицию в борьбе, которой положило начало выступление Лютера.

На первых порах он сочувствовал Лютеру всецело и, хотя от публичной поддержки уклонялся, считая, что это лишь обострит раздор, частным образом всячески его оправдывал. Потом, еще в Лувене, он пытался примирить враждующих, призывал обе стороны ко взаимной сдержанности, одновременно убеждаясь все яснее, что путь Лютера — не его путь, что если они и были союзниками, то лишь временными. И уже в Базеле, не под чужим давлением, а по собственному почину, по внутренней потребности, он размежевался с Лютером до конца («О свободе воли», 1524). Но это не заставило его присоединиться к лагерю обскурантов и заядлых папистов. Свои убеждения он сохранил нетронутыми и продолжал высказывать их до конца жизни, подставляя себя под огонь обоих лагерей.

Базельский период длился до 1529 года, когда сторонники реформы взяли верх в Базеле. И снова, как когда-то в Лувене, Эразм вынужден бежать, только на сей раз он спасает свою независимость от победивших реформаторов, которые, среди прочего, поспешили объявить присутствие на своих воскресных богослужениях обязательным. 13 апреля 1529 года он отплывает вверх по Рейну; цель его путешествия — город Фрейбург, находящийся под властью австрийских государей.

Протекшее бурное десятилетие не следует представлять себе, однако, сплошь заполненным «апологиями», инвективами, изобличениями, оправданиями, ламентациями. Сведение счетов с многочисленными врагами, действительно, требовало немалого времени. Но при беспримерной плодовитости и

трудоспособности Эразма не терпели ущерба и главные его занятия. Он продолжает издавать и переводить отцов церкви и «языческих авторов», пишет богословские, нравоучительные, педагогические, учено-филологические и даже политические трактаты, составляет учебники. В эти годы создана большая часть «Разговоров запросто» — сборника, который если и не наравне с «Похвалою Глупости», то, во всяком случае, вместе с нею привлекает внимание широкого читателя и по сей день. К тем же годам относится и очень дорогая для ближайших к Эразму веков часть его наследия — парафразы (т. е. развернутые пересказы-истолкования) книг Нового завета.

Не следует также представлять себе, — в духе превосходной, но исторически неточной книги Стефана Цвейга «Триумф и трагедия Эразма из Роттердама», — будто это были годы постепенного отлива друзей, растущего одиночества, заброшенности. Нет, и в Базельский период, и позднее, до самого конца, Эразм оставался средоточием интеллектуальной жизни Европы. Бесчисленные друзья по-прежнему окружают его обожанием и заботами, нередко чрезмерными и потому тягостными. Не иссякает и поток писем — к Эразму и ответных, летящих во все концы Европы. Светские и духовные государи наперебой осыпали его милостями; папа Павел III предлагал ему кардинальскую мантию.

Во Фрейбурге ему жилось, пожалуй, еще спокойнее, чем в Базеле. Политические события почти не волнуют его больше — годы и болезни берут свое. Но ни старость, ни недуги не властны над неиссякаемой трудоспособностью этого человека — одна книга следует за другою: «О раннем и достойном воспитании детей» (1529), «Изъяснение псалма XXII», «Рассуждение насчет войны с турками», «О приличии детских нравов» (1530), «Истолкование Символа веры», «О возлюбленном согласии в Церкви» (1533), «О приготовлении к смерти» (1534), «Экклезиаст, или Евангельский проповедник» (1535). И это — не считая новых изданий античных авторов и отцов церкви,

переводов, «апологий», сборников своих писем, дополнений к «Разговорам».

В июне 1535 года Эразм приехал в Базель, чтобы лично наблюдать за печатанием «Евангельского проповедника», которого он писал много лет и сам оценивал очень высоко. Он рассчитывал вскоре вернуться обратно или, напротив, продолжить путь и навестить родные края — Голландию, Брабант, — но к концу лета решил остаться. Нет сомнения, что на него до крайности тяжело подействовала весть о казни Томаса Мора, клеветнически обвиненного в государственной измене и обезглавленного 6 июля 1535 года. По-видимому, он действительно ощутил, что жизнь кончена.

Он скончался в ночь на 12 июля 1536 года в доме Иеронима Фробена, сына и наследника Иоганна Фробена. 18 июля он был со всеми возможными почестями погребен в кафедральном соборе Базеля. Он был невысок ростом и хорошо сложен, с очень белой кожей, рыжеватыми волосами и голубыми глазами; лицо его всегда было весело и оживленно. Голос был слабый, зато артикуляция на редкость четкая. Здоровья он был скверного и остро реагировал на малейшие перемены в привычном климате или диете. Среди многих его болезней наиболее упорной были камни в почках и мочевом пузыре. Он очень трудно засыпал, и если его будили среди ночи, не мог уснуть до утра. Был очень зябок и живой огонь в очаге называл первым украшением дома; не переносил грязи, спертого воздуха и дурных запахов, особенно — запаха несвежей рыбы. Самым враждебным для себя временем года считал весну. Пост, хотя бы и непродолжительный, был для него мукою.

Эразм был натурой тонкой, нежной, легко ранимой, испытывающей настоятельную потребность в дружбе и согласии, ненавидевшей раздоры. Колет пишет ему: «Я всегда любил твою врожденную бесхитрость: сам пропадаешь от нужды, а просишь скорее за других, чем за себя». Он легко и быстро сходил с самыми разными людьми. И, вместе с тем, он

был обидчив, недоверчив, злопамятен, сварлив, и к старости эти качества развились до размеров почти маниакальных. Впрочем, одно не противоречит другому: он отличался повышенной чувствительностью, застенчивостью, щепетильностью, даже робостью, и на всякое чужое неодобрение — справедливое или безосновательное, серьезное или ничтожное, безразлично — отвечал неодолимым желанием оправдаться немедленно. Он объясняет: «У Эразма... всегда уши настороже, но не похвалы он ловит... а прислушивается к порицаниям. Похвалы... вызывают у меня не только радость, но и некоторое раздражение, — разве что они исходят от умов незаурядно ученых; а порицание, даже от невежды, либо укажет на то, что от тебя ускользнуло, либо побудит к защите того, что было высказано верно, и таким образом, либо углубит твои знания, либо, по крайней мере, сделает тебя более внимательным». И еще: «Не так остры шпоры у жажды славы, как у страха перед позором».

Он был постоянно недоволен собою, своею внешностью (лишь уступая настояниям друзей, соглашался он позировать художникам), своими писаниями. «...К своим бдениям и усилиям я отношусь не иначе, чем родители к детям, которые не в добрый час появились на свет: либо родились уродливыми и больными, либо как-то еще грозят родителям позором и даже гибелью». Можно было бы заподозрить его в самоуничижении, которое паче гордыни, когда он пишет: «Не думаю, чтобы плоды моих занятий намного пережили меня, а о бессмертии для них и мечтать не смею». Но и Беат Ренан после смерти учителя свидетельствует: «Насчет своих книг... он, умирая, не определил ничего: он полагал, что в будущем, что ни день, станут появляться писания все более изощренные, его же собственные легко и быстро забудутся».

С завистью говорил он о любимцах судьбы, которым во всем удача благодаря врожденному обаянию: себя он считал лишенным этого качества вполне. «Есть натуры слабые и робкие, всегда собою недовольные — даже в тех случаях, когда действуют

безукоризненно. Какие утешения им ни предложи, все равно на сердце у них тревога и неуверенность в себе». Он нуждался в постоянной поддержке, одобрении, похвале, и в молодости, часто их лишенный, плакал до изнеможения, испытывал отвращение к жизни. Он ненавидел самодовольство и самолюбленность, вслед за Платоном считая этот порок источником всех бед. Ненавидел и тупую бесчувственность, неспособную оценить услугу или дружеское участие, — она в его глазах хуже прямой неблагодарности.

Тяга к дружбе и общению соединялась в Эразме с тягою к одиночеству, к абсолютной независимости, несвязанности, свободе. Он не хочет оставаться в Англии, потому что в жизни на любом острове есть что-то принудительное, замкнутое, что-то от ссылки. Он беспрерывно кочует, оправдываясь примером не только апостолов или Иеронима, но и древних языческих философов. Ему приятно не вестать, куда он двинется завтра, отрадно сознание, что он волен повернуть туда, куда позовут попутные ветры. В упоминавшемся выше письме к приору монастыря Стейн он утверждает: «Всякому известно, что, согласись я провести хоть несколько месяцев при дворе короля (Англии. — С. М.), я получил бы любой приход, по своему выбору; но для меня всего дороже мой досуг и ученые труды». Досуг здесь следует понимать в античном смысле слова — как время, отданное умственным занятиям. В праздном досуге Эразм видел начало нравственной порчи и зорко следил, чтобы слуги и секретари не оставались без дела.

Он не выносил просить, не выносил быть должным, а если оказывался в долгу, спешил отплатить и, по возможности, с лихвою (речь идет, конечно, об одолжениях друзей и покровителей, с которыми он рассчитывался литературными подарками: — посвящениями). Он был мнителен и в прямом смысле слова — отчаянно боялся болезней, заразы. Бесстрашие в подобных делах, на его взгляд, — признак не мужества, но тупости.

Несмотря на слабое здоровье, он был всегда в трудах. Писал он поразительно быстро, без остановок, «единым духом», но почти никогда не перечитывал написанного, не делал никаких поправок: эта часть дела вызывала в нем такую скуку, которую он не мог пересилить.

Это описание Эразмовой природы, схематичное и неполное, заключим еще одною чертой: равнодушием к красотам природы вообще и к пейзажу в частности. И к городскому пейзажу он равнодушен: очень редко встретится у него не только что рассказ, но хотя бы упоминание о достопримечательности города, где он живет или побывал. Что это именно индивидуальная черта, а не примета времени (средневековая или ренессансная), видно из сопоставления Эразма с другими прозаиками эпохи Возрождения, хотя бы с зачинателем ренессансной прозы — Боккаччо.

Глава II НАСЛЕДИЕ ЭРАЗМА

Если бы нас спросили: кем был Эразм? какова его специальность, профессия? — мы обязаны были бы ответить без обиняков: Эразм был богословом. Так судил он сам, так должны судить и мы, невзирая на все прочие его качества — гуманиста, филолога, редактора, поэта, оратора и т. д.

Но тогда являются сразу же еще два вопроса. К чему нам сегодня богословие, какое бы то ни было, не исключая и Эразмова? И какие у нас основания вводить творчество Эразма в рамки истории литературы? Не принадлежит ли оно в целом, — за незначительными исключениями, — в лучшем случае истории философии, как, допустим, труды Фомы Аквинского, а в худшем — кладбищу безнадежно устарелых идей и трудов?

Прежде всего, необходимо понять, что чураться всякого богословия или пренебрежительно от него отмахиваться не только нелепо, но и вредно. Мы ничего не поймем ни в Средних веках, ни даже в Возрождении, пока не усвоим, что мировоззрение в эти эпохи не могло быть никаким иным, кроме религиозного, и что, стало быть, уяснить себе мировоззренческую основу тех или иных социальных слоев, движений или отдельных личностей можно лишь через их богословские взгляды. Утопийцам христианство неведомо, но разве допустимо на этом основании исследовать «Утопию», отвлекаясь от богословских (и шире — религиозных) убеждений великого английского гуманиста, тех самых убеждений, ради которых он позже сложил голову на плахе?

Что же касается Эразма, то лишь конкретный и последовательный обзор всего его наследия позволит уяснить, какова литературная ценность того или иного сочинения. К такому обзору мы и приступим.

Первое собрание сочинений Эразма вышло вскоре после его смерти (1540–1541) в девяти томах, у Иеронима Фробена и Николая Епископия в Базеле. Его редактором был друг и ученик Эразма Беат Бильд из Рейнау в Эльзасе, более известный под латинизированным именем Беата Ренана (1485–1547). Он следовал в основном тому плану и порядку, который был намечен Эразмом еще задолго до смерти. Этот порядок сохранен и во втором собрании, десятитомном, изданном полтора столетия спустя в Лейдене и недавно, в начале 60-х годов, переизданном фототипическим способом в Западной Германии. Таким образом, Лейденское собрание, редактором которого был швейцарский богослов Жан Леклерк (1657–1736), и поныне остается новейшим и самым полным собранием сочинений Эразма⁴. По старинному длинное его название звучит в переводе так: «Полное собрание сочинений Дезидерия Эразма Роттердамского, исправленное и расширенное, самым тщательным образом выверенное по лучшим изданиям, в особенности — последним прижизненным, разделенное на десять томов. В Лейдене, заботами и расходами Петра Вандера» (1703–1706). Громадные, в половинную долю листа, книги набраны в два столбца. (В каждом томе в среднем 1200 столбцов.)

Вопреки своему названию, Лейденское собрание — далеко не полное. Частично оно было дополнено сборником, изданным

⁴ В настоящее время международная редакционная комиссия ведет работу над новым собранием сочинений Эразма; выход в свет первого тома был приурочен к торжественному заседанию в Роттердаме, посвященному 500-летию Эразма (октябрь 1969 г.).

Уоллесом К. Фергюсоном в Гааге в 1933 году⁵, и очень существенно — новейшим собранием писем, о котором будет сказано далее. Но до сих пор не собраны схолии (примечания) Эразма к древним авторам, христианским и языческим, среди которых главное место принадлежит святому Иерониму. Схолии к Иерониму не только весьма пространны, но и по сути, и по литературным качествам сопоставимы с примечаниями к Новому завету. Вместе с этими последними мы их и рассмотрим в дальнейшем.

Наконец, никакое собрание сочинений не может учесть и отразить огромной издательской работы Эразма. Из древних церковных писателей он издавал (в хронологическом порядке, между 1516 и 1531 годами): святого Иеронима, святого Иоанна Златоуста, святого Илария, святого Иринея, святого Амвросия, Лактанция, святого Августина, святого Василия Великого. Обязанности его не ограничивались составлением общего плана издания и предисловием. Он выступал в роли текстолога, сличая многочисленные рукописи и отыскивая подлинное чтение под многовековыми наслоениями ошибок переписчиков. А если еще принять в расчет, что тексты эти издавались впервые и опираться на опыт предшественников Эразм не мог, тем большее уважение и изумление вызывает гора старинных томов, едва умещающаяся на библиотечном столе.

Издания же античных авторов ни на каком столе не уместить. Вот их список. Греческие (в оригинале или латинском переводе): Эзоп, Аристотель, Демосфен, Еврипид, Гален, Исократ, Иосиф Флавий, Либаний, Лукиан, Плутарх, Птолемей, Ксенофонт. Латинские: Авсоний, Цицерон, Квинт Курций, Гораций, Ливии, Овидий, Персии, Плавт, Плиний Старший, Сенека, Светоний, Публилий Сир, Теренций, «История Августов».

⁵ *Erasmii Opuscula. A Supplement to the Opera Omnia.* / Edited with Introductions and Notes by Ferguson W. K., Ph. D. The Hague, Martinus Nijhoff, 1933.

Случалось ему издавать и писателей средневековых (например, Ожье Льежского, XII век) и гуманистов (например, уже упоминавшегося ранее Лоренцо Баллу)⁶.

Чтобы приступить к осмотру этой исполинской коллекции, возьмем в экскурсоводы самого Эразма: последуем тому порядку, в котором располагал свои труды он сам. Иными словами — пойдем от тома к тому Лейденского издания.

Том I, по замыслу Эразма, объединяет всё, относящееся к обучению словесности, то есть филологические сочинения и собственно учебники. Учебником латинской стилистики с элементами риторики он и открывается. Название учебника — «О двойном избытии — слов и предметов» (издано в 1512 г.). Оно, как объясняет автор, обусловлено терминологией и взглядами

Квинтилиана (римского теоретика красноречия), который различал речь простую и обильную, иначе говоря — украшенную, а среди элементов, украшающих речь, различал обилие словесное и предметное. Первое состоит в синонимах, метафорах, аллегориях, перифразах и т. д. Второе — в сравнениях, противопоставлениях, примерах и т. д. Впрочем, оба скрещиваются, переплетаются, и во многих случаях отличить одно от другого невозможно. Но в дидактических целях Эразм старается их разделить и каждому отводит особый раздел (книгу) учебника.

Первая книга делится на 206 неравных по величине главок. Во вступлении (начало которого мы только что пересказали) определена цель работы — помочь тем, кто стремится достигнуть избытия, но не знает, как это сделать, а равно и тем, кто владеет приемами избытия, но не умеет пользоваться ими с

⁶ Для полноты представления об объеме эразмовского творчества заметим, что не все, созданное им, сохранилось. Сам Эразм в 1523 году писал: «Погибло очень многое, чего я и не желал бы видеть сохранившимся. Но мне жаль, что не сохранилось несколько проповедей, которые я произнес когда-то в Париже, во время учения в коллегии Монтегю».

толком и к месту. Эразм сообщает, что собрал из руководства по риторике, из лучших авторов и из собственной практики относящиеся к теме «правила, примеры и многочисленные формулы». Полностью исчерпать тему он, однако, не рассчитывает: его сочинение — всего лишь заготовка, или сырой материал для будущих трудов.

Затем приведены примеры изобилия (целесообразного и вредного), указаны упражнения, которыми оно приобретает (в частности — переложение поэтических произведений прозою), и разновидности словесного обилия. Значительная часть первой книги занята «формулами», то есть, говоря более современно, различными фразеологическими сочетаниями, сгруппированными по общему смыслу: как выразить наличие или отсутствие каких-либо качеств, перифразы для сравнительной и превосходной степени сравнения, формулы отрицания и т. п.

Вторая книга на главы не разделена. Сперва описываются одиннадцать способов распространения (развертывания) мысли: отступления, скопления доводов, перечисление обстоятельств дела и т. п. Рассматриваются различные виды примеров, образов, сентенций, притч и т. д. Даются советы, как собирать примеры, читая авторов, как развертывать отдельные части ораторской речи.

В эпилоге Эразм призывает к умеренности и здравомыслию, как в украшениях речи, так и в лаконизме.

Но среди сухих перечислений и правил встречаются пассажи, которые по всей справедливости можно назвать публицистическими вкраплениями; если же оставаться в пределах терминологии того времени, это «душеполезные» наставления или рассуждения мимоходом, поскольку нет предмета настолько сухого и отвлеченного, чтобы он не мог служить поводом для наставительной беседы.

Что для нашего тела одежда, то для мыслей речь. И точно так же, как платье либо сообщает телу красоту и величие, либо безобразит его, так и слова либо уродуют, либо украшают мысль. Стало быть, очень заблуждаются те, кто полагает, будто совершенно неважно, какими словами выражен предмет речи — было бы только понятно. И различные способы выражения ничем по сути не отличаются от перемен платья. Ведь первая наша забота — чтобы одежда была опрятной, хорошо скроенной и сидела ловко. Разве это похвально, чтобы нечистое платье марало и чернило природное изящество? И разве не смешно, если бы мужчина вышел на люди в женской одежде? Разве вообще не гадко глядеть на человека, одетого вопреки обычаю и приличью? Вот почему, если кто охотится за избытком, не приобретя сперва чистоты латинской речи, тот, на мой взгляд, поступает не менее смешотворно, нежели бедняк, который, не имея ни одного мало-мальски пристойного платья, все время меняет свой наряд и выходит на площадь то в одних, то в других лохмотьях, тщеславно выставляя напоказ нищету вместо богатства. Чем чаще он так поступает, тем большим глядит безумцем, не правда ли? По-моему, истинная правда. Но ничуть не менее нелепо поступают те охотники за избытком, которые и один-то раз не способны аккуратно выразить свою мысль, и за всем тем, словно бы стыдясь показаться недостаточно косноязычными, усугубляют свое косноязычие все новыми и новыми способами; они точно вступают в состязание с собою, чтобы высказаться самым варварским образом из всех возможных.

Значит, окончательно сбросить «Двойное избытие» с литературных счетов, отдав его историкам филологии, мы не вправе.

Нельзя упускать из виду и того обстоятельства, что словесное избытие — уже не в терминологическом смысле — общая черта литературы Возрождения; вспомним хотя бы Рабле с его неисчерпаемыми запасами слов и синонимических вариаций. Вот и предшественник Рабле, Эразм, играет здесь со словом, резвится, шалит, гордый своим господством над ним, своим

умением придумать любое число вариантов. Так, синонимические замены для глагола «радовать» («Твое письмо очень меня порадовало») занимают почти 2,5 столбца!

Еще любопытнее другой учебник — «Как писать письма» (ранняя редакция — 1498 г., окончательная редакция — 1522 г.). Эразм рассматривает различные стилистические ключи, в которых может быть составлено письмо в зависимости от содержания, автора и адресата, советует упражняться в писании писем на сюжеты вымышленные и заимствованные у древних авторов и из Святого писания. Далее разбирается композиция и составные части письма, виды писем (с обильными примерами, формулами и т. д.) и особо — те из них, которые теоретиками обычно не учитываются: деловое сообщение, поручение, похвала, благодарность, жалоба другу, поздравление и др. Книга делится на 74 главы.

Эразм был настоящим виртуозом эпистолографии; письмо — один из самых важных литературных жанров в его наследии. Нам представится случай сказать об этом подробнее, когда мы дойдем до тома писем. Пока же заметим, что среди образцов, которые приводит Эразм, много его собственных писем, отчасти подлинных, отчасти нарочито придуманных, но в любом случае талантливых, блестящих. Кроме того, изучая письма Эразма как явление литературы, очень важно знать общие, теоретические воззрения автора на эпистолярный жанр.

Но письмовник Эразма любопытен и в ином отношении — сам по себе, как пример эразмианской манеры, оживляющей любую, даже самую сухую материю. Послушаем, как просто и доверительно, каким дружеским, личным, домашним тоном говорит Эразм с читателем, неприметно, неназойливо убеждая его и вводя в суть дела:

Не станем оставлять в приятном заблуждении еще одну разновидность людей, которых я сам встречал не в малом количестве; они верят, будто способность писать правильно дается тремя коротенькими наставлениями,

точно тремя волшебными словами. Как жаль, что в свое время я поддался их глупости! Дело в том, что человек, в угоду которому я двадцать пять лет назад впервые набросал это сочинение, — не столько по доброй воле, сколько по всегдашней своей уступчивости, не желая отвечать на просьбу отказом, — был как раз из их числа; вскоре я убедился, что он и ученик неблагодарный, и вероломный друг. Проведя лучшую и большую часть жизни при дворах государей, обремененный прибыльными духовными должностями, он поздно поумнел и задумался о науках, которые в спутницах у набитого кошелька не ходят. Впрочем, людей такого рода я знал многих: прямо от нечистых хлопот, от самого грязного из дел — от стяжания денег, они бросаются к наукам... и настойчиво выведывают у нас, как писать правильно, по каким законам, причем законов требуют таких кратких, чтобы уместились на двух-трех страничках, и таких действенных, чтобы за неполный месяц превратили бессловесную тварь в красноречивого оратора. Им все подавай в самом сжатом виде, потому что они и ленивы до крайности... и значительную долю своего века уже издержали на всякую ерунду, и, наконец, потому, что спешат вернуться к грязным своим занятиям, а науки желают прихватить с собою как бы мимоходом. Если бы мне захотелось посмеяться, я предложил бы им испить из ключа Муз и погрузиться в сон на Парнасе — тогда из ослов они сразу станут соловьями.

Есть в первом томе и такие сочинения, которые представляют интерес исключительно как учебные пособия. Это, прежде всего, «Параболы, или Сравнения, выбранные из некоторых лучших авторов» (1515). «Лучшие авторы» — Плутарх, Сенека, Лукиан, Ксенофонт, Демосфен, Аристотель, Плиний, Теофраст. Приведем для примера одну параболу: «Плющ своими объятиями губит деревья — так благосклонность судьбы души и губит, лаская». Вся книга — набор подобных сравнений без какого бы то ни было авторского комментария. Далее следует назвать «Книжицу о соединении восьми частей речи» — латинский

синтаксис, написанный Уильямом Лили, старшим учителем школы при соборе Святого Павла в Лондоне, и, по просьбе Колета, исправленный и во многом переделанный наново Эразмом, а также сокращенную обработку латинской стилистики Лоренцо Баллы (вышла в свет в 1531 г., но составлена в молодости, может быть, даже в ранней юности, до монастыря). Сюда же относится перевод греческой грамматики Феодора Газы (1516).

Здесь мы впервые встречаемся с переводами с греческого на латынь, которые занимают немалое место в наследии Эразма. Эразм-переводчик, — это особая проблема, которой мы касаться не будем. Назовем лишь переводы, помещенные в первом томе: первая проба пера в переводах с греческого — декламация Либания «Речь Менелая перед собранием троянцев» (переведено в 1503, впервые напечатано в 1519 г.), некоторые диалоги Лукиана (первая публикация — 1506 г., дополненное издание — 1516 г.), трагедии Еврипида «Ифигения в Авлиде» и «Гекуба» (1506), три небольших сочинения Галена — «Призыв к изучению свободных искусств» (так в древности именовались науки, приличествующие свободному человеку), «О лучшем роде красноречия» и «О том, что врач непременно должен быть и философом» (1526).

Самое значительное в первом томе — это, вне всякого сомнения, диалоги: «Диалог о правильном произношении латинской и греческой речи», «Цицеронианец», «Разговоры за просто».

Если письмо — важнейший из литературных жанров у Эразма, то диалог — самый любимый, наиболее адекватный характеру и мироощущению автора. Он много переводил Лукиана, восхищался разнообразием речевых характеристик в его диалогах и с успехом у него учился. Если Лукиан учил его искусству диалога сатирического, то поэтические, философские, публицистические возможности, заложенные в этой форме, открывались ему при чтении Платона. Наконец, он учился и на

собственных ошибках. Еще в 1494 году, на службе у епископа Камбрейского, он написал (а возможно, завершил начатый в монастыре) диалог «Антиварвары», в котором защищал античную литературу от нападков новых варваров, утверждающих, будто вся она — сплошное нечестие. Сразу же по приезде в Париж он отдал этот первый свой опыт главе кружка парижских гуманистов Роберу Гагэну (ок. 1425–1501). Тот очень хвалил идею сочинения, но ругал неуклюжесть формы, главным образом — непомерно длинные речи персонажей.

Инстинктивная тяга Эразма к независимости, несвязанности, дополнялась вполне осознанным отвращением к строгой определенности, четким границам, решительным и категорическим суждениям: всякое категорическое суждение несет в себе зародыш нелепости, одностороннего искажения истины, и лишь в столкновении различных взглядов заключена необходимая поправка, спасающая от такого искажения. Диалогическая форма создает идеальные условия для «сценической иллюзии», маскирующей авторскую позицию, оставляющей проблему открытой, нерешенной. Эразм неоднократно указывал на это обстоятельство своим критикам и хулителям, и не потому, что боялся защищать свои взгляды, но действительно не соглашаясь полностью почти ни с одним из собственных героев, которые, однажды выйдя на сцену, обретают собственную жизнь, так что многие их суждения оказываются продиктованными внутренней логикой образа и развитием действия.

Прежде всего надо было поглядеть (отвечает он лувенским богословам, усмотревшим в одном из «Разговоров запросто» высказывания, припахивающие ересью — С. М.) что это за лицо, которому я поручаю вести речь в диалоге. Ведь не богослова я там изображаю, проповедующего с кафедры, а добрых малых, болтающих между собою. Если найдется человек настолько несправедливый, что откажется принимать в рассуждение качества действующего лица, он на тех же основаниях должен

поставить мне в вину... слова одного солдата, который среди прочего иного, высказанного совершенно по-солдатски, говорит, что хочет исповедаться, но священника ищет самого что ни есть безмозглого... А если бы я вывел в диалоге турка, неужели все, что он говорит, сочли бы должным приписать мне?

Мы отлично знаем, что Эразм относился весьма скептически к реликвиям, и, однако, кто скажет с уверенностью, на чьей стороне автор в таком, например, отрывке («Разговоры запросто», диалог «Паломничество»):

Менедем. А ты еще не испытывал, какая сила в твоей частице древа? (Речь идет о щепке от бревна, которого якобы касались стопы богородицы. — С. М.)

Огигий. Испытывал. Три дня назад на постоялом дворе повстречал я буйно помешанного; ему уже готовили цепи, и тут мы, втайне от него, подсунули ему под изголовье мою щепку. Он уснул глубоким и долгим сном и наутро поднялся в здравом уме.

Менедем. Не помешательство это было, а верней всего похмелье. От такого недуга сон всегда хорошо помогает.

Огигий. Если ты расположен шутить, Менедем, поищи, будь добр, иного предмета для своих шуток. Смеяться над святыми и нечестиво, и небезопасно. А тот человек сам говорил, что во сне ему явилась несказанной красоты жена и протянула чашу.

Менедем. С чемерицею⁷, я полагаю.

Огигий. Этого я не знаю. А вот что разум к нему вернулся, знаю наверное.

Подчеркнутая отстраненность, невмешательство автора создают особо благоприятные условия для того, что древние ораторы называли «этопейей», то есть для четкого и резкого

⁷ Трава чемерица применялась в древности как средство против душевных болезней.

обнаружения характера через слово. И правда, у Эразма нет (или почти нет) безликих и бесцветных фигур-рупоров, почти никогда диалог не теряет формальной своей ценности.

Весьма замечательно и в высшей степени характерно для Эразма следующее высказывание:

Некоторые и слышать не хотят о поэзии, если не созовешь отовсюду — с неба, из моря, из-под земли — всех богов, если не втиснешь в стихи тысячи старинных басен (т. е. мифов. — С. М.). А мне всегда нравились стихотворения, не слишком далеко отстоящие от прозы, но только от лучшей прозы. Филоксен⁸ говорит, что среди рыб самые вкусные те, которые на самом деле не рыбы, а из мясных блюд самые лакомые те, что приготовлены не из мяса; самым приятным из морских путешествий он считает прибрежное плавание, из сухопутных — прогулку вдоль моря. Вот так же и мне особенно по душе риторическая поэзия и поэтическое ораторство, чтобы в прозе звучал стих, а в стихе — ораторский период⁹.

Для подобной размытости формы нет лучше почвы, чем диалог.

Эразм обладает острым, наблюдательным взором очеркиста и бытописателя. У него сильное и конкретное воображение, сочетающееся, как уже говорилось выше, с нелюбовью к развернутым описаниям. И этим качествам особенно благоприятствует форма диалога.

Первым диалогом Эразма, созданным уже рукою мастера, а не ученика, был «Юлий, не допущенный на небеса». В Лейденское собрание он не вошел, потому что Эразм тщательно скрывал свое авторство и всячески отказывался от «Юлия», хотя

⁸ Автор гастрономической поэмы «Обед»; время жизни неизвестно. Эразм прочитал о нем у Плутарха.

⁹ Письмо к Андреа Аммонии, 21/ХП 1513 г.

друзья и поклонники не сомневались, что «Глупость» и «Юлий» написаны одним пером. Твердо доказать принадлежность этого диалога Эразму удалось лишь крупнейшему в нашем веке знатоку и исследователю эразмовского творчества Перси-Стаффорд Аллену, и тогда он появился в названном выше гаагском дополнении к Лейденскому собранию. К обучению словесности «Юлий» ни малейшего отношения не имеет, но, несколько отступая от принятого нами плана, мы рассмотрим его здесь, вместе с диалогами первого Лейденского тома.

Диалог, как всегда у Эразма, начинается прямо с реплики, без какой-либо авторской ремарки: «Это еще что такое? Двери не открываются? Не иначе, как переменили засов, или, может, он испортился». Это папа изумлен, что его ключ от неба, которым он владел при жизни, не может отворить райских врат. Вскоре мы узнаём, что папа явился к вратам рая не один, а в сопровождении своего гения (по языческой моде!) и громадной толпы свиты. Апостол Петр, который, конечно, никого из них не выпускает, дает отличное описание и этой толпы, и самого Юлия:

Ты привел с собою чуть не двадцать тысяч, и в такой толпе я не замечаю ни единого христианского лица! Какой гнусный сброд, и сколько потаскух, и от всех разит либо вином, либо порохом! По-моему, это наемные убийцы, или нет — вернее, духи ада вырвались из-под земли, чтобы потрясти войною небо. А в тебе самом, чем больше на тебя гляжу, тем меньше вижу хотя бы след от мужа апостольского. Во-первых, что это за диво — ты носишь наряд верховного священника, а под ним гремит окровавленное оружие? И потом — какой суровый взгляд, упрямый рот, грозный лоб, какие гордые и надменные брови! Стыдно сказать и противно глядеть, но весь ты, с головы до пят, измаран знаками чудовищной и мерзкой похоти. Умолчу уж о том, что ты непрерывно рыгаешь хмельным духом. Мне кажется, ты недавно блевал. Такое у тебя обличие, что скорее всего не от старости и не от болезней ты одрябнул, выцвел и надломился, а от пьянства!

Юлий требует, чтобы Петр немедленно ему отворил, и грозитя отлучить апостола от церкви.

Петр. Ты грозишь мне перуном отлучения? По какому же праву, скажи, пожалуйста?

Юлий. Как по какому? Да ведь ты уже в заштате, точь-в-точь как любой священник без должности и без прихода! Нет, что я говорю — ты вообще не священник, потому что не можешь служить.

Петр. Наверно, из-за того, что я мертвый?

Юлий. Конечно.

Петр. Но тогда у тебя нет передо мной никаких преимуществ: ты больше, чем мертв!

Юлий. Ничего похожего! Пока кардиналы спорят, кого поставить новым папою, мое правление продолжается!

Затем Юлий представляется небесному ключарю полным своим титулом и, подстегиваемый вопросами Петра, подробно объясняет все свои достоинства, начиная с того, что он лигуриец, а не еврей, как Петр. Далее следует описание бранных подвигов папы-воина — покорение Болоньи, Венеции, Феррары. Далее — рассказ о неудавшейся попытке нескольких кардиналов свалить Юлия, созвав собор. Впрочем, Юлий убежден, что практически никакой собор не властен лишить папу его сана, если сам папа того не пожелает, — пусть даже папа изобличен в каком угодно преступлении. Тут уже изумляется Петр.

Петр. Даже в убийстве?

Юлий. Даже в отцеубийстве.

Петр. Даже в разврате?

Юлий. Вот еще, — даже в кровосмесительстве!

Петр. Даже в симонии?

Юлий. Хоть тысячу раз!

Петр. Даже в колдовстве?

Юлий. Даже в святотатстве.

Петр. Даже в кощунстве?
Юлий. Конечно!

Юлий излагает Петру все детали интриги вокруг собора — какие шаги предпринимали мятежные кардиналы, как хитро действовал он сам и его сторонники. К сожалению, расправиться с врагами окончательно он не успел — помешала смерть, и теперь перспективы неясны. Петр спрашивает его о внешних делах. С величайшим презрением и цинизмом Юлий говорит о «варварах», то есть всех неитальянцах. «Варварских» государей (а впрочем, и итальянских тоже) можно и нужно держать в руках, стравливая их друг с другом, Юлию это прекрасно удавалось. Но ведь пожар войны может в конце концов поглотить весь мир? «Ну, и пусть поглощает, лишь бы Римский престол сохранил свое влияние и свои владения. Впрочем, я старался все бремя войны переложить с итальянцев на варваров: пусть сражаются, сколько влезет, а мы поглядим, а может, еще и воспользуемся плодами их безумия».

Юлию надоели пустые разговоры, и он снова принимается грозить Петру. Петр снова объясняет ему, что он недостойн неба, потому что показал всему миру, каким не должен быть папа. Снова удивляется Юлий: да ведь он украшал и возвышал церковь Христову именно теми украшениями и тою славой, какие единственно подобают торжествующей Церкви. А Петр просто-напросто отстал от жизни, его взгляды безнадежно устарели: ведь и Церковь и папа теперь не те, что полтора тысячелетия назад. Но Петр не уступает, и Юлий взрывается:

Ты говоришь так потому, что завидуешь нашей славе, видя, каким жалким и убогим было твое правление по сравнению с нашим!

Петр. Наглец, ты смеешь сравнивать твою славу с моей? А ведь моя слава — это слава Христа, не моя! Станешь ли ты со мною спорить, что Христос — лучший и истинный глава Церкви? Так вот, он сам, сам Христос,

отдал мне ключи царства, сам поручил пасти его овец, сам похвалил и одобрил мою веру. А тебя сделали папою деньги, хлопоты смертных, коварство и ложь, — ежели только вообще должно именовать тебя папою.

Я столько тысяч душ стяжал для Христа, ты столько тысяч погубил! Я первый научил имени Христову Рим, дотоле языческий, ты сделался наставником язычества для христианского Рима. Я тенью своею исцелял больных, избавлял от злого духа одержимых, возвращал к жизни умерших и, где бы ни появлялся, все наполнял благодеяниями. Было ли что подобное в твоих триумфах? Единым словом своим я мог кого угодно предать во власть Сатаны, но все свое могущество всегда употреблял лишь на общую пользу. А ты — для всех бесполезный! — делал все, что мог, для всеобщей гибели!

Юлий слегка растерян. Христа нынче восхваляют все, это так, но подражать ему невозможно. Нет, решительно возражает Петр, восхвалять — значит подражать. Всякое иное восхваление лживо. «Хочешь, дам тебе добрый совет? У тебя целая армия здоровых мужиков, у тебя денег без счета, сам ты искусный строитель, — так возведи себе какой-нибудь новый рай...» — «Нет уж, уволь, — огрызается усопший папа, — я сделаю по-своему: открою несколько меняльных лавок и, когда накоплю денег, вышвырну вас отсюда силою, если вы не сдадитесь подобру-поздорову. Не сомневаюсь, что воинов у меня скоро будет без числа — войны громоздят горы трупов».

При всей остроте и смелости сатиры Эразмов герой не превращается в карикатуру, в сказочное чудовище, — как, например, папа на некоторых немецких лубках времен Реформации, — или в сказочного же остолопа, — как папский легат Каэтан в гуттеновских «Наблюдателях»¹⁰. Он рассуждает вполне здраво и последовательно (со своих позиций, разумеется), а

¹⁰ См. Ульрих фон Гуттен, Диалоги. Публицистика. Письма. Составление и перевод с латинского С. П. Маркиша, М., Изд-во АН СССР, 1959, С. 127 сл.

потому его речи оставляют впечатление искренности и даже некоторой убедительности. Но он до того далек от Петра, что совершенно не способен его понять. Впрочем, он и сам видит пропасть, их разделяющую, да только при этом уверен, что ему достался счастливый и завидный жребий, а Петру — убогий и несчастливый. Он заявляет напрямик, с жалостью и легким презрением: «Эти древние папы, которые, на мой взгляд, были папами только по имени...» Петр несколько раз спрашивает его, по справедливости ли его поносят враги, действительно ли он повинен в том, что ставится ему в укор, и всякий раз Юлий с наивным чистосердечием возражает: да какая разница? К делу это никакого касательства не имеет: коли я папа, стало быть, прав и ни перед кем не в ответе. Его мышление и чувства абсолютно секуляризованы, в нем не осталось ни страха перед богом, ни надежды на его помощь, ни веры в божественную справедливость своей борьбы. Когда Петр спрашивает, кто победит — он или мятежные кардиналы, Юлий спокойно объясняет:

Это в руках судьбы. Правда, у нас денег больше — француз разорен непрерывной войной, а у англичанина еще горы золота. Одно могу предсказать точно: если, упаси и помилуй, француз победит, все названия переменятся — всеславный и священный Собор станет соборишкой Сатаны, я буду уже не первосвященником, но идолом первосвященника, святой дух почиет на них, а мы всё будет творить и чинить духом сатанинским. Но я очень надеюсь на наши деньги...

Прекрасно! По крайней мере, никаких лживых заигрываний с провидением, никаких иллюзий. У папы Юлия свои, очень четкие, очень крепкие понятия о Церкви, ее целях, ее славе, величии. Он человек убежденный и даже по-своему честный: обещал царствие небесное и вечное блаженство всякому, кто выступит под его знаменами, — и приводит к воротам рая

своих павших соратников, хотя, конечно же, мог бы их надуть, если бы пожелал.

Видимо, и без дальнейших объяснений понятно, почему Эразм скрывал свое авторство.

П.-С. Аллен считал «Юлия» лучшим диалогом Эразма. На наш взгляд, это неверно. Правда, уже и здесь все качества Эразмова диалога — изящество и соразмерность, умение изобразить ситуацию несколькими штрихами и, однако, с исчерпывающей точностью, демокритовская ясность взгляда, не застланного ненавистью, — различимы достаточно отчетливо. Но полностью они обнаруживаются лишь в «Разговорах запросто»¹¹.

Начало их восходит к студенческим, парижским годам, когда Эразм, промышляя средства к существованию частными уроками, сам составлял для своих подопечных разные учебники; печатать их он не торопился, а возможно, и вовсе не имел в виду, но друзьям передавал и пересылал исправно. Так, — скорее всего в 1497 году, для сыновей любекского купца, Христиана и Генриха Нортгоффов, — он сделал набросок чего-то схожего с современным разговорником; это был перечень повседневных фраз и выражений, употребляемых в разных житейских обстоятельствах (как попросить напиток, пожелать счастливого пути, поблагодарить за услугу), практическая стилистика обыденной латыни.

Много лет спустя явилась слава, и все, когда-либо вышедшее из-под пера Эразма, приобрело и ценность, и интерес. Его старые рукописи сделались предметом внимания типографов и, случалось, выходили в свет без ведома, а то и к немалому возмущению автора. Одна из них была куплена Иоганном Фробеном (который не счел нужным даже известить об этом Эразма, жившего тогда в Лувене), и вот в ноябре 1518 года была напечатана тоненькая книжица под заглавием: «Эразм Роттердамский.

¹¹ См. Эразм Роттердамский, Разговоры запросто. Перевод с латинского, предисловие и примечания С. Маркиша, М., Художественная литература, 1969.

Формулы для обыденных разговоров». Она имела успех, быстро распродалась и потребовала нескольких новых изданий. Впоследствии Эразм объяснил, что фробеновская покупка представляла собою беспорядочную смесь домашних бесед (повидимому, в ученической записи), его собственных заметок и чужих прибавлений, нелепых и безграмотных. Тем не менее автор решил не отказываться от своего труда, а выправить его. Авторизованное издание «Формул» вышло в следующем, 1519 году. Со всеми улучшениями книжечка, по сути дела, осталась прежней — латинской стилистикой, вариантом «Двойного изобилия»; действительно, многие наборы формул совпадали и тематически, и в значительной степени по содержанию. Лишь в издании 1522 года появились первые настоящие диалоги, книжца превратилась в книжку и украсилась посвящением Иоганну Эразмию Фробену, младшему сыну печатника и Эразмову крестнику. Еще два года спустя книжка снова пополнилась (заодно переименовав название на «Разговоры запросто») и уже не останавливалась в росте вплоть до марта 1533 года. Цель при этом преследовалась тройкая: художественное воздействие, обучение и воспитание. «Я выбирал темы так, чтобы, доставляя приятное чтение и совершенствуя речь, «Разговоры» способствовали бы и нравственному развитию». И в дальнейшем Эразм неоднократно подчеркивал, что это книга для детей, для «нежного возраста», что это как бы подготовительный курс к настоящему учению: он «сделает ребенка более восприимчивым ко многим наукам — к поэтике, риторике, физике, этике, а главное — к христианскому благочестию». В течение двух с половиною веков «Разговоры» продолжали выступать в двух ипостасях — были в руках всех школьников Европы и заморских колоний и служили занимательным чтением для взрослых. Еще в начале нашего века в Англии они выходили в виде учебника, приспособленного для нужд современной школы.

В окончательном своем виде сборник состоит из 57 диалогов (это без первоначального ядра — формул и примитивных

разговоров, образующих издание 1519 г.), весьма различных по размерам, но еще более — по тематике. Мы наблюдаем все слои средневекового общества — от государей до пахарей и шутов, от аббатов до школяров, посещаем разные страны, заглядываем и во дворцы, и в хижины, и в храмы, и даже в бордель, слышим и ученые речи, и брань возчиков. Нас посвящают в тонкости богословия, в вопросы морали, в бытовые, повседневные заботы, в проблемы социальной и личной гигиены. Мы узнаем, что думает автор о женщинах, о старости и детстве, о черни, о рыцарях, об играх и забавах, о войне и мире, о монашеской жизни, о заезжих дворах, морских путешествиях, паломничествах, алхимии и о тысяче иных предметов.

Очень непросто распределить диалоги по группам — так широк круг идей в каждом из них, так ненадежны формальные приметы. Шесть диалогов называются «застольями»: «Благочестивое застолье», «Пестрое застолье», «Трезвое застолье» и т. д. Они продолжают античную жанровую форму «пира»: собравшиеся за столом гости высказываются поочередно на заданную тему. Жанр этот охотно использовался Ренессансом; даже «Декамерон» можно считать разновидностью «пира», Но Эразм словно нарочно всё спутывает: «Пестрое застолье» (1527) — разговор двух собеседников о том, как хозяину угодить всем гостям, если компания собирается разнородная, а с другой стороны «Синод грамматиков» (1529), где Эразм высмеивает своих врагов-сорбоннистов, смело мог бы стоять в ряду «застольий». Достаточно четко выделяются лишь диалоги, посвященные положению женщины в обществе и семье: «Сенатик» (1529), «Роженица» (1526), «Ненавистница брака» (1523) и др. Выигрыш невелик; по-видимому, разумнее отказаться от всяких попыток классификации, признав, что они противоречат тому духу нескованности, незавершенности, неопределенности, который был столь дорог Эразму во всем, а в диалоге — особенно.

Но «Разговоры» — не случайная смесь мыслей и образов, а целостная мозаичная картина, и кубики смальты слагаются в

мозаику благодаря стройности и цельности мироощущения. Скажем более: эта картина и есть мироощущение Эразма, и не в каких-либо деталях и частностях, но выразившее себя вполне. Ведь Эразм, вместе со всем ренессансным гуманизмом, — не только ранняя весна Нового времени, но и поздняя «осень Средневековья», по удачному выражению Йохана Хейзинги (1872–1945), крупнейшего историка культуры и соотечественника Эразма. Отрицая средневековое прошлое, Эразм во многом продолжал традиции средневековья. Отрицая схоластику, он, подобно ее столпам, созидал свои всеобъемлющие «суммы» и «своды». Только, в отличие от подлинных, средневековых «сумм», они, как все эразмианское, не были скованы строгими правилами, не знали педантической систематизации. «Сумм» у Эразма, по меньшей мере, три: «Пословицы», «Похвала Глупости», «Разговоры запросто». «Разговоры» — самая поздняя из трех, впитавшая весь жизненный опыт Эразма, уроки всех его побед и поражений.

Однако мироощущение Эразма — тема следующей главы, а пока попытаемся выяснить, какие художественные возможности диалога открыл и использовал Эразм в «Разговорах».

Прежде всего, разумеется, это театральный эффект правдоподобия, жизни, развертывающейся у нас перед глазами. Сцены, выхваченные из действительности, как бы случайно, мимоходом увиденные и подслушанные, начинающиеся с полуслова, очень многочисленны; чуть ли не каждый диалог сборника начинается такую сценой. Вот первая страница «Нищих богачей» (1524):

Конрад. По пастырю приличествует гостеприимство!

Пастырь. Я овчий пастырь и волков не люблю.

Конрад. Но к распутным волчихам, уж верно, относишься помягче. За что, однако, такое нерасположение к нам? Даже в ночлеге нам отказываешь!

Пастырь. Изволь, скажу: если вы углядите в моем доме курочку или птенчика, завтра ж за проповедью

выставите меня прихожанам на посмеяние. Вот всегдашняя ваша благодарность за гостеприимство.

Конрад. Не все мы одинаковы.

Пастырь. Будьте себе хоть самыми распрекрасными — я бы, пожалуй, и святому Петру не доверился, если бы он явился ко мне в таком наряде.

Конрад. Ну, коли так, укажи, по крайней мере, где еще можно пристать на ночь.

Пастырь. В селе есть заезжий двор.

Конрад. Под каким знаком?

Пастырь. На вывеске увидите собаку, уткнувшую нос в горшок. И еще: у счетной доски сидит волк.

Конрад. Знак недобрый.

Пастырь. Приятного вам отдохновения.

Завязка действия естественна и ненарочита. Она лучше авторских ремарок в современной пьесе prepares читателя к дальнейшим событиям — еще более негостеприимному приему, который ждет францисканцев на постоялом дворе.

Эразм умело и разнообразно строит обмен репликами, который то остер и насмешлив, то подчеркнуто серьезен, задумчив, то нетороплив, задумчив, даже нарочито замедлен, то боек и стремителен, то неуклюж, то изящен... Балагурство Коклита («В поисках прихода», 1522) послужило образцом для знаменитого эпизода из роستانовского «Сирано».

Коклит. ...А ты дивишься, что я узнал тебя по такому приметному носу!

Памфаг. Я своим носом вполне доволен. *Коклит.* Еще бы тебе быть недовольным таким орудием, годным на любую потребу!

Памфаг. На какую ж именно?

Коклит. Во-первых, гасить свечи, словно бы рогом.

Памфаг. Дальше.

Коклит. Потом, если надо вычерпнуть влагу из глубокой впадины, он будет тебе вместо хобота.

Памфаг. Вот те раз!

Коклит. Если будут заняты руки, обопрешься на него, как на посох.

Памфаг. И это всё?

Коклит. читя под рукою мехов.

Памфаг. Отлично рассказываешь. Еще что?

Коклит. Если солнце помешает писать, он послужит тебе зонтом.

Памфаг. Ха-ха-ха! Ты уже всё выложил?

Коклит. В морском бою послужит багром.

Памфаг. А в сухопутном?

Коклит. Щитом.

Памфаг. А еще?

Коклит. Придет нужда расколоть дерево, он будет клином.

Памфаг. Дельно.

Коклит. Ты станешь герольдом — он трубою, ты горнистом — он горном, ты землекопом — он заступом, ты жнецом — он серпом, ты мореходом — он якорем. На кухне он будет вилкою, за рыбной ловлею — крючком.

С этой озорной скороговоркою, которая, как нам представляется, превосхищает иные из интонаций Рабле, любопытно сопоставить степенные речи, которыми обмениваются Гедоний и Спудей в «Эпикурейце» (1533) или участники «Благочестивого застолья» (1522), или же возмущенные крики Ксантиппы, чередующиеся со спокойными, терпеливыми уговорами Евлалии («Замужество», 1523), или же лукавое и кокетливое препирательство влюбленных («Поклонник и девица», 1523). Кстати, героиню последнего диалога, Марию, многие называют предшественницей шекспировской Розалины («Бесплодные усилия любви»).

Нет нужды объяснять, как важны для создания характеров эти счастливые свойства Эразма-драматурга.

Но он не только драматург, он и повествователь отменный. Внутри диалога находится место историческому анекдоту, факции, назидательному рассказу, бытовой зарисовке, ученому филологическому комментарию, богословской экзегезе... И снова

для каждого вида повествования отыскивается подходящий к случаю тон и слог, причем таким образом, чтобы он отвечал общему тону диалога и гармонировал с остальными, — диалогическими в прямом смысле слова, — его частями. Благодаря этому повествовательные пассажи не выглядят чужеродными вставками. Но есть диалоги, сплошь составленные из отдельных рассказов («Трезвое застолье», 1529, «Говорливое застолье», 1524), или такие, где одно лицо ведет от начала до конца один связный рассказ, а другое лишь «подыгрывает», «подает реплики» («Кораблекрушение», 1523, «Закливание беса», 1524 и др.). Следует, однако, оговориться, что и «подыгрывающий» бывает не лишен индивидуальных, характеристических черт.

Хочется хотя бы на одном образце продемонстрировать повествовательный стиль в «Разговорах».

Мне пришла на память история, которую недавно рассказал один доминиканец за проповедью, при громадном стечении народа; была пятница, он говорил о смерти господней и хотел шуткою смягчить суровость и горечь своей речи. Юноша изнасиловал монахиню. У той стал расти живот, и грех обнаружился. Созвали монахинь, возглавила собрание аббатиса. Предъявляют обвинение. Запираться бесполезно — улика очевидная. Обвиняемая пытается оправдать само деяние или, если угодно, сложить с себя вину. «Я не могла сопротивляться, — заявляет она, — он сильнее меня». — «Но ты бы хоть закричала!..» — «Конечно, закричала бы, да только в спальне строго-настрога воспрещено нарушать тишину». Пусть это выдумка, но надо признаться, что сплошь да рядом случаются истории поглупее этой («Рыбоедство»).

Поклонники Рабле, несомненно, уже узнали в этой трогательной истории источник одного из самых забористых анекдотов «Гаргантюа и Пантагрюэля» (Третья книга, гл. XIX).

Иной вид связи между повествовательным и драматургическим началами ощущается в «Девиге, отвергающей брак» и

«Раскаянии» (оба — 1523 г.; второй диалог непосредственно продолжает первый). Катарина, с детских лет влюбленная в монашескую жизнь, которая со стороны представляется ей сущим раем, уходит в монастырь, несмотря на сопротивление родителей и влюбленного в нее Евбула. Но одной недели оказывается достаточно, чтобы все ее иллюзии развеялись, — из намеков Катаринины можно понять, что отец-приор или кто-то еще покушался на ее целомудрие, — и она возвращается домой. Перед нами драматическая разработка (инсценировка) типично новеллистического сюжета, хотя найти новеллу, которой бы следовал Эразм, не удастся. Вообще прямые литературные источники диалогов не обнаруживаются; одно-единственное исключение — «Юноша и распутница» (1523), переработка драмы Гротсвиты Гендерсгеймской (X в.) «Пафнутий», напечатанной в 1501 году и, в свою очередь, восходящей к агиографической литературе (история блудницы Фаиды — франсовской Таис — и добродетельного Пафнутия; житие святой Марии Египетской, которую вызволяет из притона ее дядя). Зато в большинстве случаев можно открыть обстоятельства в жизни самого Эразма или его друзей, послужившие поводом к написанию того или иного «разговора». Под прикрытием вымышленных и обычно значащих, а иногда и без труда расшифруемых имен Эразм описывал собственные впечатления, расправлялся с противниками, защищал себя или своих единомышленников, пропагандировал злободневные и волновавшие его идеи, давал советы... «Неравный брак» (1529) — это наставления, как убежаться от заразы в условиях эпидемического сифилиса, «Скаредный достаток» (1531) — воспоминания о жизни в Венеции в 1508 году и удар по бывшим союзникам, обратившимся во врагов, «Заезжие дворы» (1523) — результат неоднократного знакомства с германскими гостиницами и т. д. и т. п.

Нам уже случилось упомянуть об очень личном тоне, которым Эразм говорит с читателем. Теперь мы встречаемся с таким

же личным началом в выборе сюжетов и тем. Но примечательно, что самые темы при этом оказываются социально значительными, крупными. Так сочетаются две важные ренессансные приметы — индивидуализм и внимание к общему.

Индивидуальная черта Эразма, нигде не выразившая себя так вольно и ярко, как в «Разговорах запросто», — это талант сатирика. Нигде не смеется он так много, и нигде его смех не отличается таким богатством оттенков — разумеется, в диапазоне, очерченном природою, темпераментом: громового хохота, такого как у Рабле, у Эразма не услышишь. При огромной «населенности» диалогов (хорошо сопоставимой с «плотностью населения» на полотнах высокого Ренессанса) получается бесконечное разнообразие смешного. Смешинкою задеты даже лица, по замыслу вполне степенные, или трогательные, или вообще так или иначе симпатичные автору. Лишь очень немногие диалоги серьезны вполне: два естественнонаучных («Дружество», 1531, и «Проблема», 1533) и один, от силы два богословских («Исследование веры», 1524, и, пожалуй, «Благочестивое застолье», 1522) — вот и всё.

Но как истинный сатирик, да еще воспитанный на традициях античной сатиры, Эразм не только смеется, он и поучает. Элемент дидактики очень силен в «Разговорах», дающих достаточно определенное представление об идеале и целях Эразма.

Особняком стоят диалоги-кунштюки — «Эхо» (1526), «Нескладница» (1529) и «Обман» (1529). В первом из них юноша переговаривается с Эхо:

Юноша. Скажи, занятия Муз тебе не противны?

Эхо. Дивны!

Юноша. И тех писателей, что ведут к знанию словесности, изучать надо?

Эхо. Надо.

Юноша. Что же ты думаешь о людях, которые поносят эти занятия?

Эхо. Гнать их!

Юноша. Но если бы почитатели Муз пеклись еще и о благочестье?

Эхо. Если б!

Подобные словесные забавы, известные еще античности, в XVI–XVII веках были весьма распространены. Но Эразм не просто забавляется, он снова толкует и о врагах классической образованности, и о браке, и о монашестве, и об обязанностях епископов, и о дворах государей — одним словом, обо всем, что всегда его интересовало и тревожило.

Зато «Нескладица» — только шутка, и ничего больше. Собеседники начисто не слышат друг друга, и каждый бубнит о своем, улавливая, вероятно, в чужих словах лишь интонацию.

«Разговоры» тысячами нитей связаны со всем остальным творчеством Эразма. В «Коннике без коня, или Самозванной знатности» (1529) и в «Неравном браке» осмеивается наглость и мотовство германского рыцарства, и буквально те же уловки нищих пройдох-рыцарей чуть ли не в тех же словах изображены в «Пословицах» (пословица 1944 — «Ни стыда, ни совести»)¹². В «Девиде, отвергающей брак» Эразм осуждает детей, поступающих в монастырь без согласия родителей. Эта мысль подробно аргументирована в комментариях к Новому завету, причем Эразм спорит с Фомаю Аквинским, державшимся противоположной точки зрения. Примеры можно умножать до бесконечности, мы ограничимся еще одним, касающимся «Похвалы Глупости».

В разъяснительном послесловии «О пользе «Разговоров» (1526) Эразм писал: «Добрая доля мудрости заключается в том, чтобы знать глупые страсти и нелепые мнения толпы. А с ними, я полагаю, лучше познакомиться из этой книжки, чем обращаясь к собственному опыту — наставнику глупцов». Между «Похвалою» и «Разговорами» существует нерасторжимое

¹² В венгерском переводе здесь дается цитата, 22 строки (С. 60–61). (Примечание Ж. Х.)

внутреннее единство, но, как мы видим, Эразм ощущал близость и во внешней задаче — изображении различных видов и обличей человеческой глупости.

Бывало и так, что тема сперва разрабатывалась в «Разговорах», а затем получала развитие в сочинениях иного типа, к которым сам Эразм относился совсем по-иному, чем к «детской книжечке», писавшейся между делом. Так, о смерти, о предсмертных муках, о том, как приличествует умирать христианину, говорится в диалогах «Похороны» (1526) и «Серафическое погребение» (1531). А в 1534 году выходит из печати небольшое сочинение «О приготовлении к смерти», итог всему, что было сказано в обоих диалогах. Сочинение это совершенно основательно отнесено к числу «наставляющих в благочестии» и помещено в пятом томе Лейденского собрания. Мы к нему еще вернемся.

Несмотря на успех и популярность (одних прижизненных изданий насчитывается по меньшей мере 87), а быть может, как раз по причине успеха «Разговоры» были предметом нападок для обеих враждующих партий: и при жизни Эразма, и после его смерти «Разговоры» предавались проклятию как в лагере лютеран, так и у правоверных католиков. В 1559 году они заняли место в первом папском «Списке запрещенных книг». А Лютер предупреждал: «На смертном одре я запрещаю своим сыновьям читать Эразмовы «Разговоры...». Он гораздо хуже Лукиана, он издевается надо всем на свете, прячась под личиною благочестия». В 1523 или 1524 году была очень забавная попытка фальсифицировать «Разговоры». Один доминиканец из Лувена подготовил «исправленное» издание, исказив многие места, касавшиеся монашества, обетов, паломничества, индульгенций, и все эти искажения выдал за авторские поправки. Вдобавок все, что могло показаться обидным для французов, он переиначил, но так по-идиотски, что пропал всякий смысл. У Эразма было: «Отчего бы нам не растерзать того петуха?» Но петух — символ Франции, и вместо «петуха» появляется «заяц».

Однако следующая фраза осталась без изменений, а она гласила: «Что ты больше хочешь — крылышко или ножку?» Наконец, проворный доминиканец сочинил от имени Эразма новое предисловие, из которого следовало, что автор раскаивается в своих лютеранских заблуждениях и грехах против матери-Церкви. Эразм рассказывает, что позже этот самый защитник матери-Церкви нашел в Лейдене покровителя благодаря тому, что прикинулся ближайшим другом Эразма, потом обокрал покровителя, бежал и был пойман в обществе женщин веселого поведения. Он угодил бы на виселицу, если бы не его ряса. После многих подобных проделок он осел наконец в маленьком германском городке, превратившись в ... пламенного анабаптиста. Может быть, и не все в этой истории правда, но известно, что фанатики легко перебегают из одного стана в противоположный.

Литературное влияние «Разговоров» чрезвычайно велико. Из них обильно черпали и гуманисты, и семнадцатый век, и восемнадцатый, и даже девятнадцатый — Рабле, Маргарита Наваррская, Клеман Маро, елизаветинцы (не исключая Шекспира и Бен Джонсона), Сервантес, Монтень, Паскаль, Мольер, Стерн, Вальтер Скотт и, как мы уже упоминали, даже Ростан.

Диалог «Цицеронианец» (1528) имеет подзаголовок: «О лучшем роде красноречия». Но это не трактат по риторике, а полемический памфлет, направленный против тех гуманистов, которые обожествляли Цицерона, рабски ему подражая и относясь с презрением ко всему, что отступало от Цицероновой латыни — не просто образцовой, на их взгляд, но единственно достойной подлинного ученого. Не только возрождающимся наукам смертельно вредна такая ограниченность — она подозрительно отдает новым язычеством, заявляет Эразм в предисловии-посвящении, тем самым сразу, заранее подчеркивая важность темы и выводя ее за рамки узкофилологические. К диалогической же форме он обратился ради того, чтобы «читателям было веселее, и чтобы доводы успешнее воздействовали на

чувства молодежи», которую цицеронианцы портят и развращают. Таким образом обнаруживаются педагогические задачи диалога и его связь с «Разговорами», в которых, по словам Эразма, за соблазнительной для юных приманкою занимательности скрыты вещи весьма серьезные.

Диалог открывается встречей Булефора (по-гречески это означает «податель советов») и Гиполога («поддерживающего беседу») с Носопном («маниакальным тружеником»); Булефор намерен исцелить Носопона от недуга цицеронианства, Гиполог готов ему помочь. Прикинувшись больным тою же болезнью, Булефор втягивает Носопона в разговор. Носопон рассказывает, что он уже семь лет не читает ничего, кроме Цицерона, всех остальных авторов чураясь, как картезианец мяса. Все книги, кроме Цицерона, он из своей библиотеки вынес и запер в сундук, чтобы не согрешить ненароком, двери украсил изображением Цицерона, не растается с геммою, на которой вырезан Цицерон. Булефор вставляет, что он отвел Цицерону место в святцах, среди апостолов. Носопон не замечает иронии: он вполне согласен с Булефором.

Носопон. Провалиться мне на этом месте, если стать совершенным цицеронианцем для меня не дороже, чем быть причисленным к лику святых!

Булефор. Кому не дороже прослыть в потомстве цицеронианцем, чем святым?

Непрерывно трудясь, Носопон составил три словаря к Цицерону: в одном все слова, употребленные его кумиром, в другом — все выражения, в третьем — все начала и заключения всех периодов. Не мудрено, что все три вместе не поднять даже слону. Пишет Носопон только в состоянии полного спокойствия духа — ночью, при абсолютной тишине, очень помалу. (Ради того же он не женился.) Говорить по-латыни он старается как можно реже, чтобы не осквернить языка случайно вырвавшимся нецицероновским оборотом, а если случается необходимость

говорить без подготовки, — как вот теперь, беседуя с Булефором и Гипологом, — после долгим чтением Цицерона смывает с себя скверну. Вообще любого контакта с жизнью — будь то обыденные личные заботы или общественные дела и обязанности — он старательно избегает.

Носопон дает и определение истинного цicerонианца: «Не будет цicerонианцем тот, в чьих книгах найдется хотя бы один оборот, которого он не сможет указать в трудах Цицерона. Я отвергну всё в целом, точь-в-точь как фальшивую монету, если увижу хотя бы одно слово, не помеченное клеймом Цицерона, которому одному, точно государю красноречия, дано от вышних богов чеканить монету римской речи». Запрещается употреблять даже вполне правильные и обычные грамматические формы, если они почему-либо у Цицерона не встречаются. Например, *nasutus* (носатый) у Цицерона есть и, следовательно, к употреблению годно, а *nasutior* (более носатый) — нет и, следовательно, отвергается безусловно.

После того, как «картина болезни» установлена, Булефор сбрасывает маску цicerонианца и принимается за опровержение. Он доказывает, что подражать одному Цицерону нелепо, поскольку во многих видах речи другие писатели были сильнее его — Цицерон и сам этого не отрицал. А главное — бессмысленно копировать форму, если содержание изменилось. Цицерон так не говорил? «Что же удивительного, раз он не знал сути дела? Как много существует вещей, о которых нам приходится говорить все время, а Цицерон их и во сне не видел! А живи он сейчас, он говорил бы то же, что мы». Осуждая пустое копирование, Булефор вспоминает про одного человека, который, увидев случайно, как Эразм писал коротким пером, прикрепленным к деревянной палочке, — чтобы удобнее было держать, — перенял это и стал привязывать к перьям целые бревна, а всем с гордостью объяснял, что пишет по-эразмовски.

Около половины наследия Цицерона пропало, — значит, мы подражаем Цицерону-калеке. Сам Цицерон находил у себя

немало недостатков. Рукописи, которыми мы пользуемся, кишат ошибками и искажениями. Наконец, под именем Цицерона ходят сочинения, которые на самом деле ему не принадлежат. Булефор ссылается на то, что Цицерон обильно цитирует других авторов, — значит, и нам не возбранено учиться у других.

Все начало опровержения сопровождается очень любопытными параллелями из живописи — как живописец подражает природе и что способно воспроизвести его искусство, а что нет. Задача художника — передать «истинную форму», а не переменчивые детали. Кто-то из художников, работая над портретом, постоянно искал чего-то броского, приметного с первого взгляда и потому без конца изменял детали и никак не мог закончить работу: то у позирующего вскочит прыщ, то ячмень на глазу, то появится шрам, то новая шапка. «Если бы он мог изобразить подлинную и природную форму человека, он не стал бы обращаться к этим случайным частностям». Но если даже — подобно идеальному художнику — мы достигли бы идеального внешнего сходства с Цицероном, все равно останется не достигнутым главное: мастерство оратора, убедительность доводов, сила в пробуждении сочувствия, умение развлечь и позабавить слушателей, познания, разум, энергия. А без этого наше подобие будет мертвым.

Достоинства Цицерона предельно высоки, а все предельное близко к своей противоположности, и подражатель непременно нарушит с трудом уловимую границу: «Безукоризненное здоровье врачи считают очень опасным состоянием тела, потому что оно чрезвычайно близко к болезни... Абсолютное самодержавие не ближе ли всего к тирании? И высшая щедрость не соседствует ли с пороком расточительства? И высшая строгость не граничит ли со свирепостью? И высшая веселость и обходительность не граничат ли с шутовством и пустомыслием?» Точно так же и у Цицерона: «Его качества не только недостигаемо высоки, но и лежат рядом с пороками... И чем настойчивее ты стремишься ему уподобиться, тем ближе ты к пороку... Возможно,

кому-нибудь посчастливится родиться Цицероном, но стать Цицероном не может никто».

Булефор возвращается к соотношению формы и содержания: речь лучшего оратора, слог этой речи должен отвечать ее предмету, но слог Цицерона предметам нашего века отвечать не способен. Цицерон так же не мог бы говорить в сегодняшних собраниях, как Апеллес не мог бы писать, а Лисипп ваять изображения святых. Лучший оратор — тот, кто говорит уместно и точно. Речи Цицерона и уместны, и точны лишь для своего времени, а теперь всё стало иным, и если не вернуть Капитолий и сенат, фламинов и весталок, «Цицеронову обезьяну» на ораторской трибуне ждет неизбежный провал. Лучший оратор досконально знает то, о чем говорит, и адекватно выражает свои мысли. Цицеронианец далек от жизни и не имеет адекватных средств выражения, потому что «философия Христа» и все институты христианского общества могут быть описаны и выражены лишь с помощью собственного слога, отнюдь не совпадающего со слогом Цицерона. Истинная подоплека цицеронианства — это новое язычество. Мы только по внешности христиане, в душе мы стесняемся Христа, не любим его и потому как раз предпочитаем ему Юпитера, Аполлона, Куриациев и прочую языческую премудрость. Потому избегаем любых заимствований из Святого писания. Потому замираем от восторга, натолкнувшись на древнего идола или обломок идола, а по лику Христа и святых скользим равнодушными глазами. Потому благоговейно храним монеты, на которых выбиты языческие боги, и зовем суевером того, кто бережет частицу древа животворящего креста господня. «Вот какие таинства совершаются под покровом имени «цицеронианец...». За громким именем спрятана засада для простодушной и легко дающейся в обман молодежи».

В Риме Булефор своими ушами слышал проповедь цицеронианца. Была страстная пятница, и темою для проповеди служила крестная мука и земная кончина Иисуса Христа.

проповедник сравнивал с Дециями, Курциями, Ифигенией, и прочими, добровольно отдавшими жизнь за отечество, с Фокионом, Аристидом, Сократом, которых преследовали и казнили без вины, торжество креста сравнивал с триумфами Сципиона и Юлия Цезаря, но даже не заикнулся об избавлении человека от власти дьявола, о «соумирании, сопогребении, совоскресении» со Христом, о наших пороках, которые все вновь и вновь распинают Христа. В результате проповедь вызвала лишь смех и раздражение.

Напрасно будет подражать Цицерону тот, кто от природы склонен к иному, не-цицеронианскому виду красноречия. Но каждый может стать истинным цицеронианцем, если поймет задачи, которые ставил себе Цицерон, и сделает их своими задачами, произведя изменения, которых требует нынешний день. «Ничто не препятствует тебе говорить одновременно и по-христиански, и по-цицероновски, если цицеронианцем мы признаем того, кто говорит ясно, обстоятельно, страстно и целесообразно, в согласии с сутью дела, с условиями времени и положением действующих лиц». Необходима любовь к тому, что защищаешь, и ненависть к тому, что обличаешь. «Первой заботой должна быть забота о мыслях, затем — о словах, и слова нужно приспособлять к мыслям, а не наоборот».

Цицерона не оценить по-настоящему до тех пор, пока не узнаешь других древних авторов и не изучишь теорию красноречия, а она — у Квинтилиана. Снова повторяется мысль, что Цицероново красноречие не универсально и в наш век неприменимо. В судах — не до Цицерона, в советах никто не согласится выслушивать такие долгие разглагольствования, да и советы-то сейчас все больше тайные. Перед народом говорят не по-латыни, а на местном языке, и вдобавок очень кратко, для проповедника Цицерон совершенно бесполезен. Остаются лишь торжественные посольские речи в Риме, полные мишуры и самой беззастенчивой лести (но дела решаются не на публичных приемах, а в частных беседах, которые ведутся по-французски),

да переписка с четырьмя такими же занятыми цicerонианцами. Так стоит ли тратить столько сил и трудов ради таких ничтожных результатов?

Булефор предлагает Носопону воспользоваться услугами того же врача, который вылечил и его, — разума. Вдвоем они перебирают всех латинских авторов — древних, средневековых и современных, — решая, кто из них вправе притязать на звание цicerонианца. (Этот пространный каталог свидетельствует о необъятной и всесторонней эрудиции Эразма и чрезвычайно интересен для историка литературы.) Носопон забывает о том, что ничего, кроме Цицерона, не читал, и обнаруживает универсальную начитанность. В его суждениях звучит теперь голос автора. Он отклоняет одного кандидата в цicerонианцы за другим. Вот как судит он о Петрарке:

Булефор. Несколько веков красноречие, по-видимому, вообще покоилось в могиле и оживать начало не так давно, в Италии, а у нас — намного позже. Главою расцветающего вновь красноречия был у итальянцев, по-видимому, Франческо Петрарка, в свое время прославленный и великий, а ныне почти забытый. Пламенный ум, большие познания, замечательная сила слова.

Носопон. Не спорю. Однако есть места, где ощущается недостаточная опытность в латыни, и вообще слог его отдает грубостью предыдущего века. И затем, можно ли называть цicerонианцем того, кто к этому даже и не стремился?

Вот как о Томасе Море:

Носопон. Я согласен, что это на диво одаренный ум, которому все под силу, если бы только он мог посвятить себя красноречию полностью. Но когда он был мальчиком, лишь едва уловимый запах настоящей словесности долетал до Англии. Потом родительскою властью он был направлен к изучению законов своей страны, а

нет ничего более противного словесности, чем английские законы. Вскоре, приобретя опыт в ведении судебных дел, он был призван к делам государственным. Красноречию он мог отдать лишь часы досуга, и то с трудом. Наконец, очутившись во дворце, погруженный в волны забот о королевстве, он скорее может любить ученые занятия, чем заниматься науками. При этом род красноречия, которому он следует, больше склоняется к сократовскому построению и диалектической изощренности, чем к широте и полноте Цицеронова слога, хотя изяществом Мор несколько не ниже Марка Туллия. А так как в юные годы он много упражнялся в писании стихов, ты узнаешь поэта и в его прозе.

А вот как о самом Эразме:

Носопон. Я его и писателем-то не считаю, не то что Цицеронианцем.

Булефор. Как? А мне казалось, что его можно считать polygraphos¹³.

Носопон. Можно, если polygraphos — тот, кто марает много бумаги чернилами. Но скорее это писцы, чем писатели. Для нас писать — это выращивать хлеб в поле, читать — удобрять поле... А он все торопится да спешит и не рождает, но выкидывает и иной раз напишет целый том, стоя на одной ноге, и никак не может заставить себя хотя бы раз перечесть то, что написал, и все только пишет и пишет, тогда как за перо следует браться лишь после долгого чтения, да и то нечасто. Он и не желает говорить наподобие Туллия, не воздерживается от богословских выражений, даже самых низменных.

Среди всех, кто писал по-латыни, к северу от Альп отыскивается лишь один Цицеронианец, а к югу — четыре или пять. Лучшие из них, впрочем, не боялись нарушать святыя правила Цицеронианства, если брались за современные темы. А

¹³ Многописцем (*греч.*).

северный Цицеронианец, Христофор Лонголий (Кристоф де Лонгей), хотя и отличный стилист, но писатель незначительный - и неплодотворитель.

Насколько чаще в руках у читателей безделки батавского оратора (т. е. Эразма. — С. М.), которые называют «Разговорами», чем писания Лонголия, как бы ни были они отделаны, отшлифованы, отцицеронены... В чем здесь причина? Только в том, что сам предмет захватывает и держит читателя вне зависимости от языка, которым он изложен! А у Лонголия все безжизненно и по-театральному притворно — и читатель засыпает и всхрапывает. Польза даже посредственному красноречию сообщает привлекательность. А что не доставляет ничего, кроме удовольствия, долго нравиться не может, особенно людям, которые обращаются к книгам не для того лишь, чтобы говорить глаже, но и чтобы жить правильнее.

Еще раз Булефор говорит о благочестии и о новом язычестве, о различии натур и дарований, о том, что нельзя насиловать свою натуру. Затем он подводит итог всему рассуждению: «Если кто в достаточной мере Цицеронианец, но в недостаточной — христианин, он и Цицеронианцем называться не может, потому что и говорит не к месту, и не понимает до конца того, о чем говорит, и равнодушен к предмету речи... Для того изучаем мы науки, для того философию и красноречие, чтобы понимать Христа, чтобы возглашать его славу. В этом цель всей образованности и всего красноречия».

Носопон объявляет, что исцелился.

Мы видим, что враги, в которых метит «Цицеронианец», — это слепая одержимость, нежелание считаться с потребностями живой жизни, утрата чувства меры и целесообразности. Он направлен против тех, кто лишает науку, образованность нравственного содержания, против «науки для науки», или, если угодно, «искусства для искусства». В этом качестве он сохраняет всю свою остроту и до сего дня. И не только критической,

отрицающей своей стороной привлекает он внимание современного читателя, но и развернутой, подробной программой эстетических взглядов, относящейся как к словесному, так и к изобразительному искусству. Едва ли есть нужда ее повторять — нам кажется, что она пересказана достаточно детально. Ее можно было бы назвать реалистической программой. И если закономерно и оправданно некое общее понятие «эстетика Возрождения», связывающее столь разнородные имена, как Петрарка, Рабле, Сервантес, Шекспир (а оно, по-видимому, и оправданно, и закономерно), то эстетические принципы (и художественная практика!) Эразма вносят в него весьма важную долю.

Литературно, однако же, «Цицеронианец», на наш взгляд, далек от совершенства. Даже из пересказа видно, сколько в нем утомительных повторов, как хаотично расположен материал. В отличие от «Разговоров» диалогическая форма здесь функционально оправдывается лишь местами. Всего удачнее зачин (до начала опровержения цицеронианства), где отлично, с ядовитой насмешкой прописан характер Носопона. Но затем и Носопон, и его оппонент блекнут, теряют всякую характерность. Удачно по замыслу и то, что оценка всей литературы прошлого вложена в уста персонажа, явно отрицательного: это избавляет Эразма от ненавистного ему долга вещать категорически и безапелляционно, а вместе с тем Носопон говорит и всерьез, и вполне дельно (разумеется — с необходимой поправкой на цицерономанию). Прием, типично эразмовский, но каталог слишком длинен, утомителен, скучен.

Надо отметить еще один аспект проблемы цицеронианства: вся в целом она отражает спор итальянцев с «северными варварами». Никто из тех, кто родился за Альпами, не может, по мнению итальянцев, притязать на чистоту латинской речи. Носопон прямо признается, что причина его болезни — не только соблазнительный блеск титула «цицеронианец», но и нестерпимая итальянская спесь.

В оценке литературных достоинств «Цицеронианца» мы расходимся с мнением большинства исследователей XIX и XX веков. Нам придется разойтись с ними еще раз — оценивая диалог «О произношении», напечатанный вместе с «Цицеронианцем». Чаще всего он вообще выпадает из круга внимания историков литературы и общественной мысли: вопрос, которым занимается здесь Эразм, слишком узок и специален. Действительно, около двух третей диалога посвящено тому, как следует произносить звуки латинского и древнегреческого языков — по средневековой ли и общепринятой тогда традиции или на основании прямых и косвенных свидетельств, которые мы находим у античных авторов, попытаться реконструировать подлинное древнее произношение. Эразм и производит эту реконструкцию, позже принятую филологической наукой нового времени. То произношение, которого придерживаются ныне, изучая древнегреческий, так и зовется «эразмовским» (в отличие от средневекового, «рейхлиновского»). Правда, сам Эразм на практике никогда своего открытия не применял — вероятно потому, что не мог избавиться от старой привычки.

Но вся первая треть диалога — это беседа об общих вопросах воспитания и образования, написанная живо и увлекательно. Как, пожалуй, ни в одном другом сочинении, тут видно свойство, унаследованное Эразмом от античности: жанровый синкретизм, нерасчлененность литературы (в нынешнем смысле слова) и науки (педагогике, философии, политики и т. д.). В этом Эразм — самый чуткий и верный преемник своего любимого Плутарха, автора «Моралий» («Нравственных сочинений»), положительно не поддающихся жанровому определению (в согласии с нашими понятиями о жанрах). Такая неопределенность во многом зависит от типично эразмианской манеры изложения — доверительной, домашней (об этом уже говорилось выше).

Впрочем, и сама манера у Эразма тоже в значительной мере общая с Плутархом.

В посвящении Эразм объясняет, почему он избрал диалогическую форму, — приблизительно так же, как в предисловии к «Цицеронианцу». «Так как предмет сам по себе не слишком веселый, мы хотели сообщить ему привлекательность с помощью сладкой приманки и потому прибегли к диалогу, время от времени делая такие добавки, которые либо умерят скуку, либо вовсе ее разгонят».

Урс (по-латыни «медведь») поздравляет Льва (Леона) с рождением сына. Лев отвечает, что озабочен тем, как сделать из младенца человека — выучить его правильно говорить. Разговор идет о способностях нежного возраста, о роли раннего образования, о скверных учителях грамматики в школах. Выбрать хорошего учителя очень непросто, но оно и понятно, ведь положение школьного учителя до крайности жалко и ничтожно, оно всех отпугивает и никого не привлекает. Это и несправедливо, и вредно.

Урс. Неужели ты думаешь, что для города менее важно иметь хорошего учителя, чем хорошего епископа? У обоих одни обязанности, — различие лишь в том, что первый воспитывает юных, а второй взрослых, — и одно искусство, только дело учителя хлопотливее, но зато и полезнее: ведь он лепит глину, легче покоряющуюся пальцам.

Лев. Почему бы тебе тогда не отличить грамматика теми же почетными знаками, что епископа, — помазанием, рукоположением, митрой, самоцветами, посохом, паллием?¹⁴

Урс. В этом не было бы ничего нелепого, мой милый, как бы ты ни насмеялся. Впрочем, это и ни к чему. У него уже есть наместо посоха ферула, а если тебе больше нравятся царственные сравнения, — наместо трона кафедра, наместо ликторских связок и скипетра розги и ферула.

¹⁴ Деталь епископского облачения.

Сколько людей благочестие побуждает к далеким паломничествам, поступлению в монастырь, к схимничеству, к щедрым вкладам на построение храмов. Но никто за столько веков не взялся из благочестия безвозмездно учить детей. А между тем в этом занятии все подвиги: и труд, и помощь ближнему, и любовь к нему. Для учителей грамматики следовало бы установить почетные звания, такие же, как «бакалавр» или «магистр» в университетах.

Кое-кто хвалит монастырские школы и те заведения, что содержат «братья общей жизни». Урс категорически не согласен: «Мне в таких делах потемки не по душе, я люблю свет!» Вдобавок учителя и у монахов, и у общежительной братии — самоучки, а нередко и прямые невежды, и все не в ладах со здравым смыслом. «Вот и выходит, что природная крепость и живость натуры надламывается, ее заставляют привыкать к особому рода фарисейству, которое губит свободные и благородные качества и вносит в нежные души нечто рабское... Но нет ничего более радостного, нежели истинное благочестие... и не годится портить беспомощных детей, у которых и молоко-то на губах еще не обсохло, непомерною скорбью...»

Затем излагается конкретная программа образования и воспитания вплоть до восемнадцатилетнего возраста, когда юноша сам должен будет выбрать для себя занятия и образ жизни — в соответствии с природными склонностями, «потому что едва ли будет удача в том, к чему человека толкают силою, против воли его гения».

Основа образования — древние языки. Жалко, что род человеческий не пользуется только двумя языками.

Урс. Какими?

Лев. Греческим и латинским.

Урс. А как насчет еврейского?

Лев. Он распространен не слишком широко и, по видимому, даже самим евреям знаком недостаточно хорошо, а потому я бы оставил его иудеям и богословам.

И еще я опасаясь, как бы вместе с буквами мальчик не впитал и частицу иудаизма.

Урс. С одинаковым основанием ты можешь опасаться, как бы он не почерпнул частицы язычества из Гомера, Демосфена, Вергилия и Цицерона.

Рассказывая, как обучать мальчика письму, Эразм касается происхождения алфавита и искусства письма в целом; величайшим мастером этого искусства он называет Альбрехта Дюрера. Дюрер не только «Апеллес нашего времени», но, живи Апеллес сегодня, он, как человек честный, «уступил бы пальму первенства нашему Альбрехту». Действительно,

Апеллес был величайшим художником, но он писал красками, хотя и не такими яркими и многочисленными, как пишут теперь. А Дюрер чего только не может изобразить одной-единственной краской! Тени, свет, блеск, выпуклости, впадины... Он в точности соблюдает симметрию и гармонию. Мало того, он рисует то, чего и нарисовать-то невозможно: огонь, лучи, удары грома, зарницы, молнии... все чувства и страсти, наконец, всю душу человека, просвечивающую в телесном облики, и чуть ли не самый голос. Все это он являет взору точнейшими и только черными линиями, являет так, что, наложив краску, ты лишь испортил бы всю работу. Разве это не диво — без приманки цвета показать все то, что Апеллес показывал с помощью цвета?..

Очень занятен раздел об искусстве чтения. Мы узнаем, что читали только вслух, и, если кто глазами обгонял голос, это было почти что чудом. Какой-то знатный вельможа не умел читать того, что написано, но непременно перекладывал своими словами. Эта привычка возникла в раннем детстве: учитель — ради обогащения речи ребенка — приучил его все подряд пересказывать; возмужав, он сам очень тяготился этой привычкой, но избавиться от нее уже не мог. Подобных анекдотов в разделе несколько.

Лишь теперь Эразм переходит к теме диалога — к произношению. Он описывает пороки речи и советует, как их исправлять; приводит свои наблюдения над фонетическими особенностями нескольких новых (живых) языков; рекомендует оберегать детей от общения с косноязычными. Далее дается свод правил латинской и греческой фонетики в соединении с обзором всех дефектов произношения, присущих разным европейским народам, в первую очередь — голландцам, а также французам, вестфальцам, англичанам и шотландцам; несколько меньше примеров из различных итальянских диалектов. Кроме произношения, затрагиваются вопросы пунктуации.

В заключительной части диалога Эразм объявляет, что нормой произношения должна быть древность, что главное — отучить ребенка от фонетических навыков, внушаемых ему родною речью, однако делать это следует постепенно, считаясь со сложившимися обычаями. Но Эразм вовсе не имеет в виду, что ребенок должен забыть родной язык: «Позор, если человек выглядит чужаком в том языке, в котором он рожден. Если это бывает по небрежности, он повинен в лени, если же по собственному его желанию, он глупец».

В первом томе Лейденского собрания находятся и собственно педагогические сочинения Эразма — «Декламация о достойном воспитании детей для добродетели и наук, и при этом с самого рождения» (сокращенное и более принятое название — «О достойном воспитании детей с первых лет жизни»), «Книжица о приличии детских нравов» и «Об изучении словесности» («О методе занятий»).

«О воспитании детей» (1529) — едва ли не самый выдающийся памятник ренессансной педагогики, легший в основу всех теорий воспитания позднейшего времени. Но это и замечательный литературный памятник, обладающий всеми достоинствами, которыми отмечен диалог «О произношении», первоклассная публицистика — умная, смелая, темпераментная.

Покажем это на примере одного лишь раздела «Декламации» — о жестоком обращении с детьми.

Детей нельзя бить и запугивать, а мы обходимся с ними хуже, чем жестокий хозяин с рабами, чем пират с галерными гробцами, когда отдаем их во власть нынешних учителей.

Да, прекрасно позаботились родители о тех мальчиках, которых, едва четырех лет от роду, посылают в школу, где хозяйничает учитель невежественный, грубый и нравов далеко не лучших, а иногда и в рассудке не твердый, нередко лунатик, или эпилептик, или больной проказою, которую в народе ныне зовут «французской паршою». Нет сегодня человека настолько бесполезного и ничтожного, чтобы толпа не сочла его годным управлять начальной школой. А они, эти управители, полагая, что взошли на царский престол, чудо как свирепствуют, имея власть не над дикими зверями... но над тем возрастом, которому причитается лишь всяческая мягкость и забота. Можно подумать, что это не школа, а застенок — кроме ударов ферулы, кроме свиста розог, кроме злобных угроз, там не услышишь ничего. Чему иному выучиваются там дети, кроме ненависти к науке? А как скоро эта ненависть засела однажды в юных душах, люди, уже и возмужав, питают отвращение к ученым занятиям.

Иные убеждены, будто упорство — национальная черта целых народов, и потому, дескать, во Франции и в Шотландии школьные учителя такие усердные секатели: только розгою можно внушить благонравие и прилежание малолетним французам и шотландцам. Эразм не вступает в спор насчет того, насколько такое убеждение соответствует истине, но, со своей стороны, высказывает твердую уверенность, что гораздо важнее индивидуальность ребенка, чем его национальная принадлежность.

Есть дети, которых скорее забудешь насмерть, чем исправишь побоями, но тех же самых детей благожелательством и ласкою обратишь в любую сторону. Признаюсь, что таким свойством был наделен от рождения и я. Как-то учитель, который любил меня больше остальных учеников — он говорил, что возлагает на меня особые надежды, не знаю, правда, какие, — разусердствовался и пожелал испытать, насколько я терпелив к розгам; он обвинил меня в проступке, которого я и во сне не совершал, и высек. Порка сразу отбила у меня всякую любовь к занятиям и до такой степени сломила мой дух, что я едва не зачах от горя; во всяком случае, печаль сменилась четырехдневною лихорадкой. Когда учитель понял наконец свою ошибку, он жаловался друзьям: «Эту натуру, — говорил он, — я без малого что погубил, так и не узнав». Человек он был и неглупый, и образованный, и, по-моему, недурной; он опомнился, но для меня — слишком поздно.

Эразм приводит еще пример жестокости из лучших побуждений — когда почтенный богослов, внушавший самое высокое уважение (возможно, речь идет о Колете), приказал высечь десятилетнего мальчика без всякой вины, просто потому, что считал необходимым смирить природную гордыню, заложенную в каждом человеке. Но ведь даже хищников легче смиряют ласкою, чем страхом. Несправедливые обиды легко доводят человека до отчаяния, а «нет животного более грозного и опасного, нежели человек, которого жестокая несправедливость научила презрению к собственному благополучию».

Но и это еще не самое худшее. Бывают учителя-садисты, которые находят удовольствие в зверских истязаниях.

Как много случаев знаем мы сегодня, когда неистовые удары превращают мальчиков в калек, в кривых, в слабоумных, а нередко и лишают жизни. Свиристости иных людей розга не утоляет, и они перевертывают прут и секут черенком, избивают малышей кулаками, лупят всем, что

ни попадется под руку ... Что же сказать о тех, кто к пыткам добавляет гнусные издевательства?

Эразм видел своими глазами, как учитель самым грязным и унижительным образом глумился над мальчиком лет двенадцати, — вплоть до того, что заставлял его есть экскременты. А ребенок ни в чем не провинился, и негодяй-учитель отлично это знал, но подлинных виновников наказывать не хотел, потому что шалость, за которую расплачивался злополучный мальчишка, совершили сын богатых родителей и учительский племянник. А какие муки и унижения терпит в школе новичок, так называемый «беан»!

Побои и брань вредны не только сами по себе. Тело постепенно становится нечувствительно к ударам, а душа к речам. Ведь и лекарство, если его применять неправильно, не облегчает болезнь, а обостряет ее, а если слишком часто — вообще перестает оказывать какое бы то ни было действие. Телесное наказание можно применять лишь в самых крайних, исключительных случаях, да и то при условии, что соблюдаются мера и приличия: недопустимо, например, раздевать ребенка догола у всех на виду. Впрочем, личная точка зрения Эразма (на которой он не настаивает потому, вероятно, что его никто не поддержит) — это, что телесные наказания следует упразднить вообще, а безнадежных тупиц и шалопаев просто удалять из школы: пусть добывают себе пропитание ручным трудом.

Главная мысль, главное чувство, которыми здесь все продиктовано и пронизано, — человечность. «Многие так лютуют против беспомощных и незащитных, точно упустили из памяти, что и они сами, и их ученики — люди».

«Книжица о приличии детских нравов» (1530) — учебник хороших манер. Возможно, что во времена Эразма она была не слишком веселым чтением, но для нас это на редкость любопытные картинки быта и нравов; тем более, что написана «Книжица» с обычным Эразмовым блеском, изяществом,

ненавязчивостью, легкой насмешливостью. Она состоит из семи глав: «О теле», «О платье», «О поведении в церкви», «О застольях», «О встречах и приветствиях», «Об игре», «О спальне». Мы узнаем, что не следует ни раскрывать глаза слишком широко, ни прищуриваться, ни смотреть одним глазом, прижмурив другой. Узнаем, как сморкаться: если пользуешься собственными перстами и сопли упали на землю, тут же разотри их ногой. Ковырять в носу непристойно. Если чихаешь, отворачивайся, старайся чихать тихо, перекрести нос; если тебе желают здоровья, не забудь снять шляпу, когда будешь благодарить; если сам желаешь здравствовать чихнувшему, тоже обнажай голову. Сдерживать чих не надо: больше заботиться о приличиях, чем о здоровье, глупо. Чрезмерная застенчивость не украшает мальчика. Щеки не надуй: это признак Каиновой гордыни, и не втягивай: это признак Иудина отчаяния. Не закусывай губы: это знак угрозы. Во время разговора не кашляй: так делают лжецы, чтобы выиграть время, придумывая, что бы солгать. Не плюй слишком часто, не разевай рот, а если зеваешь, прикрывайся платком и перекрести губы: Зубы прополаскивай чистой водою поутру: зубным порошком пусть пользуются женщины, сильному полу это не к лицу. Не прячь руки за спину: это признак лентяя или вора. Срамной член обнажай со стыдом даже в одиночестве — ведь на тебя смотрят ангелы. Ветров не удерживай; если можно — выйди, если нельзя — действуй в согласии со старинной поговоркой и заглушай пук кашлем.

В божьем храме не броди с места на место, изображая перипатетиков¹⁵. Преклонив одно колено, не опирайся на другое локтем — в такой позе стояли нечестивые римские легионеры, когда кричали распятому Христу: «Приветствуем тебя, царь Иудейский!»

¹⁵ Перипатетиками (прогуливающимися, *греч.*) звались в древности последователи Аристотеля, либо потому, что Аристотель учил во время прогулок в роще, либо потому, что, объясняя, он никогда не сидел на месте, но расхаживал взад-вперед.

Ботцхейму Готовясь сесть к столу, вычисти ногти, опорожни мочевой пузырь и желудок, распусти немного пояс. Забудь на время обо всех заботах: за столом негоже грустить самому и наводить грусть на других. Руки держи на столе, на колени не опускай. Не переминайся с ягодицы на ягодицу, иначе подумают, будто ты пускаешь ветры или собираешься пустить. Хлеб не ломай, а режь ножом и корку не оставляй. Если хлеб упал на пол, подними его и поцелуй. Пей не более двух-трех стаканов — больше мальчику нельзя. Прежде чем поднести стакан ко рту, оботри губы. Не суй пальцы в подливу, не обрезай для себя с костей лучшие куски, не протягивай другому отрезанный тобою кусок. Если ты положил кусок на тарелку, не доев до конца, не берись за него снова. Не чавкай, не спеши, не набивай рта. Еду перемежай беседою: невежливо все только жевать да глотать, а в перерывах чесать в голове, ковырять в зубах и плевать или играть ножом.

Повстречавшись с кем-либо, сними шляпу и во время разговора держи ее в левой руке, правую же согни и поднеси к пупу. А еще пристойнее держать шляпу обеими руками, выставив большие пальцы вперед и прикрывая пах. Ко всем ученым обращайся: «Уважаемый наставник», к клирикам: «Достоchtigый отец», к сверстникам: «Брат, друг», к взрослым: «Господин, госпожа».

Хорошие манеры — отнюдь не привилегия знатных. Напротив чем ниже и незаметнее твое происхождение, тем важнее хорошим воспитанием «возместить то, в чем отказала судьба. Выбрать себе родителей или родину не может никто, но всякий может образовать сам свой характер и нравы».

И в заключение — типично эразмовская нотка: основа хороших манер — не столько собственная безукоризненность, сколько снисходительность к чужим промахам.

Главная доля учтивости и приличия состоит в том, чтобы, никогда не ошибаясь самому, легко прощать ошибки

другим и не охладевать к товарищу, заметив, что нравы его простоваты. Есть люди, которые грубость нравов уравнивают иными достоинствами. И наконец, все эти правила не надо понимать так, будто без них никто не может быть хорош.

«О приличии детских нравов» — первое сочинение Эразма, переведенное на русский язык. Перевод (точнее — вольное переложение) был исполнен в 60-е годы XVII века Епифанием Славинецким, сподвижником патриарха Никона, под заголовком «Гражданство обычаев детских»; имя автора названо не было¹⁶.

Третий из названных выше педагогических трудов, «Об изучении словесности», был напечатан в 1512 году вместе с «Двойным избытком», как бы в качестве методической инструкции к этому учебнику латинской стилистики.

«О воспитании детей...» названо «Декламацией», и это не случайность и не каприз автора. Декламация в понимании Эразма — не букеты парадного красноречия, не школьные упражнения в риторике, как было во времена Лукиана и Либания, как нередко бывало и во времена самого Эразма. В известном письме к Иоганну Ботцхейму (1524) Эразм объявляет: «Очень многое в декламациях имеет отношение к устройству нашей жизни и к тому, как она должна быть устроена», и причисляет к этому жанру весьма несходные, на наш сегодняшний взгляд, вещи: «Кинжал христианского воина» и «Похвалу Глупости», «Ответ епископа на поздравления паствы» и «Воспитание христианского государя», «Панегирик герцогу Филиппу по случаю возвращения его из Испании» и «Жалобу Мира», то есть речи подлинные и фиктивные, написанные от собственного имени, от имени других и даже от имени аллегорических фигур

¹⁶ Атрибуция этого памятника русской образованности, имевшего весьма широкое распространение, принадлежит М. П. Алексееву: Алексеев М. П. Эразм Роттердамский в русском переводе XVII века. // Сб. Славянская филология, 1958, № 1.

(Глупости, Мира), вполне серьезные и откровенно шаржированные, наконец, и вовсе не речи, но скорее научно-публицистические трактаты.

В первом томе, помимо «Воспитания детей», еще две декламации. Одна помещена среди переводов из Лукиана и служит ответом на «Тираноубийцу» последнего, вторая — «Похвала искусству врачевания» (1518). И в той и в другой много шаблонного, обе непомерно растянуты и утомительны (особенно ответ на «Тираноубийцу», впятеро превышающий размером речь Лукиана), обе «произносятся» вымышленными лицами, но временами и в той, и в другой звучит голос самого Эразма.

Убийца тирана требует обещанной награды. Ему возражает перед судьями кто-то из сограждан, доказывая, что за все случившееся надо благодарить только богов, а убийца — жалкий трус, не имевший ни должного плана действий, ни подлинных намерений тираноубийцы и вдобавок преступно умертвивший невинного человека. (По Лукиану, он убил не тирана, а его сына, после чего тиран покончил с собою мечом, оставшимся в ране.) Закон одобряет убийство тирана и сулит за это вознаграждение. Убийца не только не исполнил требования закона, но своим поступком создает опаснейший прецедент. Неважно, что сын тирана был такой же мерзавец, как отец, — убийца не имел никаких законных оснований покушаться на его жизнь.

Не то здесь существенно, господа судьи, насколько ненавистен был государству убитый и насколько более тяжелой казни он заслуживал, но снова и снова надо поразмыслить о том, к каким пределам произвола приведет пример беззаконного убийства, хотя бы раз допущенный в государстве, хотя бы раз одобренный вашим приговором, отмеченный наградой, наконец! То, что этот убийца позволил себе против сына тирана, другой позволит против любого богатого гражданина. Любой бедняк, обиженный богачом, тут же назовет обидчика тираном и приступит к нему с ядом или железом. Или, если кому придется не по душе кто-либо из властей, если кто воз-

ненавидит судью, он без колебаний пустит в ход оружие». И всегда найдутся софисты, которые истолкуют закон в пользу преступника. «Поверьте мне, нельзя смотреть сквозь пальцы на такую грозную опасность, нельзя, чтобы частное лицо под благовидным предлогом умерщвляло человека, которого суд не признавал виновным.

Отвращение к беззаконию и насилию, к лицемерным словесным уверткам, за которыми прячется произвол, — коренная черта Эразмова мироощущения. Такие же черты проступают и в «Похвале искусству врачевания», вложенной в уста врачу и тем более фиктивной, что в жизни Эразм относился к медицине с достаточно заметным недоверием. Здесь, однако, следуя правилам «этопеи», он не просто славит врачебное искусство за то, что оно необходимо людям, как никакое иное, за то, что оно божественно, поскольку врачи следуют примеру самого Христа и его апостолов, исцелявших человеческие недуги, за то, что приносит своему обладателю большие доходы в любом уголке земли, — но, вдобавок, высказывает суждения, противоречащие его собственным взглядам, но свойственные средневековым медикам: признает существование квинтэссенции, возвращающей молодость старикам, признает астрологию. Но вот, защищая свое искусство от хулителей-гупиц — которые, как и в древние времена, несут вздор про врачей-убийц, твердят дурацкую пословицу о том, что нет большего несчастья, как жить по предписаниям врачей, дразнят лекарей «дармоедами», — врач говорит:

А если и есть среди нас и невежды и корыстолюбцы, что может быть несправедливее, чем пороки людей клеветнически приписывать их занятию? И среди священников попадаютя прелюбодеи, и среди монахов убийцы и пираты, но при чем здесь религия, сама по себе безупречная? Нет занятия настолько чистого, чтобы оно не кормило какого-то числа преступников.

Вместе с фиктивным автором речи заговорил подлинный.

Оканчивается первый том Лейденского собрания комментированным текстом элегии Овидия «Орех» (Эразм издал его в 1523 или 1524 г. с посвящением Джону Мору, сыну Томаса Мора) и несколькими стихотворениями самого Эразма.

Поэтическая часть Эразмова наследия представляет бесспорный интерес для исследователя. В уже упоминавшемся письме к Ботцхейму Эразм писал: «В юности я питал такую склонность к поэзии, что с трудом заставил себя обратиться к мысли о прозе». Но именно об этих юношеских стихах он очень рано стал отзываться с пренебрежением, утверждал, что в них не отыщешь и крупницы поэзии, что они абсолютно сухи и бескровны — отчасти по бедности дарования, отчасти из-за неумелого подражания древним. К своим более поздним поэтическим опусам Эразм был не так строг. Однако и они интересны сегодня скорее исследователю, чем читателю, ищущему знакомства с автором «Похвалы Глупости». А поскольку наш материал и без стихов обширен необъятно, и самоограничение нам необходимо, мы, ясно сознавая свою вину перед читателем, все же исключим Эразма-поэта из сферы нашего внимания.

Потребность самоограничения диктует еще одну необходимую меру. Если первый том был рассмотрен подробно и подряд, — это оправдано не только его порядковым номером, но и содержанием, — то в дальнейшем без пропусков и сокращений не обойтись.

Второй том весь занят «Пословицами», по-латыни «Адаггиями»: латинское название принято почти повсюду. Истории создания сборника мы касались в предыдущей главе. Спустя семь лет после венецианского появилось базельское издание (у Фробена) снова исправленное, дополненное и существенно переделанное. Дополнения касались не столько числа пословиц, сколько комментария к ним; численно сборник вырос всего на

полторы сотни пословиц. Тем не менее, Эразм еще в процессе работы говорил, что это будет совсем новая книга и намного лучше прежней, хотя и прежняя была не совсем дурна. Пополнять «Адагии» Эразм не прекращал до самой смерти — небольшими порциями, но часто. Базельское издание 1515 года насчитывало 3411 пословиц, а последнее прижизненное, вышедшее в свет за четыре месяца до кончины Эразма, — 4151.

В комментарии к пословице «*Подвиги Геркулеса*» (№ 3001) Эразм рассказывает о своем труде сам. Препятствия, которые ему приходилось преодолевать, и многочисленны, и до крайности сложны. Древность материала и необъятность источников. Необходимость читать все без исключения, потому что даже у скверных толкователей «в куче навоза иной раз находишь золото». Многие авторы и старинные собрания пословиц исчезли, а существующие тексты испорчены, да и в тех постоянная нужда, а если и получаешь, наконец, долгожданную рукопись, то она изъедена плесенью и червями. Дать волю воображению и догадкам нельзя, а работа изнурительно однообразна: всякий раз укажи первоначальный смысл поговорки, ее источник и случаи применения. Бесконечные переводы с греческого (одних стихов переведено не менее 10 000 строк). Постоянное напряжение памяти: надо держать в уме всё в целом ради частных. Наконец — отчаянная спешка. Можно ли после всего этого укорять автора за то, что он не избежал ошибок?

Отклоняет Эразм и другое обвинение критиков — что сведения, им приводимые, недостаточно полны. Если гнаться за исчерпывающей полнотой, каждая пословица разрастется в целый том, потому что в комментарии к какой-нибудь «Илиаде бедствий» (= море бедствий. — С. М.) окажется вся гомеровская «Илиада».

Сперва, продолжает Эразм, он предполагал сгруппировать пословицы по смыслу («соединить подобные с подобными»), но отказался от этого плана, убедившись, что для его осуществления потребуются долгие годы, а может быть, и десятки лет. И

еще одно соображение: сходные пословицы, следуя друг за другом, наведут на читателя скуку. (Это значит, что Эразм видел в «Адагиях» не справочник, а книгу для чтения.) Искать в «Адагиях» красноречия Эразм не советует: и сам предмет работы, и спешка, с которой она выполнялась, исключают ораторские красоты.

Эразм мог бы взяться за какое-нибудь другое дело, которое стоило бы ему намного меньше усилий и принесло бы намного больше славы, например — за перевод всего Демосфена или всего Платона. Но он думал не о себе, а о других — обо всех, кто ищет знаний, об общем благе. Именно потому он и вправе назвать свой труд «подвигом Геркулеса».

Действительно, общая потребность в своде античных изречений, цитат, пословиц была в век высокого Ренессанса, да и в последующие века, вплоть до девятнадцатого, очень велика. Без частых ссылок на древность ни одно литературное произведение не могло рассчитывать на успех. В конечном счете это прежняя, средневековая форма мышления, прежняя система оценок: только в Средние века ссылались на Святое писание и его знаменитых интерпретаторов, а теперь — больше на греческую и римскую древность. Эразм оказал неоценимую услугу и современникам, и потомкам. Он снабдил их не только латинской фразеологией на все случаи жизни, но и превосходным введением к ученым занятиям в любом аспекте — филологическом, историческом, юридическом, политическом, — а также к изучению греческого языка, поскольку приводил в оригинале несколько тысяч греческих цитат с отличным латинским переводом. Следы близкого знакомства с «Пословицами» заметны у Лютера, Рабле, Монтеня, Ла Бюсси, Бэкона, Шекспира... Только прижизненных изданий «Адагии» выдержали более шестидесяти. Затем, по их образцу, другие авторы стали создавать новые сборники, для практических надобностей более удобные, и число изданий неуклонно сокращается: после смерти Эразма и до конца века их было около

семидесяти пяти, в течение всего следующего, XVII столетия — двадцать четыре, а после 1700 года — только одно, в составе Лейденского собрания. Оно же было и последним полным изданием «Адагий».

Состав сборника в принципе ограничен кругом древних языческих авторов, причем, разумеется, Эразм обращался не только непосредственно к текстам авторов, но и к позднеантичным и средневековым филологам. Указанный принцип, однако, иногда — не слишком часто — нарушается: включены и народные поговорки (голландские и другие), и цитаты из Ветхого и Нового заветов. (По поводу последних Эразм объясняет: «Я не имел намерения вводить сюда богословские поговорки — не из пренебрежения к ним, напротив, из особого уважения к Священному писанию, а еще потому, что священные книги всем хорошо известны», № 800.) Но и внутри античного круга был неизбежен какой-то отбор, и этот отбор происходил. В кратком вступлении к «Некоторым стихам Гомера, вошедшим в пословицу» (подзаголовок этот поставлен перед началом восьмой сотни третьей тысячи, и гомеровские цитаты тянутся почти до конца этой тысячи), Эразм пишет, что хотя из Гомера можно было бы взять чуть ли не любой стих, «мы предпочли выбрать из многого немного: мы не хотели слышать обвинений в мелочности и педантизме, а затем, в подобного рода писаниях, мы предпочитаем видеть то, что автор сам принимает близко к сердцу». Стало быть, уже самый состав «Адагий» отражает мировосприятие Эразма, тем более, что он видел в пословице как бы сгусток мудрости и древнейшей учености, считал ее обязательным элементом подлинного красноречия, элементом, которым не пренебрегали ни лучшие авторы — греки и римляне, язычники и христиане, — ни Священное писание, ни даже Иисус Христос.

Но главное, что делает «Адагии» Эразмовой «суммой» и что способно привлечь сегодняшнего читателя, — это не сами пословицы, а комментарий. Размеры комментарий колеблются в

очень широких пределах — от двух строк до двадцати столбцов, но мы не погрешим против истины, если скажем, что разнообразие их содержания еще шире.

Постоянный и значительный по объему компонент комментариев — набор цитат-примеров из разных авторов. Эразм ссылается не только на собственно античные источники, но и на древнехристианских писателей, больше всего на святого Иеронима, несколько реже на святого Августина. Приводятся и такие места из авторов, где сама пословица не употреблена, но зато развита заключенная в ней мысль.

Постоянны сопоставления со сходными пословицами и прямые отсылки к ним. Во многих случаях к «языческой» пословице подбирается сходное изречение из Библии, иногда — наоборот. Очень часты параллели из живых языков; в этом случае Эразм не боится просторечного духа и только всякий раз осуждает его грубость, даже тогда, когда древняя пословица ничуть не деликатнее. *«Недостойн поднести ему ночной горшок. — ... И поныне ходит в народе до крайности неприятный оборот речи: «Недостойн сапоги с него стянуть»* (№ 494).

Толкуя значение и происхождение пословицы, Эразм, как правило, предлагает несколько версий, часто взаимоисключающих. Обычно он указывает, какой версии отдает предпочтение, но бывает, что признает одинаково возможными два или несколько вариантов. Например, *«Подражай политу»* (№ 93) может быть понято и всерьез, как разумный призыв приспособляться к обстоятельствам, и иронически, как осуждение безоглядного подхалимства.

Ища подтверждений своему толкованию, Эразм ссылается не только на древних, но и на ученых близкого к нему времени, и на прямых современников. Наиболее охотно он обращается к авторитету итальянского гуманиста Ермолая Варвара (Эрмолао Барбаро, 1453–1493). Не упускает случая поблагодарить друзей за любые сделанные ими предложения, поправки, конъектуры, а заодно произносит панегирик другу. Такой панегирик

находим, например, в комментарии к № 501 («*Часто и зеленщик измолвит разумное слово*»). Болонец Паоло Бомбаче (ум. 1527) предложил читать не «зеленщик» (по-гречески κηλοῦρος, kēlorós), а «глупец» (μωρός, mōrós), и Эразм восхваляет ученость и нрав Бомбаче, уверяя, что никогда и ни с кем не дружил он приятнее и крепче.

Узкофилологические рассуждения — не испорчено ли место, как его исправить, какие еще чтения возможны и т. п. — составляют немалую долю общего объема комментариев. Это как бы «аппарат» критического издания, творимый на глазах у читателя. К этому типу комментария нужно отнести еще орфографические, а также этимологические и топонимические этюды, нередко совершенно фантастические, в духе средневековых и античных этимологий. Например, сообщается, что на острове Родос есть город Линд, откуда, возможно, английское «Лондон». Доказательства? Пожалуйста: во-первых, Стефан Византийский называет Лондон Линдонием, а во-вторых, и Родос и Британия — острова, древний язык Англии, который ныне зовется валийским, либо произошел от греческого, либо смешан с ним, наконец, нравы англичан не слишком отличны от греческих (№ 1543). Правда, свои филологические экскурсы Эразм очень часто заключает скромным: «Впрочем, об этом пусть подумают ученые», — как бы желая подчеркнуть, что он богослов и сфера его компетенции иная.

Объясняя происхождение пословицы, Эразм с большим удовольствием рассказывает и древние, и новые анекдоты.

Хромец — мужчина отменный. — Происходит, как передают, от меткого слова амазонки. Говорят, что было некогда в обычае у амазонок ломать младенцам мужского пола голень или бедро. И вот, когда шла у амазонок война со скифами и те, пытаясь переманить их на свою сторону, сулили, что вперед они будут спать не с хромыми и увечными, а со здоровыми мужчинами, Антианира, предводительница амазонок, отвечала:

«Хромой делает мужское дело как нельзя лучше (№ 1849).

Отметим попутно примечательное обилие непристойностей и всевозможных сведений, относящихся к интимным сторонам жизни. Пожалуй, это не просто примета эпохи, но и проявление болезненного любопытства к полу со стороны монаха.

Большую роль в комментариях играют сравнения-примеры. «*Осел, несущий предметы тайного культа*. — ... Все равно, как если бы невежда был начальником библиотеки... Все равно, как в тех случаях, когда докторский титул, шапочка, кольцо и прочие знаки отличия присуждаются людям неученым» (№ 1104). «*Собака в яслях*... Говорится о тех, кто и сам не пользуется какой-либо вещью, и другим не дает; как если бы кто хранил под замком первоклассные рукописи, которых и сам бы никогда не брал в руки» № 913). Важен состав сравнений — то, что Эразм постоянно обращается к примеру ученых, поэтов, ораторов, постоянные и неукоснительные пинки богословам, монахам, государям, придворным.

Эти сравнения способны разрастаться в настоящие новеллы. Объяснив, что пословица «*Эзерний с Пацидианом*» (№ 1498) означает схватку двух равных по силе противников, Эразм пускается в воспоминания о сваре между францисканцами (миноритами) и сервитом (монахом ордена Пресвятой Девы Марии) в Лондоне, которой он был свидетелем. Раздор возник из-за того, что сервит предложил тезисы для диспута, среди которых был один, направленный против братьев-миноритов. Им напоминалось, что они не должны ни под каким видом принимать деньги, — это воспрещено их уставом; при этом грешит не только принимающий, но и даятель, поскольку он вводит монахов во искушение.

Францисканцы поняли, что публичное обсуждение этого тезиса грозит им подлинной нищетою, и заставили сервита явиться для переговоров к их главе, Стандицию, мужу искушен-

ному не только в словесных, но — судя по его комплекции — и в кулачных схватках. Впрочем, и сервит оказался не робкого десятка. «Достойный отец, — начал он свою «оправдательную» речь, — не очень-то мне хотелось сюда идти: я слышал от многих, что ты человек запальчивый до беспамятства, а если верить некоторым, так и просто бешеный... Но все же я готов выслушать, что тебе угодно». Стандиций, и в самом деле, разразился бешеной бранью и потребовал, чтобы сервит взял свой богохульный тезис назад. Сервит категорически отказался: он, дескать, имел в виду публичный диспут, а не публичное покаяние.

При этих кощунственных словах Стандиций сперва онемел от злобы, а потом приказал сервиту ждать, сам же кинулся во внутренние покои. Но сервит снова не обнаружил послушания и направился к выходу. Тут возвращается Стандиций в сопровождении нескольких телохранителей, которые, хотя и в капюшонах, но ни крепостью сложения, ни отвагою и королевским телохранителям не уступят. Все бросаются следом за уходящим, хватают его за ноги, волокут назад, в дом. Сервит, видя себя во власти супостатов и страшась самого худшего, взывает к Иисусу — кричит во все горло и без передышки. Среди францисканцев Иисуса и в помине не было... Но на имя Спасителя выскочили из соседнего дома какие-то каменщики... и вырвали беднягу из рук Стандициевых пособников. Это было первое действие пьесы.

Второе и все последующие тоже наполнены и угрозами, и жалобами, и внезапными перипетиями. Сервит повесил благодарственную табличку подле изображения Иисуса, избавившего его от верной смерти, и на табличке подробно расписал все случившееся. Слух о чудесном спасении дошел и до кардинала, канцлера английского королевства, а он, отличаясь нравом веселым и шутливым, приглашает к себе обоих противников, надеясь позабавиться. Выслушав обвинения францисканца и оправдания сервита, кардинал решает: поскольку вопрос очень

любопытен, а оба противника замечательные схоласты, пусть в первую пятницу после пасхи сойдутся для диспута в соборе Святого Павла.

Обе стороны согласны. Приготавливаются вожди, снаряжаются воины, ко всем дверям и столбам приколачиваются листки с выводами, народ сбегается отовсюду, даже издалека... Настает день решительной схватки, храм битком набит и учеными, и неучеными. Но кто-то устроил так, что король через кардинала запретил какие бы то ни было прения. Тут Стандиций, спеша все обернуть себе во славу, велит нескольким из своих распустить по храму слух, будто сервит на коленях умолил его отменить диспут. И большинство уже поверило, а другой противник, не зная по-английски (он был итальянец. — С. М.), ни о чем не догадывался, но тут словно какой-то бог его надоумил, и он взошел на кафедру и объявил: «Ученейшие ученые и вы, все прочие, достойнейшие мужи! Сегодня надлежало быть диспуту, но преосвященнейший кардинал по известным соображениям приказал воздержаться от спора. Так что не ждите понапрасну». Минориты, видя, что славная добыча уплывает, бросились на сервита и растерзали бы его прямо посреди церкви, если бы предусмотрительный кардинал заранее не расставил своих стражников.

Публичный спор был заменен приватным, в кардинальских покоях, и действительно очень позабавил насмешливого кардинала. Победа не была присуждена ни той, ни другой стороне, а потому триумф справили обе.

Этот рассказ вполне мог бы найти себе место в «Разговорах». Эразм сам отмечает развлекательную цель новеллы: он хотел доставить читателю удовольствие и забавной историей облегчить утомительный труд чтения «Адагий». Обратите внимание, мы уже в другой раз встречаемся с мыслью, что «Адагии» — не справочник, а книга для чтения подряд.

Личные впечатления Эразма появляются часто и в разных видах. Тут и мельком оброненное замечание, вроде «Грибы, хотя и невкусны, когда-то считались деликатесом, а у итальянцев и поныне считаются» (№ 3998), или жалобы на скверные вина и пыль в Кампании № 3714). Тут и детали биографии, вроде рассказа о том, как он заблудился на пути из Шлеттштадта в Базель (№ 3727). Тут и (весьма редкие) наблюдения над природой, вроде того, что он своими глазами видел в Альпах снежного червя, о котором пишет Аристотель (№ 1851). Тут и (весьма обильные и разнообразные) похвалы друзьям и покровителям. Тут и выпады против неприятелей, вроде пинка лувенским богословам, гонителям наук (№ 1320). Тут, наконец, и забавные анекдоты, где-то когда-то услышанные и запомнившиеся.

Подростком, в Голландии я слышал историю, близкую этой пословице («*Важные дела отложим до завтра*». — С. М.). Во время застолья кто-то сидел так близко к огню, что занялся низ платья. Один из гостей это заметил и сказал: «Я хочу тебе кое-что сообщить». А тот в ответ: «Если что-нибудь печальное, не желаю слушать за столом: тут все должно быть только веселое и радостное». — «Ну, это сообщение не слишком радостное». — «Серьезные дела — после ужина». Когда же, наконец, отужинали в полном довольстве, первый обращается ко второму: «Вот теперь говори, что ни вздумается». Тот показывает ему громадную дыру, прожженную назади. Первый начинает сердиться, что его вовремя не предупредили. Тогда второй: «Я хотел предупредить, да ты запретил (№ 3660).

Впрочем, личность Эразма заметна почти в любом комментарии, прежде всего — благодаря все тому же личному, дружественному, доверительному, одним словом, эразмианскому тону. Эразм то соглашается с древней мудростью пословицы, то подвергает ее сомнению, то решительно отклоняет, противопоставляя ей иную мудрость. «*Угодливость родит друзей, истина*

— *ненависть* — ...Пошлая дружба состоит в угодливости. Но между истинными друзьями нет ничего приятнее истины, только бы она была свободна от грубости и резкости...» № 1853). «*Сперва Добывай Достаток, а потом уже Доблесть...* В наше время многие родители внушают детям эту мысль вполне серьезно, хотя на самом деле в ней заключена злая ирония» № 1838). «*Гневливее Адриатики.* — ...Не то, чтобы это море было свирепее прочих, наоборот, едва ли есть другое, столь же ласковое, но так представлялось италийцам. А вот если б они плавали по Британскому или Датскому морям, то признали бы, что Адриатика даже имени моря не заслуживает» № 3589). «*Праведность сама по себе немногого стоит...* Но насколько лучше сказано у Эсхила в «Семерых» об Амфиарае: Он хочет быть, а не казаться праведным» № 1067).

Так же решительно Эразм вступает в полемику и с традиционным толкованием пословицы, — и средневековым, и освященным авторитетом древности, — или исправляет собственные ошибки, допущенные в предшествовавших изданиях.

Нам думается, что именно эразмианский тон открывает доступ в «Адагии» современной Эразму жизни, не только личным житейским обстоятельствам автора, но и социальным, и политическим явлениям, определяющим облик первых десятилетий XVI века. Чаще всего о них говорится в общей форме, но зато предельно резко, с поразительной, по нашим сегодняшним понятиям, смелостью.

Пожиратель бобов. — (Так в древности называли тех, кто продавал свой голос на выборах. — С. М.). Если бы сегодня не случилось того же на выборах высших властей Церкви и самодержца всего мира! Тогда народ клеймил бранью человека, который за деньги оказывал поддержку искателю не бог весть какой важной должности. Ныне в открытую раздают громадные награды тем, кто голосует на выборах папы и императора. (№ 3537).

Встречаются и прямые, личные инвективы (правда, только по адресу умерших).

От весла к судейскому креслу... Едва ли к кому это применимо точнее, чем к Юлию II. Молва гласит, что в юности он был наемным гребцом и, однако же, от весельной уключины возвысился не только что до судейского кресла, но до самой великой и славной из человеческих вершин. Впрочем, и этим он не удовольствовался, но намного раздвинул пределы папской власти и не остановился бы на достигнутом, если бы его самого не остановила беспощадная смерть. (№ 2386).

В сборнике масса естественнонаучных сведений, позаимствованных из древних источников, в основном у Аристотеля, Теофраста, Плиния Старшего, Диоскорида (и потому далеко не всегда научных в современном смысле слова), много толковых и подробных объяснений к цитатам из юридических памятников, много рассуждений о музыке.

Чрезвычайно характерно для всей работы в целом стремление к переходу из телесной, материальной сферы в духовную, от прямого смысла к метафорическому. Истолковав буквальное значение пословицы «*С двоими и Геркулесу не сладить*», Эразм прибавляет:

Но гораздо изящнее будет метафора, если мы этими словами обозначим, что одному, даже самому образованному, не выстоять в диспуте против двоих, или что один человек не в силах одинаково хорошо исполнять несколько дел, или что невозможно противиться просьбам двоих, если они просят об одном и том же (№ 439).

Это стремление, свойственное не одному Эразму, но весьма многим гуманистам эпохи Возрождения, унаследовано от средневековья с его широчайшим символизмом, который не только

окрашивает, но в значительной мере и определяет склад мыслей и чувств средневекового человека.

Есть в «Адагиях» и поэтичность, и подлинный ораторский блеск, вопреки авторской самооценке. Вот, например, как преображается замшелое «общее место» через конкретность видения:

Поэты изображают всех людей висящими на нитях, вытканых парками, и когда нить обрезана, человек тотчас падает. Одни повисли на белых нитях, другие на темных. Одни висят высоко-высоко, другие над самой землей. Но у всех одна участь: как только неумолимая Атропос рассекает большим пальцем нить, висевший мигом падает. Только одно и есть различие — что чем выше ты висел, тем громче шум от падения (№1248).

И еще одна особенность, в которой обнаруживает себя все то же личное, индивидуальное, доверительное начало: книга пронизана ощущением непосредственной связи с античностью и ранним христианством, связи, никогда не порывавшейся, как не прерывалось и течение жизни, соединяющее прошлое с настоящим. Это ощущение проявляется даже в мелочах — в постоянных поисках незначительных бытовых деталей, «дошедших к нам в неизменности через столько веков и народов», вроде мальчишеского словца «подарки — не отдарки». И свое ощущение Эразм умеет передать и внушить читателю.

Приведем для примера одну пословицу целиком¹⁷.

Немые наставники. — Пословицу, которую мы только что привели («Живой голос». — С. М.), использовал и Авл Геллий и присоединил к ней другую, противоположную. «Поскольку, — продолжает он, — в живом голосе была

¹⁷ В венгерском переводе два примера приведены целиком: первая (здесь опущенная) пословица: «Кольцо Гига» (№ 96) С. 105–107. (Примечание Ж. Х.)

нехватка, я учился у немых, как говорится, наставников». Под «немыми наставниками» он понимает книги, которые беседуют с нами, как утверждает Сократ у Платона, но на сомнения наши толком ответить не могут. Прекрасно это сказано — «немые наставники». Ведь немые говорят не голосом, а знаками; вот так же и книги разговаривают с нами особыми значками и фигурами. Подобно тому, как звуки, по мнению Аристотеля, суть некие *eidola*¹⁸ чувствований души, так очертания букв правильно зовутся некими образами звуков. И не следует изумляться, если тот первый *archetypon*¹⁹ передает первоначальную картину, заключенную в груди, нагляднее, выражает страсти души вернее, чем этот второй, который подражает не вещи, но подражанию. И недаром многие стараются выяснить, что важнее для приобретения знаний, *zosei phonei chresthai*, е *tois arphonois didaskalois*, то есть чтение или слушание. И то, и другое имеет свои преимущества. Если кто учится из книг, он и учение, и знает больше. Всякий выучивает столько, сколько успевает схватить ум и удержать память. К этому прибавь, что немые наставники никогда не тягостятся подать нам свою помощь. Чем их больше, тем они проворнее. А досуг, а молчаливые размышления? Ведь всякую подробность можно рассмотреть пристальнее, можно вернуться назад, можно все взвесить еще раз. Но, с другой стороны, то, что узнаешь из уст наставника, стоит меньшего напряжения ума и глаз, меньшей потери здоровья, особенно если говорит человек, которым ты восхищаешься, которого любишь. Далее, слова учителя проникают в душу глубже, застревают крепче, на память приходят послушнее. Поэтому разумно сочетать один вид занятий с другим, и когда живой голос в достатке, больше слушать, чем читать — конечно, если сам говорящий достаточно образован. Когда же такого достатка нет, обращайся к книгам, но только к самым лучшим. Наконец, замечу, что книги названы «немыми наставниками» посредством той же фигуры,

¹⁸ Образы (*греч.*).

¹⁹ Прообраз (*греч.*).

какую употребляет Цицерон, называя законы «немыми властями», а власти — «говорящими законами», и какую пользуется Плутарх, называя поэзию «говорящей живописью», а живопись — «немою поэзией» (№ 118).

В «Адагиях» на современный вкус много непростительных пороков. Их композиция не просто случайна, но и бестолкова. Сами пословицы зачастую лишены всякого интереса или вообще не могут быть причислены к пословицам, даже если исходить из понятий и определений автора. Далеко не редкость нудные, банальные толкования, вроде следующего:

Лучше лечить вначале, чем в конце. — ...Пословица внушает, что меньше хлопот стоит устранить зло в самом начале, когда оно еще свежо, нежели потом, когда оно уже укоренилось. Детей следует удерживать от пороков, пока они еще в нежном возрасте и легко поддаются влиянию; обиды следует заглаживать немедленно, чтобы они не переросли во вражду. Надо избегать даже самого ничтожного зла, потому что малое часто полагает начало большему. Надо избегать любых поводов ко злу. (№ 140).

И пословицы, и толкования повторяются. Даже общеизвестные вещи подтверждаются обильными цитатами — совершенно средневековому. Но и за всем тем мы твердо убеждены, что сборник по-прежнему остается книгой для чтения, ценным и любопытным памятником, как историческим, так равно и литературным. Это убеждение мы считаем возможным высказать до и помимо разбора того, что считается главным украшением «Адагий», — больших публицистических эссе на темы Эразмовой современности.

Вот их названия (точнее — пословицы, для которых они служат комментарием) и темы.

«*И царем, и глупцом надо родиться*» (№ 201). О воспитании государя.

«*Взимать подать с мертвого*» (№ 812). Об алчности светских и духовных властей.

«*Торопись не спеши*» (№ 1001). О пользе этой максимы для государей; об искусстве книгопечатания.

«*Человек — что пузырь на воде*» (№ 1248). О непрочности человеческого существования; панегирик умершему Филиппу Бургундскому.

«*Спарта тебе досталась — ее и украшай*» (№ 1401). О долге государя хранить мир; воспоминания об Александре Стюарте, архиепископе Сент-Эндрусском.

«*Как бельмо на глазу*» (№ 1765). О знати и нищенствующих монахах; беспросветный мрак, царящий в мире.

«*Подвиги Геркулеса*» (№ 2001). Неблагодарность литературного труда. История создания «Адагий».

«*Силены Алкивиада*» (№ 2201). Универсальный «парадокс бытия» и его дурные последствия; как исправить пороки Церкви.

«*Навозник гонится за орлом*» (№ 2601). Сатира против хищников-государей, шутливая похвала навозному жуку; басня о борьбе навозного жука с орлом.

«*Война слайса тому, кто ее не изведal*» (№ 3001). Антивоенный памфлет.

«*И бык остался бы цел*» (№ 3401). О хороших и дурных соседях; о меценатах; о положении наук в обществе.

Обратите внимание: восемь эссе из одиннадцати открывают «сотни» (центурии) или «тысячи» (хилиады), служа как бы рубежами, достигая которых читатель делал передышку от мудрости минувших веков и обращался к злобе своего века. Именно так объясняет их роль Эразм в «*Силенах Алкивиада*»:

Но куда же забросило меня течение речи — объявил я себя паремيوграфом²⁰ и вот становлюсь проповедником! Впрочем, то, что не относится к изъяснению пословиц, относится, быть может, к исправлению жизни, и кое-что для образованности не дает ничего, но, быть может, ведет к благочестию; если это так, я не слишком сожалею о своем просчете...

Начальным источником и причиной этих «просчетов» была, по-видимому, чрезмерная легкость пера, толкающая на отступления. Подобными отступлениями пестрит вся книга, а многословие ведет к никак не оправданным и совершенно не нужным подробностям. Мы должны быть благодарны этому недостатку — без него не было бы и этих жемчужин в море бисера, — но одновременно должны смириться с чрезмерною вольностью в композиции «жемчужин». Отличный пример — последняя из них («*И бык остался бы цел*»), объединяющая чисто механически, без продуманных переходов, три разные темы. И мы смиряемся — ради поистине прекрасных страниц, украшающих не только «Пословицы», но все наследие Эразма. Мы охотно принимаем его оправдание, когда, заключая «Навозника», он сообщает, что хотел посрамить некоторых критиков, утверждающих, будто Эразм «сух и постен», и видящих достоинство сочинения в необъятных размерах. Пусть они убедятся, каким пространным и полнословным может быть Эразм, если захочет. И правда, «Навозник» — одна из вершин Эразма-стилиста. В нем три части, не сходных одна с другою по жанру, зато каждая — в своем роде шедевр. К сожалению, нельзя продемонстрировать последнюю, и самую лучшую, — тут нужен не пересказ, а полный перевод. Но сравнение государей с орлами попробуем пересказать.

Орел — по праву эмблема и символ власти, начиная с языческих времен: поэты рассудили верно, что ни одно из пернатых

²⁰ Собирателем пословиц (греч.).

не могло бы более точно изобразить нравы и жизнь государя. «Только орлы среди всех птиц не знают ни правил, ни законов, только орла не приручишь никакими средствами — так они яростны и своевольны от природы». Кривой клюв и когти с первого взгляда дают понять, что «это хищник, враг покоя и мира, рожденный для битв и опустошительных грабежей». Жадные и бесстыдные глаза, грозный зев, суровый, всегда насупленный взгляд — разве не царственное обличье? А голос? Неблагозвучный, страшный клекот, приводящий в ужас все живое. Как прекрасны и разнообразны голоса певчих птиц, а надо всеми берет верх этот скрипучий, противный орлиный клекот: слышав его, трепещет чернь, съеживается сенат, рабски прислуживает знать, повинуются судьи, умолкают богословы, уступают законы; перед ним все бессильно — и благочестие, и справедливость, и человечность...

Орел не терпит рядом с собою других хищников, потому что ему всегда мало простора для грабежей. Правда, себе подобных он щадит — в отличие от государей. Он удивительно зорок, зато у государя много глаз — это его соглядатаи. И когтей и клювов у государя тоже много — это его чиновники. А утроб и вовсе без числа — это его прихлебатели. Орел хитер и коварен, но, если вспомнить, сколько коварных уловок у государей, он недостоин звания «царя птиц». Орел враждует со многими пернатыми, в том числе с лебедем, птицею поэтов (и не удивительно — поэты всегда не в ладу с дурными монархами), вернее сказать — он враг всем, и все ему враги. «Итак, орел никого не любит и сам не пользуется любовью ни единого живого существа, совершенно так же, как дурные государи, которые властвуют лишь себе на пользу, государству же — в великий ущерб». Но орлы не пьянствуют и не распутничают, а у государей похоть еще гнуснее страсти к грабежу.

Итак, среди такого множества птиц... образ государя являет собою лишь орел — некрасивый, непевчий,

несъедобный, но хищник, грабитель, разбойник, воинственный, одинокий, всем ненавистный, всеобщий бич, который способен причинить бездну вреда, но желал бы причинить еще более того, что способен.

А пышные титулы государей, что это, как не сплошной обман? Они требуют,

чтобы их именовали Божественными, а они и людьми едва ли вправе зваться; Непобедимыми, а они бегут с позором из любого сражения... Тишайшими, а они возмущают целый мир военными бурями и безумными мятежами; Просвещеннейшими, а они погрязают в глубочайшем мраке невежества; Католическими, а они обращены духом к чему угодно, только не ко Христу.

Что же касается похвального слова навозному жуку, то оно не уступает лучшим образцам шутливого красноречия, начинающегося Лукиановой «Похвалою мухе», и заслуживает стоять рядом с «Похвалою Глупости».

По необходимости обходя стороною все прочие эссе из «Адагий» — в их числе и самые прославленные, вышедшие отдельными изданиями: «Силены Алкивиада», «Война сладка тому, кто ее не изведal», «Торопись не спеши», — обратимся еще только к удивительной по силе чувства и выражения листовке-проповеди-памфлету о жесточайших бедствиях, в которые ввергли христианский мир алчные государи и знать, нищенствующие монахи и ужасы Крестьянской войны. Мы говорим о комментарии к пословице «Как бельмо на глазу».

Знатные вельможи, объявляет Эразм, нарочно портят и развращают государей, чтобы самим привольнее было бесчинствовать. Они так впились в народ, что их и клещами не оторвешь. Подобно чуме, они внедрились во все жилы государственного тела. Им мила и любезна война — под звон мечей легче грабить и наживаться. Хорошо бы всем гражданам сплотиться и свергнуть тиранию знати. Но приходится терпеть; а иначе

как бы тирания не сменилась анархией, — злом еще более губительным. Это и прежде было твердо известно по печальному опыту многих государств, и недавний бунт крестьян в Германии внушил нам, что бесчеловечность государей все же терпимее, чем анархия. Молнии грозят всем, но поражают не столь уж многих. А море, выйдя из берегов, не щадит никого...

Эразм, как мы видим, сознает, что мятеж угнетенных спровоцирован бесчеловечностью угнетателей, и все же ярость восставших («анархия») для него страшнее любой тирании. Такое отношение к Крестьянской войне характерно для всех, за редчайшими исключениями, гуманистов, вне зависимости от их религиозных и политических убеждений.

Но что растленная знать для государства, то же для церкви нищенствующие монахи, не все, разумеется, но худшие из них, а худших всегда намного больше, чем лучших. Они теперь повсюду, без них и шагу не ступишь. Они и на проповеднической кафедре, и у алтаря, и в школах, они и священников поставляют. «С суровостью, более чем цензорской, они изрекают суждения о вере: тот христианин, тот полухристианин, тот еретик, тот полуторный еретик». Им исповедуется народ, без них не заключаются договоры между государями, без них не совершаются браки, они председательствуют на пирах и игрищах. Даже умереть без них невозможно!.. В любых беспорядках и распрях они первые участники. Они отстранили и оттерли и священников, и епископов — и обирают народ; они не пастыри, они разбойники. А народ, обманутый благочестивою внешностью, чтит своих грабителей. От них нет ни защиты, ни убежища, они заполонили весь мир, и уже не государи, ни папа не в состоянии их обуздать.

Что же выходит? Толпы нечестивых и праздных монахов бременят землю, государи чинят насилия над народом,

епископы — над паствою, народ — над пастырем, чистота и свобода христианской религии понемногу сползает в новый иудаизм. И если трудно решить, какое из бедствий для государства тяжелее, взаимное согласие государей или их раздор (потому что воюют ли они — это в ущерб народу, заключают ли дружбу — их сговор смертельная угроза для общего блага), то неизвестно, чего больше желать, или, вернее, чего меньше страшиться — единоплеменные ли среди монахов или распри, ибо и то и другое — для всех бед.

Мы надеемся, что смогли дать читателю хотя бы некоторое представление об «Адагиях» и что теперь он поверит нам, когда мы скажем: эта книга не уступает «Разговорам» ни обилием литературных форм, ни широтою и разнообразием идей, которые она вместила, это еще одна Эразмова «сумма».

Третий том Лейденского собрания отведен письмам: так задумал Эразм, намечая план собрания своих сочинений. Ранние письма он просил опустить как несерьезные, а посвященные предисловия, имеющие форму письма, желал бы видеть включенными в этот том.

Том очень велик и потому разбит на два полутома (части). Кроме основного раздела, состоящего из 1299 писем Эразма и к Эразму, расположенных в хронологическом порядке, есть два приложения; в первом объединены письма, датировка которых сомнительна или заведомо неверна (385 писем), во втором — недатированные (131 письмо); всего 1815 писем. Считанные письма корреспондентов адресованы не Эразму, а другим лицам, например письмо Томаса Мора Мартину Дорпу от 21 октября 1515 года в защиту «Похвалы Глупости».

В первой половине нашего века было предпринято полное издание писем Эразма в одиннадцати томах: «Собрание писем Дез. Эразма Роттердамского, заново пересмотренное и допол-

ненное П.-С. Алленом». Первый том вышел в 1906 году, последний в 1947. Годом позже появился том XII — указатели ко всему изданию. Общее число писем в собрании Аллена — № 3141, то есть почти вдвое больше, чем в третьем томе Лейденского издания.

Эпистолярное наследие Эразма громадно, хотя сохранилось далеко не полностью. Еще в 1523 году в письме к констанцскому канонику и близкому своему другу Иоганну Ботцхейму (ок. 1480–1535) (это как бы каталог сочинений Эразма, им самим составленный), он замечал: «Писем мы написали столько и столько пишем ежедневно, что и на двух возах, пожалуй, не увезти. Многие я сам сжег, когда они случайно попадали мне в руки.» Тем не менее он сам более десяти раз издавал свою переписку, включая все новые письма, и эти сборники пользовались на книжном рынке небывалым спросом. И без малого два столетия спустя издатель Лейденского собрания пишет в предисловии к третьему тому: «Среди трудов Дезидерия Эразма нет ничего известнее, ничего приятнее для ученого читателя, нежели том писем». Даже у современных исследователей можно встретить суждение, что для нас лучшая часть Эразмова наследия — это письма.

В XVI веке — как, впрочем, и ранее, еще в античности, и позже, вплоть до конца прошлого столетия, — писание писем было искусством. Мы знаем, что Эразм не только владел этим искусством, но и обучал ему; первые главы книги «Как писать письма», посвящены жанру письма в целом. Обязательных, нормативных, формальных примет, утверждал Эразм, письмо не имеет. Некоторые держатся мнения, будто письмо должно быть нарочито неотделанным, небрежным. Неверно, письмо должно отвечать своему предмету, а предметов — без числа: нельзя писать государю так же, как пишешь близкому приятелю. В письме должны найти отражения характеры как автора, так и адресата. В этих предварительных замечаниях две типично эразмианские, уже знакомые нам черты: уход от резко

прочерченных границ и выведение на первый план личного начала, практически делающие бессмысленным любой шаблон. Далее Эразм высказывается еще определеннее, отрицая возможность установить твердую классификацию писем по содержанию, ибо они вмещают всю пестроту окружающей нас жизни и весь круг наших чувств и интересов.

В них мы радуемся, горюем, надеемся, страшимся. В них гневаемся, требуем ответа, льстим, жалуемся, бранимся, объявляем войну, примиряемся, утешаем, советуем, запугиваем, угрожаем, поощряем, сдерживаем, рассказываем, описываем, хвалим, порицаем. В них ненавидим, любим, дивимся, размышляем, уговариваемся, сотрапезничаем, болтаем вздор, даже грезим наяву и чем еще только не занимаемся! Им, словно самым преданным слугам, мы поверяем все движения души, поверяем дела общественные, частные и домашние.

Такая широта взгляда в соединении с необычайной легкостью пера позволила Эразму создать совсем новую для своего века литературную форму. Письма гуманистов — образцовые сочинения, «изготовленные» в расчете на публикацию и ради нее. Сама небрежность в них — результат искусства и расчета. Эразм тоже пишет не только тому, чье имя стоит в заголовке письма, он тоже сам собирает и издает свои письма, правит их, прежде чем отдать в печать. Но и со всеми изменениями они сохраняют свою естественность и непринужденность живой беседы, кажутся напечатанными в том виде, в каком были написаны первоначально.

Эразм Роттердамский Уильяму Маунтджою.

Здравствуй, добрейший Меценат! Два дня пробыл я у аббата; время провели очень весело. Он отпустил нас не с пустыми руками и любезно обещал тысячу разных благ. Одним словом, все было прекрасно, как вдруг судьба

меня сокрушила и разом внушила, что никакому успеху и благополучию доверяться нельзя. Я только успел выехать с постоянного двора, что примерно на полпути между Руселаре и Гентом, когда мой конь увидел разостланные на земле полотна и испугался; я наклонился и хотел что-то сказать слуге, а конь, снова испугавшись, рванулся в противоположную сторону и так растянул мне поясницу, что я не мог сдержать отчаянного крика, которым и засвидетельствовал свою нестерпимую муку. Пытаюсь спешиться — не могу; слуга снимает меня с седла, принявши на руки; боль такая, что никакими словами не описать, особенно — если пытаюсь согнуть спину. Когда стою прямо, не так больно, но сам распрямиться не могу. А дело происходит в местах совсем диких: кроме постоянного двора, холодного как лед и без малейших удобств, поблизости ничего, до Гента — добрых шесть миль, да еще каких миль, деревенских! Я чувствую, что на ходу мне становится легче, но путь такой долгий, что и здоровому пешком не одолеть.

Можешь себе представить, в каком состоянии духа я был!

Приношу обет святому Павлу, что закончу комментарии к «Посланию к римлянам», если удастся спастись от опасности. Немного спустя я вынужден попытаться, не смогу ли сесть на коня, впрочем — без всякой уже надежды. Но, к своему изумлению, сажусь, еду потихоньку, терплю; велю слуге пустить чуть шибче — терплю, хотя и не без труда. Приезжаю в Гент, спешиваюсь, вхожу в спальню; тут-то вся боль и вышла наружу!.. Стоять совсем не могу: меня крепко держат с обеих сторон под руки, а чуть встану на ноги сам — боль невероятная! И сидеть не могу. Лежу пластом. Зову врача и аптекаря. Доведен до того, что уже ни о чем, кроме смерти, и не помышляю.

Утром надо опорожнить желудок; потихоньку пытаюсь подняться с постели; поднимаюсь, стою, двигаюсь, сижу — и все без чужой помощи. Благодарю бога и апостола Павла. Но боль еще чувствуется, особенно — когда наклоняюсь. Вот я и задержался на несколько дней в Генте: и друзья не отпускали, и болезнь тоже. Да и сейчас

я еще не совсем здоров. Что бы это ни было, а случай не совсем обыкновенный...

Нельзя не увидеть в Эразмовой эпистолографии прямого продолжения Цицероновой традиции. (Обширная переписка Цицерона бесконечно разнообразна тематически, очень непосредственна по тону, обыденна по слогу.) Но для нас важно не это. Главное для нас — литературность в новом по тогдашним временам аспекте: не образцы элегантного слога или ученичества, но занимательное чтение, разнообразное, то серьезное, то смешное, а то и совсем пустячное по теме, но всегда увлекательное, потому что все ярко, выпукло, все — если обратиться к терминологии театрального зрелища — точно и умело мизансценировано.

Не только по исполинскому объему, но и по изобилию сюжетов, идей и художественных приемов письма Эразма должны служить предметом особой работы. В письмах заключен весь его мир, все идеи, развитые и развернутые (а иной раз, напротив, изложенные сжато, конспективно) в различных сочинениях, все события его жизни. В своей совокупности эпистолярное наследие Эразма — полнейшая из его «сумм».

Особый интерес представляют те письма, которые, по сути, никакой информационной нагрузки в чисто личном плане не несут, но исполняют сугубо литературную функцию. К их числу принадлежит письмо от ноября 1499 года из Оксфорда с рассказом об обеде у Джона Колета. Сперва перечисляются участники застолья, каждый — с хвалебную, несколько выпяченную характеристикой. За столом возникает спор, или, вернее, дискуссия о Каиновом грехе — в чем именно он состоял. Над всеми верх одерживает хозяин, и по заслугам, по справедливости, и тем не менее атмосфера сгущается, гости раздосадованы, и тогда берет слово Эразм, «по праву поэта», чтобы всех порадовать «забавною побасенкой».

Однажды, — начинает он, — натолкнулся я на очень древнюю рукопись. И заголовок, и имя автора были стерты временем и съедены червями, вечными ненавистниками наук и искусств. Во всей книге лишь одна страница осталась нетронута плесенью, червями и мышами, я полагаю — заботою Муз, которые хранят свое достоинство. Там я, помнится, прочитал рассказ, правдивый или, во всяком случае, очень правдоподобный, а главное — как раз о том, что послужило предметом ваших разногласий. Если угодно, я вам его перескажу...

Этот Каин был человек насколько трудолюбивый, настолько ж алчный и ненасытный. Он часто слышал от родителей, что в саду, откуда их изгнали, сами собою росли необыкновенные хлеба — с исполинскими колосьями, громадными зернами, стеблями вышиною с нашу ольху; и никогда не родились меж них ни плевелы, ни тернии, ни волчцы. Эти слова он твердо запомнил, а так как почва, которую он терзал своим плугом, урожай приносила скупой и ничтожный, к трудолюбию Каин присовокупил хитрость. Является он к ангелу, караулящему рай, и хитрыми подходами, щедрыми посулами сбивает его с пути, чтобы тот тайком принес ему хоть несколько зернышек...

«Бог, — убеждал ангела Каин, — уже и думать об этом забыл, а если, паче чаяния, и узнает, тебе ничего не будет: кража-то ничтожная, главное — не касаться тех единственных плодов, на которые бог наложил запрет. Послушайся меня, не будь слишком бдительным. Что, если богу и негодна эта чрезмерная старательность? Что, если он даже хочет, чтобы ты отступился, что, если сноровистое трудолюбие людей порадует его больше, чем вялая праздность? Или же тебе очень нравится твое занятие? Из ангела бог сделал тебя палачом, чтобы ты нас, жалких страдальцев, не подпускал к родным пределам. Он дал тебе в руку меч и привязал к дверям, а мы для этой цели недавно приспособили собак. Конечно, наше положение самое жалкое, но и твое, мне кажется, совсем не блестящее. Мы лишились рая за то, что вкусили от чересчур сладкого плода. А ты, чтобы закрыть нам

дорогу сюда, лишился и неба, и рая разом, и тем большей заслуживаешь жалости, что нам хотя бы не возбраняется бродить с места на место, куда душа пожелает. Да и нынешние наши места, где мы коротаем свое изгнание, убраны в зелень рощ... повсюду ручьи сбегают со склонов, бьют из скал, реки светлыми водами омывают густо заросшие берега, горы исчезают в облаках, долины дышат прохладой, в морях несметные богатства. Не сомневаюсь, что немало добра скрывает и земля в потаенных своих недрах; чтобы до него добраться, я обшарю все жилы земли, а если мне не достанет века, внуки завершат начатое. Есть и у нас золотые яблоки, есть налитые соком смоквы, есть всевозможные виды плодов. И так густо рождаются они повсюду сами собою, что мы не очень бы тосковали по раю, если бы могли и здесь жить вечно. Нам угрожают болезни, но и от них найдет защиту человеческое трудолюбие... Так взамен одного садика мы получили целый мир, а ты изгнан отовсюду, нет тебе места ни в раю, ни в небесах, ни на земле, ты навсегда прикован к этим воротам и знай только машешь мечом — с ветром, конечно, сражаешься, больше ведь и не с кем. Право, послушай, помоги и себе, и нам!.. Несчастный сам, будь благосклонен к несчастным, изгнанник — к изгнанникам...»

Так, худший из людей, но лучший из ораторов, он выиграл эту злополучную тяжбу. Горсточку украдкой взятых зерен он бережно посеял; взошли они и выросли не без прибýtка, прибýtок был опять доверен лону земли, и так снова и снова, еще и еще раз. Немного лет миновало, как Каин уже занял этим посевом необъятное поле. Когда же все вышло наружу и дольше укрываться от небесных очей не могло, бог сильно разгневался. «Сколько я понимаю, — заметил он, — вору помогают труд и пот. Что ж, я их ему умножу, не скупясь!» И с этими словами напустил на ниву отовсюду густое полчище муравьев, жуков, жаб, гусениц, мышей, саранчи, свиной, птиц и прочих подобных напастей, и они потравили весь посев, отчасти еще скрытый в земле, отчасти зеленоющий, отчасти уже пожелтевший, отчасти сложенный

в житницу. К этому прибавился неистовый ураган; град и ветер ломили с такою силой, что стебли, крепостью равные дубам, ломались, как сухие соломинки. Ангелакараульного сменили и за то, что мирволил людям, заключили в человеческое тело. А Каин, пытаясь умиловить бога хлебным всесожжением и видя, как дым стелется понизу, окончательно убедился в божием гневе и отчаялся.

Что особенно любопытно в «побасенке» — это мотив богоборчества, очень похожий на тот, что звучит в мифе о Прометее. Типично по-эразмовски, богоборческая речь вложена в уста нечестивому Каину, но в этом любовании красотой мира, мощью и талантом человека так много ренессансного оптимизма, и тоже весьма типичного, что нельзя не заподозрить автора в еретическом сочувствии нечестивцу. А так как теперь такое подзрение ему уже ничем не угрожает, мы скажем больше: притча о Каине — одно из самых дерзких и вольнодумных писаний Эразма, несравненно более дерзкое, чем «Похвала Глупости».

Той же, неинформативной в прямом смысле слова цели служат столь редкие у Эразма пейзажи:

Юнона, всегда враждебная поэтам, вышла на битву и выслала против нас Эола; но не только ветром обрушилась она на нас, а всеми видами оружия — лютым холодом, снегом, градом, дождями, ливнями, облаками... В первую ночь, после долгого дождя, внезапно ударил жестокий мороз и сковал дорогу какими-то почти что неодолимыми буграми и ямами; потом повалил снег, и напало его без конца, потом пошел град и наконец дождь, который, едва касаясь земли или кроны дерева, тут же замерзал и обращался в лед. Повсюду почва покрылась ледяной коркою, но не ровной, а усыпанной острыми, как пила, зубьями. Повсюду деревья оделись в лед и согнулись под тяжестью, так что одни склонялись вершиною до самой земли, другие стояли с обломившимися сучьями, третьи сломались посередине ствола, четвертые

были вывернуты с корнем. Один тамошний старик клялся нам, что никогда за всю жизнь не видывал ничего подобного». (№ 88 по изданию Аллена)

Чрезвычайно ценны и литературно и исторически рассеянные по письмам портреты современников, и не только таких прославленных современников, как Томас Мор, Уильям Уорхэм, Иоганн Фробен, не только такие подробные, как портрет Мора в трех дополняющих друг друга письмах (№№ 999, 1233 и 2750 по изданию Аллена), но и моментальные зарисовки случайных знакомцев, давно и безнадежно канувших в Лету.

Знаменитое эссе «Война сладка тому, кто ее не изведал» появилось впервые во фробеновском издании «Адагий» 1515 года. Но все оно, точно в зародыше, содержится в письме к аббату Антонию Бергенскому от 14 марта 1514 года.

Первою пробой сил Эразма в богословии было «Рассуждение о тоске, страхе и скорби Иисуса перед крестною казнью и о словах, которыми он, по-видимому, молил об избавлении от смерти: «Отче, о если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня!» (№ 1504). Оно родилось из дискуссии с Колетом в Оксфорде осенью 1499 года, сперва устной, а после облекшейся в форму обмена письмами. Именно письмо впервые возвещает рождение Эразмова богословия, гуманистического и человеческого.

Почему Христос боялся смерти? Не было ли это нарушением воли бога-отца? Нет, отвечает Эразм. Став человеком, Христос,

ради людей и среди людей изъясняясь человеческим языком, выразил человеческую боязнь, и воля его в тот миг была не чем иным, как естественным ужасом перед смертью, который природа заложила в нас так глубоко, что испытывать страх, когда смерть перед глазами, не менее естественно, чем испытывать голод, когда у нас

отобрали пищу... Таким образом, можно страшиться смерти даже тогда, когда умираешь вполне добровольно.

Более того, Христос безмерно радовался своей смерти, потому что она несла спасение всему роду смертных, но радовался божественною частью души, человеческою же — скорбел, и два эти чувства не ослабляли друг друга.

Но отчего же только страх и скорбь он обнаружил, а радость — нет?

Не в том была цель Христа, чтобы явить нам образец мужества... Пример человечности, кротости, долготерпения, покорности — вот что он нам явил... Припомни еще раз всю жизнь Христа с колыбели. Поступков кротких и покорных ты найдешь много, бодрого воодушевления не найдешь вовсе...

Только таким образом мы способны поверить, что Спаситель, принявший смерть ради нас, был истинно человек, а как раз этого и желал Христос. И еще: не столько желал он изумления и восхищения, сколько любви, «мы же дивимся храбрости, но любим кротость и слабость». Бодрость духа в предсмертный час он дал в удел своим святым, то есть великим героям веры, ибо подражать героям может не всякий, а следовать примеру Христа обязан любой христианин.

Эразм отстаивает традиционную и ортодоксальную точку зрения, и вполне вероятно, что богослов сочтет его аргументацию банальной (хотя Колет, не соглашаясь с Эразмом по существу, признавал за ним «цепкую память, всепроникающую остроту ума, слог, достойный философа»). Но для нас важна не оригинальность доводов, а та настойчивость, с которою он упирает на человеческую природу бога, приближающую его к людям, ко всякому человеку, всякого звания и состояния.

Что касается композиционных приемов, применяемых в письмах, то мы отметим лишь один, который повторяется,

пожалуй, чаще других: от шутового зачина к серьезному продолжению. Сама шутка в зачине весьма многообразна, нестандартна; это может быть и притворная брань, и мнимое изумление, и «дурацкие» советы, и то, что сегодня зовется «розыгрышем»... Но в шутке постоянно скрыто зерно серьезности, которое и позволяет перекинуть мосток ко второй части письма.

И еще две особенности эпистолярного стиля Эразма хотелось бы если и не показать по-настоящему, то хотя бы обратить на них внимание читателя. Он с величайшим проворством подхватывает брошенный намек, принимает его в качестве темы и строит обильные вариации. Колет пишет ему: «Для такой битвы (разумеется, для словесной битвы, для спора. — С. М.) у нас нет ни досуга, ни сил. Все же мы попытаемся взломать первую боевую линию. ...» Эразм подхватывает военную метафору и развертывает ее на целую страницу:

Мы с тобою не сходимся в поединке на равных, так, как полководец с полководцем, — я просто упражняюсь у тебя на глазах, как новобранец, и жду твоего суждения и приговора... Ты не ударил во фронт моему войску, но перехватил засадою какого-то безоружного солдатика, а еще вернее — маркитанта, беспечно отбившегося от главных сил... Я хотел, чтобы наша битва была совершенно бескровной... и чтобы ни Иероним, ни кто другой ранен не был (Колет ссылается на авторитет святого Иеронима. — С. М.). Ты воображаешь, будто привел в расстройство оба фланга и уже громишь средину строя, а между тем едва добрался до передового охранения. (№ 111 по изданию Аллена)

Здесь взято «общее место» средневекового красноречия и использовано успешно, хотя и неоригинально. Но Эразм умел оживлять «общие места», так же как он оживлял и освежал истертые, заштампованные образы. В октябре 1511 года он пишет из Кембриджа Колету о своей нужде и о том, как тяжело просить даже у близких друзей. Колет предложил ему денег —

Эразм благодарен, но его смущает форма, в которой это предложение было сделано: «Если будешь протягивать руку со смирением» — написал ему Колет.

Быть может, ты имеешь в виду, — отвечает Эразм, — что мы не желаем смиряться со своею участью и что это всё от гордыни человеческой. Тогда ты прав... Но если «со смирением» означает у тебя «униженно, по-рабски», ты совершенно расходишься с Сенекою, который полагал, что нет платы дороже, нежели просьба, и что не исполняет дружеского долга тот, кто дожидается от друга смиренного словца «прошу...

Кто дает после этого слова, говорит Сенека, дает слишком поздно. А кто-то еще, когда друг болел и нуждался, но из застенчивости скрывал и нужду, и болезнь, подсунил деньги ему под подушку, пока тот спал. Юношей, читая эту историю, я чудо как сочувствовал скромности одного и восхищался прямодушием другого.

Но есть ли кто беззастенчивее или униженнее меня, уже давно побирающегося в Англии? У архиепископа я взял столько, что братъ еще было бы величайшею наглостью, даже если бы он давал. У N я просил довольно бойко, но он, получивши бесстыдную просьбу, без стыда и отказал. Даже наш Линэсер заподозрил меня в нескромности: зная, что я уезжаю из Лондона едва с шестью нобилиями в кошельке, а здоровье мое совсем расстроено, да еще и зима на носу, он, однако же, настоятельно советовал мне не тревожить ни архиепископа, ни господин Маунтджоя, а вместо того умерить свои потребности и привыкнуть мужественно переносить нищету. Дружеский совет, ничего не скажешь! Вот за что я ненавижу свою судьбу всего сильнее — она не разрешает мне ни скромности, ни застенчивости!

Четвертый том Лейденского собрания (его общий подзаголовок, идущий от Эразма, — «то, что принадлежит к наставлению в добрых нравах») открывают переводы из «Моралий» Плутарха, выполненные и напечатанные в разные годы. За ними следует обширный сборник «Апофтегмы (то есть меткие слова. — С. М.) и остроумные изречения государей, философов и различного рода лиц, выбранные как из греческих, так и из латинских авторов, с необходимыми толкованиями, открывающими соль изречения; в VIII книгах» (№ 1531). Толкования очень лаконичны и, в отличие от комментария в «Адагиях», безлики²¹.

Третье место в томе занимает «Похвала Глупости» (написана в 1509 г., первая публикация — 1511 г.).

Читателя, ищущего знакомства с Эразмом, мы представляем себе знающим «Глупость» если и не досконально, то достаточно близко. Тем не менее, важность темы заставляет нас повторить, напомнить широко известные факты.

Формально (или жанрово) «Похвала» — классический образец декламации, говоря точнее — шутовой декламации, о которой мы мельком говорили выше, в связи с эссе «Навозник гонится за орлом». Шутовое (реже — насмешливое) прославление предметов низменных или не стоящих внимания, восходящее, как уже сказано, к литературным традициям поздней античности, было любимой забавой и среди гуманистов. Новаторство Эразма заключалось в том, что он соединил старинную традицию с новой, незадолго до того родившейся: шутовой панегирик — с «глупствующей литературой» (или «литературой о глупцах»).

«Праздники дураков», на которых выворачивались наизнанку все привычные понятия и связи, где царил шут, бесстрашно обличавший и высмеивавший псевдомудрость, псевдосилу, псевдопочтенность общественных установлений, где

²¹ В венгерском переводе здесь целая страница об анекдотах Эразма о королях. С. 130. (Примечание Ж. Х.)

карнавальная разнузданность языка не щадила даже таинств христианской религии, — такие праздники были неотъемлемой принадлежностью позднего средневековья. Явлением литературы «дураков» сделал немецкий поэт Себастьян Брант (1457–1521), автор стихотворной сатиры «Корабль дураков» (1494). Несметная толпа глупцов отплывает на корабле в страну Глупландию, и автор бродит меж пассажирами этого удивительного судна и последовательно их изображает, причем обнаруживается, что глупость — корень всех без исключения пороков. Поэма Бранта, написанная по-немецки, имела неслыханный успех, переиздавалась бесконечно, была переведена на латынь и многие новые языки, вызвала поток подражаний (преимущественно в Германии). Нет сомнений, что Эразмова «Похвала» находится в прямом родстве по нисходящей линии с Брантовыми «Дураками».

Итак — соединение двух традиций. И в дополнение к ним — удачнейшая находка: похвальное слово глупости вложено в уста самой госпоже Глупости. Глупость сама себя прославляет, это не панегирик, но автопанегирик.

Восхваляя себя, госпожа Глупость доказывает свое неоспоримое превосходство перед мудростью, говорит о неисчислимых благодеяниях, которыми она осыпает род человеческий, уверяет, что без приправы глупости жизнь была бы вообще непереносима. В этих «главах»²², при всем их озорстве и острословии, достаточно отчетливо звучат серьезные ноты: гуманист Эразм не может одобрить ригористической мудрости «стойка», без пощады растоптавшего все «страсти», желающего истребить всю непосредственную радость и прелесть бытия.

После общего обзора своих достоинств и заслуг Глупость приступает к описанию своих последователей и поклонников и находит их на всех социальных ступенях, во всех профессиях,

²² Разделение «Похвалы» на главы не только не принадлежит самому Эразму, но не было известно даже издателям Лейденского собрания и появилось впервые лишь во второй половине XVIII века

искусствах, состояниях. Лишь здесь сатира становится доподлинно сатирой. «Ювеналов бич» хлещет без разбора по счастливым супругам, азартным игрокам, высокородным вельможам, грамматикам, поэтам, юристам, богословам, не щадит ни светских, ни духовных государей, ни самого папу. А затем, в заключительных «главах», Глупость заявляет притязания на самое христианскую веру и, ссылаясь на свидетельство Священного писания, доказывает, что христианская вера — сродни глупости и что высшей наградой для человека на земле, предвкушением вечного блаженства является особого рода безумие.

Как понимать этот финал? Как кощунственное издевательство над религией или же как восхваление мистического экстаза, сверхразумного, сверхмудрого слияния верующей души с божеством? Как вообще понимать «Похвалу Глупости», этого сфинкса, без устали загадывающего людям свою загадку уже четыре с половиною столетия? А люди без устали пытаются ее разгадать, и есть ответы на редкость пронизательные, убедительные, остроумные. Мы попытаемся суммировать их в самом сжатом виде, а потому — не называя имен. Вдобавок, иные из приводимых ниже суждений суть коллективная собственность изрядного числа авторов.

Глупость в «Похвале» многолика, она выступает сперва как человеческая мудрость, согласная с природою, чуждая стоического ригоризма, потом как подлинное безумие, интеллектуальная и нравственная слепота и, наконец, как мистическое отрешение от всякой земной мудрости, ведущее к высшим постижениям. Смелость и изящество, с которым движется мысль в этой философской триаде, не может не захватить читателя.

Нет, говорят другие исследователи, мистицизм чужд Эразму. Заключительная часть декламации, где христианская религия объявляется своего рода глупостью, — злая и весьма небезопасная шутка. Может быть, об атеизме говорить и нельзя, но о нетвердости в вере — должно. Эта книга — заря вольнодумства; недаром Эразма называют Вольтером XVI века.

Не только вольнодумство XVIII века он предвосхитил, дополняют трети, но и концепцию «естественного человека». Отрицая псевдомудрость наук и славя «мудрую глупость» нетронутой человеческой природы, Эразм предстает перед нами не столько вольтерянцем, сколько руссоистом.

Нет, решительно возражают четвертые, взгляните пристальнее: вся «Похвала» — это беспроглядный мрак, пессимизм, отчаяние! Все в мире нелепо, бессмысленно, тщетно, вся жизнь — не более чем пустой фарс. Великая сила «Похвалы» — в ее интеллектуальной отваге, в дерзкой решимости додумать до конца, не щадя даже самых дорогих иллюзий. Никто, кроме Эразма, на такую отвагу способен не был.

Но такой мрачный вывод противен всему мироощущению Эразма, глубоко верующего, миролюбца, христианского гуманиста, — сомневаются пятые. Это сатира, она бичевала и продолжает бичевать дурные нравы, которые за четыре с половиною века если и переменились, то едва ли к лучшему.

Шестые соглашаются с ними, но главную ценность Эразмовой сатиры усматривают не в назидательной ее стороне, а в изобразительной. Бессмертие «Похвалы», утверждают они, в сатирически-бытовых зарисовках.

Навряд ли детали быта, даже зарисованные самым острым пером, способны подарить бессмертие. Все дело, предполагают седьмые, по-видимому, в соразмерности, в изяществе пропорций: ведь в «Похвале» — вся жизнь человеческая, во всех измерениях, сторонах и перспективах, и со всем тем какая стройность, легкость, обозримость! Чтобы яснее увидеть достоинства «Похвалы», сопоставьте ее с романом Рабле.

Каждая из этих точек зрения объясняет какую-то из сторон «Похвалы», и взаимная их противоречивость — только видимость: все вместе они объясняют знаменитую сатиру лучше, чем каждая по отдельности. Ибо как многолика Глупость, так многолика и ее похвала самой себе. Дальше мы попытаемся прибавить и свой штрих к коллективному портрету, но, первым

делом, хотим подчеркнуть: для нас всего важнее не выделить «Похвалу» из общего ряда, а, наоборот, определить ее место в этом ряду. Не к исключительности «Похвалы» необходимо, на наш взгляд, привлечь внимание читателя, а к ее закономерности для творчества Эразма.

Когда Эразм изумляется успеху своей книги, в этом еще можно усмотреть неискреннюю авторскую скромность, но когда он дивится ожесточенности нападок на «Глупость», подозревать его в неискренности нет ни малейшего основания. Он защищал себя и книгу много раз, до последних лет жизни, и всякий раз в его «апологиях» сквозит изумление: что случилось? откуда такая злоба? ведь я писал то же, что всегда, — ничего иного, ничего нового.

Морией²³ мы забавлялись у Томаса Мора, только что вернувшись из Италии. Это сочинение я считал совершенно ничтожным, даже не достойным издания... но едва ли какое иное было принято с большим восторгом, особенно среди знатных и сильных. Лишь немногих монахов, да и то самых дрянных, и кое-кого из очень угрюмых и раздражительных богословов обидела вольность речей... В ту пору я задумал сразу три декламации — «Похвалу Глупости», «Похвалу Природе» и «Похвалу Благодати», но угрюмство некоторых людей заставило меня отказаться от этого плана.

Это написано в 1523 году (письмо И. Ботцхейму). В первой из «апологий» по поводу «Глупости» — письме к Мартину Дорпу (май 1515 г.), на которое мы уже ссылались в предыдущей главе, — Эразм категорически отклоняет предложение Дорпа сочинить «Похвалу Мудрости», чтобы этой «антипохвалой» утихомирить обиженных богословов. Но все остальные линии защиты все прочие доводы одинаковы и неизменны в любой

²³ Moria — глупость (греч.).

«апологии». Возьмем для примера поговорку «*Выставлять напоказ горшки*» (№ 1145). Комментарий гласит:

Это значит превозносить до небес нечто само по себе смешное и низкое. Этим забавлялись многие, кто для упражнения ума, кто ради отдыха, и ничего дурного тут нет. Забавлялись и мы много лет назад, сочинивши «Похвалу Глупости»; времени мы ей уделили не больше семи дней, причем никаких книг у нас под руками не было... Какова бы ни была эта книжонка, я вижу, что светлым умам и людям, не чуждым образования, она очень нравится: кроме веселой шутки, утверждают они, в книге немало такого, что служит исправлению человеческих нравов, и при этом лучше, чем Аристотелева этика или политика... И однако, как я слышу, есть и обиженные; впрочем, их немного, и все из числа тех, кому по душе одно варварство да пошлость, все заклятые ненавистники Муз. Вообще они поэзию терпеть не могут, но Ювенала почитывают — чтобы в своих проповедях громить пороки государей, священников, торговцев и особенно женщин, и нередко так разрисуют, что только учат похабству. Я же никого не называю по имени, кроме себя самого, и, нигде не затрагивая ненавистного болота преступлений и пороков, касаюсь скорее смешного, чем гнусного, и то слегка. Но ты порицаешь епископов, говорят мне, порицаешь богословов, порицаешь государей. Те, кто так говорит, не замечают, во-первых, как умеренно и деликатно я это делаю. Далее, они не помнят того правила, которое столько раз внушает святой Иероним: где речь идет о пороках вообще, там... никого не заносят в разряд дурных, но всех предупреждают, чтобы не были дурны. Разве что они вздумают утверждать, будто все государи мудры, все богословы совершенны, все епископы и папы таковы, каковы были некогда Павел и Мартин, все монахи и священники — Антонии и Иеронимы. Наконец они не берут в рассуждение то, что в диалогах

самое главное²⁴, — качества действующего лица, и воображают, будто говорит не Глупость, но Эразм. Словно если бы кто изобразил язычника, беседующего с христианином, он был бы не вправе вложить в уста язычнику любое высказывание, не согласное с христианским вероучением. Наконец, даже тираны терпеливо выслушивают своих дурачков-шутов и считают неучтивым обижаться на колкости дурачка; можно ли не удивляться, что эти недотроги не способны выслушать ничего от самой Глупости, точно все высказанное о пороках, как бы ни было оно высказано, относится непосредственно к ним?

В этих аргументах ни капли фальши или лицемерной изворотливости; в них есть твердость и убежденность, питающиеся сознанием верности основным принципам, исповедуемым на протяжении целой жизни. Эразм почти сожалеет о том, что уступил настояниям друзей и согласился напечатать безделку-«Глупость», — так много хлопот и ничем не оправданной ненависти она ему доставила, — но, уж если говорить по существу, ничего вредного в ней нет. Маска для действующего лица избрана, быть может, не совсем удачно, это, пожалуй, верно, но в речах госпожи Глупости только глупец или клеветник способен отыскать нечестие или губительный для нравов цинизм. Но «разве поучает, будто нет в жизни ничего серьезного, надежного и желанного, тот, кто показывает, чего следует избегать в каждом отдельном случае? Напротив, он помогает успешнее достигнуть того, чего должно желать» («Ответ Альберто Пио», 1529). Богословы усматривают кощунственную дерзость в том, что Глупость осмеивает их диспуты. Но как часто они спорят по поводу человеческих мнений и установлений, нередко нелепых и, уж во всяком случае, отвлекающих мысль от самого Христа и его учения?

²⁴ Обратите внимание: Эразм ставит знак равенства между декламацией и диалогом!

Что общего между Христом и Аристотелем? между софистическими ухищрениями и таинствами вечной мудрости? к чему эти лабиринты бесчисленных вопросов, среди которых так много праздных, так много вредных хотя бы по той причине, что они порождают раздоры? Но, возразят мне, что-то надо исследовать, что-то требует определения. Не отрицаю. Но, с другой стороны, очень многого правильнее вообще не касаться (и мудрость отчасти состоит в том, чтобы кое-чего не знать), об очень многом разумнее сомневаться, чем выносить постановления. (Письмо Дорпу)

Мы уже имели случай убедиться, что значит для Эразма подобная размытость, нечеткость, неопределенность. Это весьма характеристическая черта его мироощущения, тесно связанная с другой, быть может, еще более важной и, на наш взгляд, основной для правильного понимания «Похвалы» как одного из произведений Эразма.

Самое опасное обвинение против «Глупости» было нацелено в заключительную ее часть, где, как известно, и апостолы, и сам Христос изображаются в некотором роде глупцами, христианская вера объявлена сродною глупости, а прообразом и предвкушением вечного блаженства оказывается безумие. Защищаясь, Эразм ссылается на бесчисленные места Писания, превозносящие «немудрых и простодушных», вроде первой главы «Первого послания к коринфянам» («Не обратил ли бог мудрость мира сего в безумие?.. Благоугодно было богу юродством проповеди спасти верующих... Мы проповедуем Христа распятого — для иудеев соблазн, для эллинов безумие... Потому что немудрое божие премудрее человеков...» — стихи 20–25), усматривая в них, помимо прямого смысла (противопоставление мудрости мирской и божественной), еще и некую аллегорию. В письме к Дорпу этот раздел аргументации заключается таким замечанием: «В «Хилиадах пословиц...» мы назвали апостолов силенами, более того, о самом Христе сказали, что он силен. Что может быть невыносимее, если бы вдруг явился

слишком строгий истолкователь и в трех словах обернул бы все в худшую сторону! Но пусть прочтает написанное мною человек благочестивый и справедливый — он непременно одобрит аллегория». Если мы обратимся к пословице «*Силены Алкивиада*», то увидим, что упоминание, сделанное как будто ненароком, дает нам нечто несравненно более важное, чем ключик к аллегориям госпожи Глупости.

Вначале Эразм объясняет происхождение пословицы. У Платона в диалоге «Пир» пьяный Алкивиад сравнивает своего учителя Сократа с полыми статуэтками, изображавшими безобразного и обрюзгшего старика Силена, постоянного спутника и воспитателя бога Диониса; внутри таких статуэток хранились драгоценные изваяния небожителей. Так и Сократ: в неприглядной и смешной телесной оболочке заключена возвышенная душа и божественная мудрость. И не только под покровом безобразия скрывалась его мудрость, но также под покровом острых и насмешливых слов — совершенно, как у шута. «И хотя в те времена всё было²⁵ полно мудрецов, вполне справедливо, что лишь этот шут был объявлен мудрым в ответе оракула»²⁶. Такими же силенами были Христос, апостолы и ветхозаветные пророки: бедные и слабосильные, изрекавшие какие-то непонятные, нелепые истины, они были шутами в глазах мира сего, который не мог угадать истинного величия под неказистою наружностью.

Но бывают и силены наизуворот — снаружи прекрасные и величественные, а изнутри безобразные и ничтожные, и таких ныне огромное большинство. Дальше всего от мудрости тот, кто украшен знаками мудрости — докторским титулом, шапочкою и

²⁵ В нелегальных публикациях пропущены следующие 2 страницы. — (Примечание Ж. Х.)

²⁶ Эразм имеет в виду приведенный в Платоновой «Апологии Сократа» рассказ о том, как один приятель Сократа обратился к Дельфийскому оракулу с вопросом, есть ли на свете человек мудрее Сократа, и пифия ответила: «Нет».

кольцом. Ни в ком нет меньше благородства, чем в надутых вельможах, лопающихся от чванства и гордыни, меньше храбрости, чем в свирепых насильниках, которых все боятся. Нет никого беднее, чем знаменитые на весь мир богачи, никого несчастнее тех, кого целый свет считает небывалыми счастливыми.

Это всеобщий закон, он правит не только отдельными людьми, но и обществом и природою. Все самое лучшее и великое либо скрыто от наших чувств, либо внешне ничтожно. Ничтожно семя, но в нем начало могучего дерева. В любой вещи материя видима и осязаема, а благодетельная сила формы ощутима лишь косвенно. Как много мы знаем о теле и как мало о душе, а о боге так, пожалуй, и вовсе ничего не знаем.

Когда видишь скипетр, трон, свиту, когда слышишь титулы «Тишайший», «Милосерднейший», «Славнейший», не преклоняешься ли ты перед государем, как перед неким земным божеством?.. Но открой силена навыворот — и ты найдешь тирана, нередко врага граждан, ненавистника общего согласия, мастера сеять раздоры, угнетателя честных, губителя законов, разрушителя городов, грабителя Церкви, разбойника, святотатца, кровосмесителя, игрока...

То же и в Церкви: и здесь все силены, и силены навыворот. Вот, положим, таинства: «Ты видишь воду, соль, видишь елей, слышишь звук голоса, небесной же силы не слышишь и не видишь, а без нее все в природе пустая игрушка». А Святое Писание? Ветхий завет на поверхностный взгляд — не более, чем собрание басен, которые ничуть не правдоподобнее и не чище Гомеровых небылиц. Вспомните хотя бы об Адаме, вылепленном из грязи, о пьянице Лоте, который спит со своими дочерьми, о злключениях Самсона, о немощном Давиде, которого грела в постели девица Ависага Сунамитянка... И Новый завет ничуть не лучше: простодушие евангельских притч

граничит с прямой глупостью. Но разбей орех, очисти ядро от скорлупы — и...

А с другой стороны:

Есть люди, перед которыми ты готов благоговеть, глядя на их выбритые макушки; но загляни внутрь силена — и ты увидишь не священника, но вдвойне мирянина. Найдутся, пожалуй, и епископы, которых ты сочтешь небесными существами, если окажешься свидетелем торжественного посвящения в сан, если увидишь убор нового архиерея — митру, сияющую самоцветами и золотом, и посох такой же драгоценный, коротко говоря, весь мистический доспех «от шпор до гребня шлема». Но опрокинь силена: ты убедишься, что пышные знаки отличия — всего лишь комедия, потому что внутри не сыщешь никого, кроме воина, купца или даже тирана. Есть люди (и боже мой! когда бы их было не так много!), о которых, — ежели судить по дремучей бороде, по бледности, по кашюшону, понуренной голове, поясу, насупленным бровям, мрачному лицу, — ты скажешь: это Павлы и Серапионы (т. е. образцовые монахи. — С. М.). Но раскрой силена — и ты обнаружишь пустомель, кутил, шарлатанов, развратников, даже грабителей и тиранов....

Впрочем, редко кто раскрывает силена, а потому внешнее для нас дороже внутреннего, духовного. Превратной шкале ценностей отвечают превратные суждения и ложные имена вещей. Если зло одолевается злом, если за обиду мы мстим стократною обидой, это зовется справедливостью. Оскорбить герб государя — тягчайшее преступление, а растлить и искалечить его душу, утвердив на месте доброты жестокость, на месте мудрости коварство, — значит достойно воспитать будущего властителя. Церковью именуют клириков — священников, епископов, пап, — а на самом деле клирики — слуги Церкви, Церковь же — весь христианский люд. Кто обокрал священника, того называют врагом Церкви и разят перуном отлучения. Не спорим, но может ли быть у Церкви враг опаснее и злее, чем нечестивый

папа? Если кто урежет доходы священников, все кричат о гонениях на Церковь Христову, но когда священники нагло выставляют напоказ свои пороки и тем губят души христиан, участь Церкви никто не оплакивает. Блестящей и торжествующей Церковь зовут не за торжество благочестия, а за то, что блещут драгоценностями алтари, а служители бога разодеты в пурпур и шелк, как сатрапы.

Украсть что бы то ни было из храма — смертный грех, но обманывать, угнетать и грабить бедняков и вдов, живые храмы божии, — проступок, по общему мнению, ничтожный... Нечестивец, кто осквернил святые стены храма дракою или пролитием семени, но мы не проклинаем, не отлучаем от церкви того, кто лестью, подарками, лживыми посулами растлеывает, губит, оскверняет чистую и невинную девушку, храм Духа святого.

Куда ж падать ниже, если мы даже разучились называть вещи своими именами?

Перед нами очевидный аналог «Похвале Глупости» и по материалу, и, отчасти, по композиции, и, что важнее всего, по ведущей идее. Эту идею мы выше — перечисляя большие эссе в «Адагиях» — условно обозначили как «парадокс бытия» ; она уходит в глубь Эразмова богословия, в самую его сердцевину — в учение о Христе (оно-то как раз и излагается в заключительных «главах» «Глупости»). Мы еще должны будем возвратиться к нему в следующей главе, а здесь подчеркнем только универсальную значимость «парадокса» и его, по сути вещей, глубоко диалектическое содержание. Именно с этой диалектичностью, заложенной в «парадоксе бытия», сопряжено недоверие Эразма к твердым правилам и резким рубежам и отвращение ко всяческим крайностям. Лишь чувство меры хранит от непоправимых искажений, от переходов добра во зло. («Ничего сверх меры» — один из любимейших, если не самый любимый афоризм Эразма.) Мы позволим себе процитировать то место из

«Похвалы», где Эразм говорит почти что в открытую, почти что совершенно всерьез.

Прежде всего, не подлежит сомнению, что любая вещь имеет два лица, подобно Алкивиадовым силанам, и лица эти отнюдь не схожи одно с другим. Снаружи как будто смерть, а загляни внутрь — увидишь жизнь, и наоборот, под жизнью скрывается смерть, под красотой — безобразие, под изобилием — жалкая бедность, под позором — слава, под ученостью — невежество, под мощью — убожество, под благородством — низость, под весельем — печаль, под преуспеянием — неудача, под дружбой — вражда, под пользой — вред, коротко говоря, сорвав маску с силена, увидишь как раз обратное тому, что рисовалось с первого взгляда... Кого, как не короля, считать богатым и могучим? Но если он не имеет в душе своей ничего доброго, если вечно он ненасытен, то остается беднейшим из бедняков. А если к тому же в душе он привержен многим порокам, он уже не только нищий, но и презренный раб...

«К чему, однако, все это?» — быть может, спросит кто-либо из вас. Сейчас услышите, куда я клоню. Если бы кто-нибудь сорвал на сцене маски с актеров, играющих комедию, и показал зрителям их настоящие лица, разве не расстроил бы он всего представления и разве не прогнали бы его из театра камнями, как юродивого? Ведь все кругом мгновенно приняло бы новое обличье, так что женщина вдруг оказалась бы мужчиной, юноша — старцем, царь — жалким оборвышем, бог — ничтожным смертным... Но и вся жизнь человеческая есть не что иное, как некая комедия, в которой люди, нацепив личины, играют каждый свою роль... В театре все оттенено более резко, но, в сущности, там играют совершенно так же, как в жизни. Что, ежели теперь какой-то свалившийся с неба мудрец вдруг поднимет крик, уверяя, будто тот, кого все почитают за бога и своего господина, даже и не человек, ибо по-скотски следует лишь велениям страстей, что он — подлый раб, ибо сам добровольно служит многим и к тому же гнусным владыкам? Что, если, встретив человека, оплакивающего своего умершего отца,

мудрец повелит ему радоваться, коль скоро лишь теперь покойник начал по-настоящему жить: ведь наша здешняя жизнь — лишь подобие смерти. Что, если тот же мудрец, увидя дворянина, гордящегося своими предками, обзовет его безродным нищим на том основании, что ему чужда сердечная доблесть, единственный источник истинного благородства? Что, если он со всеми и с каждым вздумает рассуждать подобным же образом — разве не станут все глядеть на него, как на буйно помешанного? Как ничего нет глупее непрошеной мудрости, так ничего не может быть опрометчивее сумасбродного благоразумия. Сумасбродом называю я всякого, не желающего считаться с установленным положением вещей и применяться к обстоятельствам, не помнящего основного закона всякого пиршества: либо пей, либо — вон, и требующего, чтобы комедия не была комедией. Напротив, истинно рассудителен тот, кто, будучи смертным, не стремится быть мудрее, чем подобает смертному, кто снисходительно разделяет недостатки толпы и вежливо заблуждается заодно с нею²⁷.

Сопоставление с «Силенами Алкивиада» дает счастливую возможность различить голос автора от голоса его героини, сделав поправку на то «почти что», которым предваряется наша пространная выписка. Никогда не разделял Эразм заблуждений и страстей толпы и никогда им не потворствовал. Но и слепая одержимость «какого-то свалившегося с неба мудреца» была ему чужда, ибо он прекрасно понимал, что «сумасбродное благоразумие» в ближайшем родстве с пагубной глупостью из второй части его «Похвалы», где безраздельно владычествует Глупость-Безумие.

Мы надеемся, что теперь слова из письма к Дорпу, приведенные в начале книги, — о том, что в «Глупости» Эразм направлялся к той же цели, что и в прочих своих сочинениях, —

²⁷ Эразм Роттердамский, Похвала Глупости. Перевод П. К. Губера, М., Гослитиздат, 1960, С. 35–37.

приобрели некоторую доказательность. Скажем более: нет ни одного мало-мальски значительного произведения Эразма, где бы не были намечены, повторены или развиты мысли «Похвалы» или даже не проскальзывали бы ее интонации. Но одинаково верным будет и обратное суждение: «Похвала» вобрала и в самом сжатом виде синтезировала все стороны Эразмова мироощущения, характера и искусства. Лишь одного специфического свойства Эразма мы не найдем в кратчайшей его «сумме» — многословия. И, разумеется, это служит ей к украшению.

Вслед за «Глупостью» идут «Поздравительный панегирик светлейшему государю бургундов Филиппу, сыну непобедимейшего императора Максимилиана, по случаю триумфального отбытия его в Испанию и счастливого возвращения...» (1514) и «Воспитание христианского государя» (1516). Напомним, что оба эти сочинения в письме к Ботцхейму поставлены в один ряд с «Похвалою Глупости» и «Кинжалом христианского воина». Идеальный государь, миролюбивый, просвещенный, справедливый, окруженный мудрыми советниками и честными придворными — необходимый противовес тому образу венценосного прислужника Глупости, который украшает «Похвалу».

Из остальных материалов четвертого тома мы выберем и представим читателю две декламации — «Жалобу Мира» и «Язык».

«Жалоба Мира, отовсюду изгнанного и повсюду сокрушенного» (1517) — если и не лучшее из антивоенных выступлений Эразма, то, пожалуй, самое известное²⁸. Как в «Похвале» Глупость сама поет себе дифирамбы, так здесь Мир сам скорбит о своих бедствиях. И не столько собственную участь он оплакивает, сколько безумие людей, променявших величайшие блага, приносимые миром, на ни с чем не сравнимое зло войны. Миролюбие и взаимное согласие — закон всего мироздания; даже нечистые, проклятые богом бесы между собою ладят и

²⁸ В венгерском переводе здесь дается цитата, 14 строк (С. 148). (Примечание Ж. Х.)

дружатся. Человек от природы предназначен и предрасположен к миру больше, чем любое иное существо, а христианская вера вдобавок обязывает к миролюбию, но христиане хуже язычников. Раздоры на всех социальных ступенях — среди черни, при дворах, между учеными, священниками, монахами. Даже согласия с самим собою не знает человек, в его груди разум воюет со страстями, страсти — одна с другою. Удивительно, как после всего этого мы еще смеем называть себя христианами!

В христианстве все до мельчайших деталей враждебно войне. Что ни день, ты молишься: «Отче наш, иже еси на небесах». Но можешь ли ты рассчитывать на прощение отца, если погружаешь меч в утробу другому его сыну, а своему родному брату? Христос именуется пастырем, а христиан овцами. Слышанное ли дело, чтобы овца отнимала жизнь у овцы? Война противна самому понятию Церкви Христовой и всем ее таинствам, каждое из которых обязывает к единому сердцу и братской любви.

Поводы к нынешним войнам ничтожны, а нередко и преступны: ведь случается, что тираны умышленно разжигают войну, ибо мир и благополучие народа — угроза их власти. Преступною была и война против Франции, вызванная завистью соседей к этой процветающей державе. (Обратите внимание: Эразм — не только подданный, но с 1516 года советник Карла Испанского, будущего императора Карла V, главного противника Франции!)

В войнах повинны те, кому надлежит быть главными защитниками и хранителями мира, — монархи, знать, клирики. Кое-кто из высоких особ, вероятно, скажет: мы втянуты в войну насильно, властью обстоятельств, или: мы защищаем религию. Ложь, пустые слова, лицемерные отговорки! Иначе вы бы охотно вняли голосу папы Льва X, призывающего к миру, — хотя бы с той же охотой, с какой прежде слушались Юлия II, призывавшего к войне.

Подумайте, государи, какой позор на христианство навлекаете вы своими бесконечными войнами. Чтобы привлечь ко Христу мусульман и язычников, надо сперва самим стать христианами. Берегитесь: за гробом воителя ждет только геенна, вечного же блаженства не видать ему никогда!

В заключение Мир снова обращается ко всем знатным и сильным — от государей до городских властей, — умоляя их покончить с войною.

Пересказ скрадывает повторы и композиционные промахи, но нам кажется, что общей вялости и банальности не скрыть и пересказу. По сравнению с эссе из «Адагий» «Война сладка тому, кто ее не изведal» эта декламация выглядит, мягко говоря, скромной, а рядом с «Глупостью» и вовсе неприметной. Госпожа Глупость — не абстрактная фигура, не бесплотная аллегория, а живое существо: бойкая баба-пройдоха, умудренная жизнью, но вместе с тем и наивная, здравомыслящая, но вместе с тем и вздорная, тщеславная и чуть склонная к похабству, а главное, неудержимо болтливая. Действующее (или, вернее, говорящее) лицо «Жалобы Мира» — фикция, пустое место²⁹.

«Язык» литературно намного лучше; он раз в пять длиннее «Жалобы Мира», но благодаря изяществу и остроумию прочитывается куда легче, приятнее и, кажется, даже скорее. Это истинно эразмианское сочинение: наставительность, морализм, постоянно переходящие в не очень злую насмешку или в ровное повествование, реже — в пафос. Эразм твердо следует здесь своему излюбленному рецепту: поучать, развлекая.

«Язык, или Об употреблении языка на благо и во вред. Книга в высшей мере полезная» (1525) посвящена Кшиштофу Шидловцу, канцлеру Польши. В посвящении сказано, что духовные недуги страшнее телесных и что самый скверный среди них — разнузданность языка, которая теперь заполнила весь мир и грозит окончательной гибелью ученым занятиям,

²⁹ В венгерском переводе здесь дается цитата, 31 строка (С. 151–152). (Примечание Ж. Х.)

добрым нравам, общественному согласию и авторитету властей. (1525 — год Великой крестьянской войны, которая Эразму представлялась прямым следствием полемики между приверженцами и гонителями Лютера.)

Любая вещь способна открыться как с доброй, так и с дурной стороны (вариант уже знакомого нам «парадокса бытия»), и язык не составляет исключения: он одновременно и величайшее благо, и величайшее зло для человека. Все зависит от того, умеешь ли ты правильно им пользоваться, а чтобы правильно пользоваться чем бы то ни было, надо узнать природу предмета. В этом автор и намерен помочь читателю.

Вначале мы подробно знакомимся с анатомическим устройством языка и его функциями, узнаем в частности, что само устройство не велит торопиться со словами: уши всегда открыты, глаза прикрываются тонкой пленкою век, а язык прячется за двойной стеною зубов и губ — стало быть, сперва взгляни, послушай, обдумай, а потом уже говори. Болтливость таит в себе великие опасности, вплоть до потери вечного спасения. Ни один порок не приносит столько позора, сколько болтливость; доказательство тому — бесчисленные поговорки про болтунов и презрительные прозвища. Каждый из «тезисов» подкрепляется обильными примерами из древности.

Болтливость столь же близка к пьянству, как пьянство к безумию. Она разрушает все добрые отношения между людьми. Она самый несчастный из пороков, потому что, например, алчность или похоть можно как-то утолить, а в иных обстоятельствах они стихают сами собой, болтун же болтлив всегда, при всех обстоятельствах, он неумен и ненасытен, он постоянно жаждет доставить другим удовольствие, а вызывает только ненависть. Он любопытен, но всякий разговор в его присутствии смолкает. Этот раздел — психологический портрет болтуна — одно из лучших мест в книге. Не будем голословны — судите сами:

Болтун... докучает повсюду — в собраниях, в советах, в судах, в домах, на дорогах, на кораблях, на повозках, на пирах, в горестях удваивая горе, в радостях отравляя всю радость, словно невесть откуда набежавшая туча или ненастье. При езде не так кружится голова от тряски, как от болтуна, в морском плавании он тошнее самой тошноты. Если путешествуешь пешком, красноречивый спутник заменяет повозку, а болтун и в повозке — точно груз на твоих плечах. В застольях от него одна докука... — по его милости нельзя ни цитру послушать, ни на представление поглядеть, ни обменяться словом с другими гостями. В театре он изводит соседа, в суде губит правое дело — либо оттого, что внушает судье смертельное отвращение нескончаемым потоком бестолковых речей, либо оттого, что подобным людям не верят, даже если они говорят правду... Со своими назойливыми приветствиями он врывается в дома, подстерегает вас на перекрестках, провожает, не отстает ни на шаг, прилипает хуже всякой смолы и все время что-то гудит в уши. Он дни и ночи напролет сидит у постели больного, изводя его сильнее, чем самый недуг, а нередко и приближая смерть. Ты отдыхаешь — он нарушает твой покой, ты занят — он не дает завершить начатое. В разгаре битвы, в гуще опасностей, когда требуется немедленная помощь, он знай себе плетет праздные басни. А бывает, что и спящим рассказывает свои истории, не в силах вынести молчания... По согласному мнению всех народов, спальне подобает тишина, это как бы храм Покоя, но болтун своею болтовнею доводит до отчаяния даже того, кто лежит с ним в одной постели, и сон, готовый смежить очи, гонит прочь, а уж смеживший — прерывает...

Болтливостью в литературе страдают и лучшие авторы, такие как Демосфен и Цицерон, и даже у самых великих, у Гомера и Вергилия, заметны ее следы. Безукоризненны в этом отношении лишь оба Катона, ибо у них искусство красноречия сочеталось с нравственной безупречностью и с мудростью. В этом самая надежная гарантия против пустословия.

Тут Эразм возвращается к портрету болтуна, чтобы пополнить его еще одним штрихом: болтун все время требует ободрения и одобрения со стороны собеседника. Он так и ждет, так и ловит возгласы вроде: «Браво!», или: «Прекрасно!», или: «Да что ты говоришь!», или: «Быть того не может!», или: «Ну, ну, и дальше что?» Нынешняя болтливость — примета всеобщего вырождения: первоначальную простоту и умеренность сменило пышное излишество во всем — и в речах, и в музыке, и в образе жизни. Между тем скупость в речах и умение промолчать чрезвычайно ценны, потому что придают особый вес каждому произнесенному слову. Опять следуют многочисленные примеры из античности, а за ними — рассуждение о свойствах слова, где Эразм, разумеется, неумышленно, демонстрирует прелестный образец порока, который он порицает.

Болтун — тот же предатель, только без всякой для себя выгоды. Здесь иллюстрации, заимствованные из далекого прошлого, чередуются со случаями из повседневной жизни. Жениху или супругу лучше помалкивать о красоте своей невесты или супруги. Нельзя доверять тайну исповеди болтливым монахам, очень опасны болтливые врачи и т. п.

До сих пор речь шла о зле ненарочитом, далее Эразм переходит к злоумышленным болтунам — лгунам, клеветникам, сплетникам. Приглядишься внимательнее, и ты увидишь, что источник почти всех трагедий, причина всех бед мира — дурной язык. А ведь ложь — оскорбление бога, который явился среди людей как «Слово», как «Истина». Ныне все отравлено ядами, которые источает язык, — лестью, соблазнами неверия, растлением молодых душ, клятвопреступлениями, и в результате — всеобщее взаимное недоверие и разобщение.

Тут начинается аргументация «от Писания», занимающая около трети всей книги и неудачная прежде всего потому, что ход мысли остановился. Снова рассматриваются те же варианты и разновидности пустословия, только основной упор сделан на христианские добродетели и пороки. А так как они не

оставались без внимания и прежде, получается обычный Эразмов повтор, топтание на месте. В этом разделе некоторый интерес представляют лишь очень резкие нападки на нищенствующих монахов.

Заключительная треть «Языка» посвящена советам, как уберечь себя от пустословия. Вернее всего вообще избегать общества людей злоречивых и двуличных, а если это невозможно — предупреждать болтовню или вежливо, но твердо пресекать ее; к этому есть немало способов, которые Эразм и перечисляет. При большом разнообразии причин, как природных (национальная принадлежность, возраст, пол), так и благоприобретенных (невежество, пьянство, воспоминания о пережитых бедах и пр.), есть одна, которая действует чаще других: это праздность, которую надо гнать из своего дома, находя занятия для слуг, не давая бездельничать детям. Обуздай свои страсти, будь над ними владыкою — тогда будешь хозяином и своего языка.

Задача всех христиан — выучиться языку, достойному христианина: забыть о злословии самому, не отвечать на клевету и даже в несправедливых нападках находить повод к исправлению и совершенствованию.

Эразм обещает впоследствии, в сочинении об искусстве проповеди, к которому он как раз приступает, описать «язык ангельский, подобающий священникам и епископам», но уже и здесь дает образец такого языка:

Если священнослужитель владеет языком, достойным его сана, то в одном лишь члене тела как много орудий к его услугам! Лекарство против всех душевных недугов, верное средство против всех ядов, меч духовный, отсекающий все вредоносное... Стрела, которою он разит души, побуждая к раскаянию в прежней жизни. Труба, которою будит спящих глубоко и безмятежно... которою мертвых поднимает из могилы. Царский скипетр, коим указывает путь царям и царицам. Струг, которым выдирает из груди

человека вредные страсти и нечестивые мнения. Лом, которым разрушает любой фундамент, полагаемый в ущерб Церкви божией. Мотыга, которою выпалывает любое насаждение, если оно не от бога. Плужный лемех, которым поднимает целину для евангельского посева. Мастерок, которым восстанавливает разрушенное. Кирка, которою рыхлит землю, сажая молодые деревья³⁰.

Этот образец проповеднического красноречия образует естественный переход к следующему, пятому тому.

Подзаголовок, который предусмотрел для него Эразм, гласит: «то, что наставляет в благочестии». Издатель в предисловии к тому объявляет: четыре первых тома показали нам Эразма «самым ученым и образованным человеком своего времени», но только этот, пятый, позволяет понять, «каким великим богословом он был. Здесь перед нами главные его труды, которые направлены к воспитанию христианина в духе лучшего богословия...» Что значит «лучшее богословие», Эразмово богословие, мы уже показывали однажды, говоря о письмах. Читая пятый том, утверждаешься в первом впечатлении: страх перед жупелом богословия в этом случае напрасен. Эразм не осыпает нас схоластической пылью, не отпугивает разглазгованиями о тайне троицы и ее ипостасей; он говорит не о вечном блаженстве или вечной муке, но о земной жизни и об обязанностях людей перед собою и друг перед другом.

Среди «главных трудов» — «Кинжал христианского воина» (1504), «Метод истинного богословия» (1519), «Экзомологесис³¹, или Метод покаяния» (1524), аллегорически-нравственные толкования различных псалмов (всего одиннадцать, написаны в разные годы), «Наставление в христианском браке» (1526), «Христианская вдова» (1529), «Экклезиаст, или Евангельский проповедник» (1535), «Изъяснение Апостольского Символа»

³⁰ В венгерском переводе здесь дается цитата длиннее на одно предложение (С. 158). (Примечание Ж. Х.)

³¹ *Exomologesis* — полное признание (*греч.*).

(1533), «Книга о том, как должно каждому приготовляться к смерти» (1533).

К «Кинжалу христианского воина» нам предстоит обращаться не один раз в следующей главе, поскольку в этой книге нашла свое наиболее четкое выражение система мыслей и взглядов, лежащая в основе всего, что создал Эразм³². Поэтому здесь мы не будем входить в существо дела и ограничимся общою характеристикой.

В оригинале книга названа греческим словом *enchiridion* (*egcheiridion*), означающим и «кинжал», и «краткое руководство, пособие», двусмысленность, вполне отвечающая цели автора. Эразм создает что-то вроде учебника христианского благочестия, а представление о христианине как о воине или рыцаре Христа было в Средние века общепринятым, «воинская служба под знаменами императора Христа» сделалась риторическим «общим местом». Его источник — несколько текстов из Писания; главный среди них — Павлово «Послание к ефесянам», VI 11–17:

Облекитесь во всеоружие божие, чтобы вам можно было стать против козней диавольских; потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите всеоружие Божье, дабы вы могли противостать в день злый и, всё преодолевши, устоять. Итак, станьте, препоясавши чресла ваши истиною, и облекшись в броню праведности, и обувши ноги в готовность благовествовать мир; а паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого; и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть слово божие.

³² Kohls, E.-W. Die Theologie des Erasmus. Bd. I. 8Textband. Basel, Fr. Reinhardt Verlag, 1966. Ss. 72, 193.

Эразм в композиции довольно строго следует этим семи стихам. Первая глава («В жизни надлежит бодрствовать») сравнивает всю жизнь человеческую с боевым караулом, вторая («О вооружении христианского воинства») развивает аллгорию о «всеоружии божием», третья («Вершина мудрости в том, чтобы познать самого себя, а также о двоякой мудрости, истинной и ложной») объясняет роль религиозной и светской литературы в образовании христианина. Четвертая, пятая, шестая и седьмая главы («О внешнем и внутреннем человеке», «О различных страстях», «О внутреннем и внешнем человеке и о двух составных частях человека на основании Священного писания», «О трех составных частях человека — духе, душе и плоти») содержат учение о человеке — богословскую антропологию. Об этих главах, в первую очередь, говорится в письме к Колету от декабря 1504 года: «Кинжал» я написал не затем, чтобы похвастаться остроумием ума или красноречием, но ради того единственно, чтобы рассеять заблуждение большинства, для которого вся религия — в обрядах и, я бы сказал, более чем иудейском соблюдении внешних правил...» В этих главах отграничивается живое от омертвевшего, дух от буквы; они, действительно, в ближайшем родстве с «Похвалою Глупости», прежде всего — с теми местами, где речь идет о постах, паломничествах, реликвиях, культе святых.

Глава восьмая («Некоторые основные правила истинного христианства») занимает более половины всей книги и, вопреки своему названию, содержит не столько практические советы, сколько капитальные богословские и философские идеи; между ними — и универсальный парадокс бытия, выступающий здесь в виде парадоксов христианской веры. Наконец, четыре заключительные главы — наставления для борьбы с некоторыми грехами: похотью, алчностью, честолюбием и тщеславием, гордыней, гневом, мстительностью...

Из толкований на псалмы возьмем «Изъяснение псалма XIV «Господи! кто может пребывать...», или «О чистоте скинии,

то есть христианской церкви». Это последнее сочинение Эразма, законченное в январе 1536 года. Оно посвящено не королю, не папе, не епископу или кардиналу, но сборщику таможенных пошлин (мытарю!) в городе Боппарде-на-Рейне, Христофору Эшенфельдеру, знакомство и дружба с которым, начавшиеся в 1518 году, не приносили ни пенсий, ни подарков, ни почета. И это так же символично, как слова посвящения — о том, что Христос не только в монастырях, среди клириков, но место ему есть повсюду, даже у мытарей, если они так благочестивы и учены, как Эшенфельдер: идея светского благочестия, фактическое отрицание религии как особой профессии считаются капитальными, чуть ли не главными чертами эразмианства.

Псалом невелик — всего пять стихов, — и несложен по содержанию:

Господи! кто может пребывать в шатре твоём? кто может обитать на святой горе твоей? Тот, кто поступает непорочно, и творит правду, и говорит истину в сердце своём; кто не клеветает языком своим, не делает зла и не произносит злословия на ближнего своего; тот, в глазах которого презрен низкий, но который боящихся господу славит; кто клянётся, хотя бы во вред себе, и не изменяет, кто серебра своего не отдаёт в рост и даров против невинного не принимает. Кто поступает так, непоколебим вовеки.

Любое из одиннадцати «изъяснений» начинается с буквального, или «грамматического» смысла; в данном случае указано, что псалом обращен к еврейским священникам, несшим службу в переносном храме-шатре (скинии). Непременный элемент «грамматического» толкования — чисто филологические рассуждения относительно текста, его сохранности, правильности перевода и т. п. Далее следует толкование аллегорическое, где ветхозаветный текст в целом и во всех деталях применяется к личности и учению Христа (новый шатер — Церковь Христова,

новый священник — Христос и т. д.). И наконец, важнейшая часть — объяснение нравственного смысла. Пребывание в Церкви, принадлежность к ней необходимы для человека. Необходимо «украшать жизнь добрыми делами»³³. Необходимо говорить правду себе и другим. Необходимо следить за своим языком, не давать ему воли, не клясться легкомысленно и ложно, не хулить ближнего (этот раздел почти без изменений заимствован из «Языка»). Ростовщичество Эразм не просто осуждает вслед за псалмопевцем, но делает более широкое моральное обобщение: необходимо безвозмездно помогать ближнему своими дарованиями, которые дал тебе бог.

«В этом псалме осуждается всякое внешнее почитание бога, если оно не соединено с истинной чистотою помыслов». Сравнительная ценность внешних обрядов и милосердия, любви несоизмерима. «...Наш культ и обряды отличаются удивительно благочестивым обликом, и некоторые, вероятно, только на них и полагаются, чистотою же помыслов пренебрегают». Эразм не отрицает культа вообще, но требует освободить его от непомерной пышности, заслоняющей суть богопочитания.

И под конец — снова о светском благочестии: все христиане должны быть святы, не только клирики, ибо каждый христианин — драгоценный храм божий.

А потому пусть каждый из нас старается в чистоте и непорочности приносить чистые и непорочные жертвы в своем храме. Ты спросишь, какие? Кто погасил в себе огонь похоти, тот заколол во славу божию отменного козла, а врагу, Сатане, нанес смертельную рану. Кто изгнал из души смятение зависти, тот возложил на алтарь угодную богу жертву. Кто подавил бушующий гнев, заколол льва. Кто отбросил глупость и невежество, зарезал овцу. Кто в тяжких горестях всего себя подчинил божественной воле, совершил угоднейшее господу все-

³³ Это последний выпад против Лютерова учения об «оправдании одною верою».

сожжение. Кто сдерживает дерзость, закалывает теленка. Кто гонит прочь коварство и облекается в простодушие, закалывает лисицу. Кто роскошь исправляет воздержностью, приносит в жертву свинью. Кто отучивается без толку болтать, приносит сороку. Вообще в жертвоприношениях такого рода ни одно животное не избегает ножа, потому что иные напоминают о грехах, иные служат изображением добродетелей. Например, если кто живет целомудренно со своею законною супругою, он приносит на алтарь господень пару горлиц...

Предсмертное сочинение Эразма свидетельствует, что до последних дней он оставался верен своим всегдашним убеждениям и не страшился их высказывать и что сила оратора и художника в нем не исчерпалась. А приведенный нами «каталог жертв» выдумкой и конкретной образностью предвещает «каталоги» Рабле (см. хотя бы описание Постника в Четвертой книге, гл. XXX–XXXII). Необходимо подчеркнуть: именно живостью, игрою фантазии и конкретностью образов, но не по существу. Ибо у Эразма — набор аллегорий, хотя и не стандартных, хотя и чуть насмешливых, но функционально традиционных, а у Рабле — аллегория навыворот, развенчание и осмеяние самого метода аллегорий как безнадежно обветшалого, отжившего. Однако — как случается весьма нередко — талант разрушает старую форму (или подводит к ее разрушению), даже сам того не желая.

Трактат (а точнее эссе) «О приготовлении к смерти» одни ученые считают отмеченным признаками старческого упадка, другие относят к шедеврам. Мы хотели бы принять сторону вторых. «Смерть, — начинает Эразм цитатой из Аристотеля, — самое ужасное из всего, что есть на свете». Для тех, кто не знал Христа, это суждение вполне оправданно; но смерти страшатся и христиане, в их числе и сам Эразм. Причина двоякая: нетвердость веры и привязанность к земным благам. Жизнь дается безвозмездно, но на том условии, что может быть отнята в любой миг, и этого мига человек не знает. «Нас уносит — напо-

добие вихря — непрерывный бег веков, хотя и нам самим, и окружающим чудится, будто мы недвижимы».

Земные радости следует оценивать через их мимолетность, тогда мы будем расставаться с ними легче, спокойнее. «Значительная доля христианской философии, которая приготовляет нас к смерти, состоит в том, чтобы посредством созерцания вещей небесных и вечных научиться презрению к земным и преходящим». Платон определял философию как размышление о смерти. Это верно, но христианин должен размышлять не о математических построениях и не о Платоновых идеях, а о вечном блаженстве, которое заповедал Христос своим верным. Такое размышление о смерти окажется размышлением об истинной жизни.

Вдобавок есть немало частных доводов, которые помогают смириться с мыслью о смерти. Вот, например: бог сам принял кончину и не дал уйти от нее никому, даже самым великим святым, — стало быть, ты разделишь общую участь, и требовать бессмертия нелепо. Или еще: думай не о радостях, с которыми расстаешься, но о горестях, от которых избавляешься, — нет человека, который пожелал бы пройти свой жизненный путь в другой раз. Или еще: прежде, до Христа, смерть была преддверием ада, теперь она стала вратами небес, и нет таких грехов, которые не могло бы превозмочь раскаяние и вера.

Появляется излюбленная Эразмова тема превратности человеческих суждений: люди в ужасе перед телесною смертью, но сами спешат навстречу смерти духовной, которая в миллион раз страшнее.

Когда человек погрязает в удовольствиях и наслаждениях плоти, разве не это зовется у толпы «жизнью»? Но те, кто живет так, мертвы вдвойне... потому что они уже теперь сыновья геенны... и носят в себе вечную смерть... Только надежда отделяет грешника в этой земной жизни от геенны. Ибо пока человек дышит, надежда на прощение не потеряна.

Но не злоупотребляйте надеждою — торопитесь покаяться, не ждите последнего часа, когда вас осадят толпы иных забот (телесные страдания, наследники и др.) и смерть захватит душу неподготовленной. Всю жизнь, пока вы здоровы и сильны, кайтесь и молитесь богу о милосердии — тогда и в мучительный час недуга смерть будет такою, какою была ваша жизнь. Сам заверши все дела, примиришься с врагами, помоги бедным, не возлагай эти обязанности на наследников — и тогда даже скоропостижная смерть тебе не опасна. А для того, кто не готовится, любая смерть скоропостижна, проживи он хоть сто лет.

Впрочем, какое право мы имеем прилагать к смерти слово «скоропостижная», когда она каждодневно навязывает себя всем нашим чувствам! От раннего детства что иное мы слышим, как не стоны умирающих? что иное видим, как не выносы, не погребальные шествия, не надгробия, не имена и звания усопших? А если чужие огорчения нас не трогают, сколько раз смерть подступает к нам вплотную и хватает за горло похоронами родственников, и свойственников ... и друзей, которые связаны с нами взаимною любовью теснее, чем братья — природными узами родства? А если и этого недостаточно, сколько раз нам самим напоминает она о нашей бренности? Кого из нас хотя бы однажды в жизни не приводили на грань гибели буря, или нападение разбойников, или война, или обвал, или чума? Куда ни обернешься, повсюду залегла в засаде смерть. Для любого верное прибежище — собственный дом. Но мало ли людей раздавлено обрушившеюся кровлей? Земля, надежная и твердая стихия, разве не расщедается иногда и не глотает целые города? Самый воздух, которым мы дышим и живем, часто оказывается смертью, и пища тоже, и питье. Наконец, голод и жажда разве не грозят смертью что ни день, если их не унять? Всякий раз, как произносится имя «человек», звучит напоминание о смерти, ибо «люди» и «смертные» — одно и то же.

Еще одной утешающей подготовкой к кончине может служить «общее место», легшее в основу «Кинжала христианского воина»: помни, что твое тело — даже не дом, а солдатская палатка, которую надо покинуть по первому зову полководца, помни о необходимых христианскому воину качествах. Бывает, что воин, робкий в лагере, в бою — герой, случается и обратное. Страх перед последним часом — свидетельство нашего смирения и полного упования на бога, отсутствие такого страха — признак нечестия. Кто не верит, что живущих нечестиво ожидает геенна, кто уверен, что смерть — конец всему, тот не боится смерти. Смерти боялись и многие святые. Совсем не обязательно, чтобы это чувство рождалось из губительных для души сомнений, так же как обратное чувство отнюдь не доказывает твердости в вере, но может быть следствием тупости, или варварской свирепости, или безумия.

Далее следуют советы, как ободрить умирающего, если он не без причины опасается за судьбу своей души. Эта часть во многом схожа с «разговором» «Похороны» (1526). Как и семь лет назад, Эразм убежден, что сами по себе обряды (многократные исповеди, причащения, соборования) еще не означают, что человек умер по-христиански. Пренебрегать ими демонстративно — великий грех, но гораздо важнее в твердой памяти и сознании простить врагов и обидчиков, чем трижды принять тело Христово уже бесчувственными губами.

Сатана в последний час старается смутить душу сомнениями. С ним ни в коем случае не следует вступать в спор — надо просто гнать его, и все тут! Как-то умирали двое, один философ, другой обыкновенный христианин, необразованный и неученый. Вот Нечистый и спрашивает первого, как он верует насчет двух природ Христа, человеческой и божественной, как насчет непорочного зачатия и рождения, задает еще вопросы, такие же каверзные, и быстро запутывает и опровергает философа. А другой, необразованный, на вопрос, как он об этом верует,

отвечал кратко: «Так же, как Церковь». Тогда Сатана заходит с другого бока: «А Церковь как верует?» — «Так же, как я». — «А ты как?» — «Как Церковь». — «А Церковь?» — «Как я». И Искуситель бежал от этого неподготовленного к диспутам, но крепкого простою верой человека.

А если от дискуссии с дьяволом все-таки не уйти, отвечай как можно проще.

Допустим, что Сатана упорно ставит на вид умирающему громадность его грехов; пусть он тогда воззовет к богу и скажет: «Отврати взор от моих прегрешений и взгляни в лик Христа твоего, Иисуса». — «Преступления твои многочисленнее, чем песок морской». — «Еще обильнее милосердие божие»... — «Ты весь в злодеяниях, по самые уши, и рассчитываешь обрести вечный покой вместе с Петром и Павлом?» — «Нет, но вместе с разбойником, который услышал на кресте: «Ныне будешь со мною в раю». — «Откуда эта уверенность, раз ты не творил никакого блага?» — «Но благ господь мой, он судия не глухой к мольбам, он милостивый заступник». — «Тебя потащат в преисподнюю!» — «Глава моя в небесах». — «Ты будешь проклят и осужден». — «Ты клеветник, а не судья; проклятый, а не налагающий проклятья»... — «Несправедлив бог, который за преступления воздает жизнью вечною». — «Справедлив тот, кто держит слово; притом от его справедливости я уже давно воззвал к его же милосердию». — «Ты льстишь себя пустою надеждою». — «Истина не может лгать; пустые обещания — твоё ремесло». — «Бог грешникам не внемлет». — «Зато внемлет кающимся; и потом, он умер за грешников». — «Опоздал ты со своим раскаянием». — «Разбойник же не опоздал!» — «У разбойника вера была тверда, у тебя сомнительна». — «Буду молить бога, чтобы умножил мою веру». — «Напрасно ты уговариваешь себя, будто бог смилостивится: ведь он терзает тебя столькими страданиями». — «Он лечит меня, как лучший врач». — «Почему же тогда он пожелал, чтобы твоя кончина была такою мучительной?» — «Он господь и не может желать

ничего, кроме блага. Как мне, нерадивому рабу, отказываться терпеть то, что претерпел господь славы?».. — «Смерть грешников ужасна!» — «Перестает быть грешником тот, кто, с надеждою на милосердие, признает себя грешником». — «Ты покидаешь сей мир». — «Из тягостного изгнания переселяюсь в отечество». — «Столько благ ты здесь покидаешь!» — «Но еще больше — бедствий». — «Покидаешь свое добро». — «То, что я покидаю, — чужое; свое уношу с собой». — «Что ж именно, раз в тебе нет ничего доброго?» — «Лишь то поистине мое, что мне безвозмездно дает господь». — «Покидаешь жену и детей». — «Они господни, на него их и покидаю». — «Ужасно расставаться с самыми дорогими!» — «Вскоре и они последуют за мною.

Полезно бывать у постели умирающих, чтобы на чужом примере научиться, как надо и как не надо умирать. Но всего важнее постоянно иметь перед внутренним взором пример смерти Христовой.

Ибо если мы внутренне будем подражать тому, что господь явил внешними своими действиями (имеются в виду детали крестных мук Христа. — *С. М.*), явится добрый ангел и угрет кровавый пот с нашей души; и либо избавит от опасности, либо прибавит твердости духа, чтобы нам отважно вытерпеть смерть. Взойдем, нагие, вместе с господом на крест, отринув все земные страсти, влекомые любовью к жизни небесной... и там, пригвожденные тремя гвоздями, — верою, любовью и надеждой, — бодро и упорно будем сражаться с Сатаною, пока, одолевши его, не удалимся к вечному покою, под благодатной защитою господя нашего Иисуса Христа, коему, со отцом и со духом святым, хвала и слава во веки веков. Аминь!

Это сочинение принадлежит к весьма распространенному в XVI столетии жанру наставлений в «искусстве умирать», жанру богословско-нравоучительному. (Тема смерти, и вообще-то

чрезвычайно важная для христианской культуры, приобретает, начиная со второй половины XIV века, особую остроту и особенно широкое распространение — скорее всего в связи с чумой, «черною смертью», выкосившей чуть ли не половину населения Европы.) Но мы нисколько не сомневаемся, что из цитат и даже из пересказа читатель ощутил, что перед ним литературное произведение высокого класса. В его мрачных образах, патетических увещаниях, горестных жалобах — мощь истинной поэзии, мастерство великого оратора-проповедника и знатока человеческой души. И, как всегда у Эразма, особую прелесть несет в себе незамкнутость формы, легкость переходов от тончайшей лирической ламентации к библейскому, пророческому пафосу, к «низменному» анекдоту, к прению меж диаволом и человеком на одре смерти. Впрочем, какое же это «прение» и причем здесь «одр»? Скорее это перепалка, перебранка, состязание в остроумии и находчивости — как в «Разговорах».

Если филологическая, гуманистическая в узком смысле слова часть наследия Эразма, обладая бесспорными признаками художественности, принадлежит к литературе, то с не меньшей уверенностью то же самое следует сказать о богословской части его наследия. Впрочем, — вопреки предисловию издателя к пятому тому, — с главным богословским трудом Эразма мы встречаемся лишь в следующем, шестом томе Лейденского собрания.

Весь этот том занят Новым заветом — греческим оригиналом, латинским переводом, комментариями, многочисленными индексами, списками, предисловиями, посвящениями, предведомительными посланиями. Эразм положил основание научной критике священных текстов христианства, применив к Новому завету принципы гуманистической филологии. Он произвел (для издания 1516 года) сличение десяти различных

по времени изготовления рукописей; результатом этой работы были сотни мелких и крупных поправок в традиционном чтении и понимании священных книг. Так, Эразм открыл три ранних интерполяции (вставки), из которых одна была типическим образцом «благочестивого обмана». В конце IV столетия, когда доктрина троицы сложилась окончательно, в пятую главу «Первого соборного послания святого апостола Иоанна Богослова», где между прочим говорилось о том, что Иисус Христос явился среди людей чрез воду (т. е. крещение) и кровь (т.е. крестные муки) и что о нем свидетельствует дух, ибо дух есть истина, были введены слова, искажавшие начальный, очень прозрачный смысл места. Вот что получилось (интерполированный отрезок текста взят в квадратные скобки):

Это тот, кто пришел чрез воду и кровь, Иисус Христос. Не только водою, но водою и кровью. А свидетельствует дух, ибо дух есть истина. Итак, свидетельствующих трое [на небе: отец, слово и святой дух; и сии три суть едино. И трое свидетельствующих на земле]: дух, вода и кровь, — и все свидетельствуют об одном.

Не обнаружив этих слов ни в одной из греческих рукописей, которые были в его распоряжении, Эразм исключил их и из общепринятого латинского перевода (Вульгаты).

Новый перевод Писания преследовал ту же цель: вернуться к изначальному смыслу, затемненному ошибками и промахами древнего переводчика. Греческое «metanoete» постоянно переводилось латинским «penitentiam agite», что можно понимать двояко: «покайтесь» (в душе) или «творите покаяние» (т. е. исполняйте наложенную на вас церковную епитимью); официальное богословие принимало второй смысл. Эразм предложил однозначное «resipiscite» — «одумайтесь», точно передавая содержание греческого глагола (собственно «подумайте поиному», «перемените суждение»). Центр тяжести оказался сдвинут из сферы соборной, церковной, то есть общественной, в

личную; важнейший элемент веры — покаяние — превращался из внешнего, строго регламентированного действия в дело совести каждого. Уже один этот сдвиг сыграл чрезвычайно важную роль в подготовке Реформации.

Достаточно принять в расчет хотя бы немногие приведенные выше факты, чтобы отпала необходимость говорить подробно о значении труда Эразма и о том, какую оценку давали ему консервативные богословы, особенно — после начала Реформации.

Но участвовал ли в работе над Новым заветом Эразм-писатель? На этот вопрос отвечают комментарии. Знаменательно уже то, что при жизни Эразма они печатались отдельным томом и, стало быть, могли читаться — и читались! — сами по себе, помимо текста. Правда, Эразм настоятельно подчеркивал, что это, собственно, не комментарии, а примечания, не выходящие за пределы объяснения текста. Действительно, текст они объясняют очень подробно и толково, но и отвлекаются от него без всякого затруднения, перерастая в эссе на темы: мир и война, благочестие истинное и мнимое, философия Христа, пороки государей, монашество и т.д. И мы опять видим себя в кругу уже знакомых отчасти идей и образов и хорошо знакомых интонаций.

«Евангелие от Луки», XXII, 36, гласит: «Тогда он сказал им: «Но теперь, у кого есть мешок, тот возьми его, а также и суму. А у кого нет, продай одежду свою и купи меч». Вот что пишет по этому поводу Эразм:

Скажи на милость, христианский читатель, есть ли такой *agelastos*³⁴, чтобы мог удержаться от смеха, размышляя, как смехотворно толкуют это место иные из новейших богословов? И есть ли такой *philogelos*³⁵, чтобы мог не возмутиться, видя, как божественное учение уродуется

³⁴ Несмеющийся, мрачный (*греч.*).

³⁵ Смешливый, любитель смеха (*греч.*).

толкованиями подобного рода? Ли́ра, по мнению многих, доктор испытанный и надежный³⁶, искажает слова Христа в том смысле, будто он советует апостолам, когда надвигается буря гонений, укреплять себя двумя вещами — продовольствием и оружием...

Вздор! — возражает Эразм, — это противоречило бы всему Евангелию, всему учению и поведению Христа и апостолов!³⁷

Но представим себе даже, что именно такова была мысль Христа, что он действительно звал своих апостолов припасать стальной меч, которым орудуют и разбойники, и продовольствие, которым запасаются и начальники войска, — как объяснить, что он велит продать одежду и купить меч?.. Неужели он желает послать апостолов в битву нагими, лишь с оружием у пояса? Вот уж поистине невиданный род войск!..

Павел приказывает зло одолевать добром... Сколько раз вооружает он христианского новобранца евангельским доспехом — шлемом спасения, щитом веры, мечом духовным! Где здесь хотя бы намек на тот меч, который мы измышляем?.. Ни одна ересь не кажется мне более погубительной, ни одно кощунство более преступным, чем ежели... смысл духовный переиначивают в плотский, небесное учение — в земное и трижды священные слова Христа перетолковывают и даже увечат... Это бы еще можно как-то терпеть, если бы подобному извращению мы подвергали лишь один пункт небесной философии. Но нет почти ни единого из наставлений Христовых, которые иные толкователи не поставили бы с ног на

³⁶ Николай Ли́ра (или из Лиры) (ок. 1270–1340) был действительно самым ученым из средневековых богословов: он прекрасно знал христианскую древность и вдобавок, владея еврейским языком, был знаком с еврейскими комментариями к Библии. Он был противником аллегорического метода толкований, общепринятого и обязательного в Средние века.

³⁷ В венгерском переводе между двумя цитатами более длинный абзац, 11 строк (С. 176). (Примечание Ж. Х.)

голову сходного рода измышлениями и расчленениями. А ведь их читают и одобряют мудрейшие, по мнению толпы, богословы, их повторяют, будто изречения оракула, их преподают всенародно, к ним прислушиваются государи, ими подогревается наша воинственность, как будто в ней и без того недостает безумия. И в результате христиане бунтуют, вздорят, сражаются из-за имущества, богатства, места неистовее, чем любые язычники. Впрочем, надо обуздать боль сердца, какую бы справедливую она ни была...³⁸

Война — это одна из уступок евангельского духа духу жизни, это неизбежное зло, которым предупреждаются другие, еще большие и более тяжкие, но оправдывать войну, ссылаясь на Евангелие, — нелепость и нечестие.

В высшей степени знаменательно брошенное вскользь замечание о кощунственном переименовании духовного смысла в плотский. Мы уже имели возможность убедиться, как много значит для Эразма аллегорически-нравственный метод толкования, причем повсюду — от «Адагий» до «изъяснений» псалмов. И Эразм решительно его отстаивает — признанный вождь гуманизма отстаивает средневековую, «готическую» окаменелость! Еще одно свидетельство того, что приметы прошлого и будущего, «осени средневековья» и «весны нового времени» сплетались в Эразме весьма причудливо и очень крепко.

А вот комментарий к «Первому посланию к Тимофею св. апостола Павла», 1, 6, к словам «уклонились в пустословие»:

(Эразм приводит греческий оригинал: *eis mataiologian.*)

Что до произношения, то «матеология» немногим отличается от «теологии», хотя по сути они чрезвычайно далеки одна от другой. А все же остережемся, как бы, занимаясь теологией, не впасть в матеологию — в

³⁸ В венгерском переводе здесь даются цитата о войне и строки о том, что это — полемика с Августином (С. 177–178). (Примечание Ж. Х.)

нескончаемые споры о жалких пустяках. Обратимся лучше к тому, что преобразует нас в подобие Христова и делает достойными неба... Мы рассуждаем, как возможно огню, в коем горят души нечестивцев, вещи материальной, воздействовать на вещь бестелесную. Насколько важнее приложить все старания к тому, чтобы этот огонь, каков бы он ни был по своей природе, не нашел, что выжечь в наших душах!.. А ведь у иных вся жизнь заполнена подобными исследованиями, и дело доходит и до крика, и до нешуточного ожесточения, до брани, а когда и до кулаков... А что сказать о вопросишках, не просто лиш-них, но прямо-таки кощунственных, которые мы поднимаем, разглагольствуя о могуществе бога и верховного первосвященника? Может ли бог внушать злые помыслы, вплоть до ненависти к самому богу, или препятствовать доброму — даже любви к богу и почитанию бога?.. Может ли бог сделать вывод без посылок? Может ли сотворить общее понятие без единичных предметов?.. Может ли содеянное учинить несодеянным и через это блудницу сделать девственницей? Может ли любая божественная ипостась принять любую природу, как Слово приняло человеческую природу?.. В той же ли мере возможны послы-лки: «Бог есть навозный жук» или «Бог есть тыква», в ка-кой посылка: «Бог есть человек»? О могуществе римского первосвященника рассуждают еще усерднее... Большая ли у него власть, чем у Петра, или такая же? Может ли он приказывать ангелам? Может ли разом упразднить все чистилище? Обыкновенный ли он смертный или как бы бог и причастен ли вместе с Христом обеим природам (т. е. человеческой и божественной. — С. М.)? Мило-серднее ли он Христа, раз про Христа нигде не сказано, что он хоть кого-нибудь избавил от мук чистилища?.. Разве нет во всем этом явного стремления подольститься к папе и, одновременно, оскорбления для Христа, по сравнению с коим все государи, даже самые великие, не более нежели жалкие черви? А ведь над вопросишками подобного свойства бьются целые школы богословов!.. Время быстролётно, и долг христианина исполнить не-легко. Так почему же мы не отбросим все лишнее, почему

не обратимся к тому, что желал внушить нам Христос, что передали апостолы, что истинно ведет к любви, обратимся с чистым сердцем, чистою совестью и верою невымышленною, которую Павел зовет единственным завершением и исполнением всего закона?..

Многое в этом комментарии буквально повторяет ту «главу» «Глупости», где изображаются богословы.

Практика благочестия, или, выражаясь более современно, законы человеческого поведения, — вот что оказывается главным в примечаниях к Новому завету, как, впрочем, и вообще в богословии Эразма. Проблемы же догматического богословия затрагиваются чрезвычайно редко. Подозрение Лютера, что человеческое значит для Эразма больше, чем божественное, было отнюдь не лишено оснований. Человеческим и человеческим был и подход Эразма к тем практическим вопросам, которые его занимали. Для примера обратимся к комментарию, которым снабжен 39 стих VII главы «Первого послания к коринфянам»: «Жена связана законом, доколе жив муж ее; если же муж ее умрет, свободна выйти, за кого хочет...»

После разбора оригинала и возможных вариантов латинского перевода Эразм признает, что, по древнехристианским понятиям, вторичный брак был возможен только в случае смерти одного из супругов, и все же считает нужным выступить против авторитета древней церкви и ее столпов. На первый взгляд, это подрывает самые основы Эразмова взгляда на мир, но послушаем его разъяснения.

Апостольскому благочестию свойственно заботиться о спасении всех, насколько это возможно, и помогать своею заботою даже слабодушным членам Церкви. А мы видим столько случаев, когда неудачный брак чреват гибелью для обоих супругов, между тем как, расставшись, они могли бы быть спасены. Если это достижимо без оскорбления и нарушения божественного завета, мне думается, этого должны желать все благочестивые люди, а если и

недостижимо, само желание я считаю благочестивым, тем более что любовь нередко желает и недостижимого.

Эразм углубляется в богословские и правовые аспекты проблемы, показывая, как она сложна, и требует самого пристального внимания к обстоятельствам дела в каждом особом случае.

Есть время для брака, и есть время для безбрачия. Разве это справедливо, чтобы супруга принуждали жить с супругою, замаранной гнусностями, в которых он неповинен и которых не способен предотвратить на будущее... или чтобы, в случае развода, обрекали его на одиночество до конца дней, словно он и не мужчина больше? Допускаем, что это справедливо в применении к тому, кто дал повод для развода, но за что карать человека, весь проступок которого состоит лишь в неудачной женитьбе?.. Это значит добивать несчастного вместо того, чтобы помочь ему!

Да, возразят иные, но таков закон, и всякий, решаясь на брак, должен предвидеть и дурные последствия своего решения.

Вот как раз об этом и идет у нас речь — нельзя ли каким-нибудь образом смягчить суровость закона, если часто складывается такое положение, когда не прийти на помощь кажется жестокостью. А раз, сколько можно судить, возникает противоречие с естественною справедливостью, надо поглядеть, не следует ли толковать по-иному то, что говорится в евангельских и апостольских писаниях... Подумаем, когда были высказаны эти мысли, кому, по какой причине, — и попытаемся открыть истинное их значение.

Я вовсе не покушаюсь оспаривать постановления Церкви, заверяет Эразм, я только призываю к обсуждению. Ведь в других случаях, и гораздо более важных, Церковь сама отказывалась от прежних взглядов и приходила к новым. Полной

непогрешимости нет и не бывает ни в отдельном человеке, ни в человеческом сообществе. Не свободна от заблуждений и Церковь. Вся она в целом может, например, ошибиться относительно срока пасхи, но это не пошатнет ни благочестия, ни веры. И папская непогрешимость, о которой иногда толкуют, — вещь несуществующая. Кому неизвестно, что одни папские постановления противоречат другим или даже их отменяют?

Эразм осуждает легкость, с которой заключаются браки между христианами: даже те браки, что совершены между мальчишкой и девчонкою, без согласия родителей, или между слабыми, или во хмелю, или через посредство сводни, — все имеют законную силу, и брак нерасторжим. Если бы епископ объявил подобный брак недействительным, разве это значило бы расторгать то, что соединено богом? Нет, это бог через своего слугу по праву разлучил бы то, что дурно слепило мальчишество, или вино, или легкомыслие, что скверно соединил дьявол через сводников и сводниц, своих подручных.

Развод не должен закрывать дорогу к новому браку. Эразм опять исследует суждения древних и опять сомневается в их справедливости.

Если бы к апостолу Павлу (на его послания преимущественно ссылались приверженцы «жесткой линии». — С. М.) явилась знаменитая Фабиола, навеки памятная людям благодаря писаниям Иеронима, Фабиола, которая, облекшись во власяницу, босая, творила покаяния за то, что, в юности покинув первого мужа, вышла за другого... и обратилась к апостолу с такими словами: «Не требуй, Павел, чтобы я терпела супруга, которому не могу повиноваться иначе, как не покрыв себя позором. Более того, запрети мне терпеть его, даже если бы я этого хотела. Но я ощущаю телесно, что мне нельзя оставаться без брачной связи, а ты не требуешь такого дара от тех, кому он не достался свыше, ты даже вдовам резвого нрава велишь выходить замуж», — если бы, повторяю, примерно так сказала ему Фабиола, Павел, по-моему, обошелся бы с

нею мягче, чем тот епископ, который назначил ни в чем не повинной женщине всенародное покаяние, точно она отравила родную мать... Не потому мы так говорим, что хотели бы открыть дорогу частым разводам, но желая помочь спасению несчастных или слабых, когда все прочие средства испытаны и исчерпаны...

Много общего с примечаниями к Новому завету в комментариях к письмам Иеронима, появившимся в том же 1516 году у того же издателя, Фробена. Это было первое печатное собрание сочинений Иеронима; письма объединены в томах I–IV, но Эразм участвовал в работе и над остальными пятью томами в качестве — говоря языком сегодняшнего дня — «главного редактора».

Среди всех отцов церкви ни один не был так близок и чуть ли не по-родственному дорог Эразму, как Иероним. Они и на самом деле сродни — оба тонкие знатоки языков, филологи, переводчики, оба равнодушны к строгим системам в богословии, оба восторженные поклонники античной, «языческой» классики, оба непоседы, странники... Об издании Иеронима Эразм начал мечтать еще в 1500 году, но осуществил свою мечту, как мы видим, более пятнадцати лет спустя.

Комментарии (схолии) к I–II томам очень пространны, к III–IV — невелики. Вдобавок в IV томе они чисто филологического свойства. Кроме собственно схолий, некоторые письма (чаще всего в томе I) сопровождаются «противоядием» («средством против клеветы»). В первом из таких «противоядий» Эразм объясняет, что есть масса невежественных и злобных клеветников, всегда готовых оболгать автора, вырвав из контекста три или четыре словечка. Отражая возможные нападки этих критиканов, ученый комментатор часто превращается в публициста-обличителя. Так, по поводу письма к Непотиану «О жизни клириков» Эразм говорит:

В этом послании, где Иероним не увещает, но устанавливает законы жизни, он, по-видимому, требует бедности от всего духовного сословия, то есть от пресвитеров, священников и епископов, утверждая: «Кто владеет господом и вместе с пророком возглашает: «Мой удел — господь», — не может иметь ничего, кроме господа. А если будет иметь что-либо иное, помимо господа, господь не будет его уделом. Например, если у него во владении золото, или серебро, или поместья, или разная утварь, господь уже не удостоивает быть его уделом». Что ты говоришь, святейший Иероним? По-твоему, господь не желает знаться с теми, у кого земельные имения, у кого золото в ларцах, серебро в кошельках, утварь в доме? Даже если все это им досталось в наследство? Что же ты тогда скажешь о бесчисленных христианских священниках, до того богатых, что им завидуют светские государи? О епископах, владеющих столькими городами, что про имения и упоминать не стоит? О папах, которые даже войны ведут из-за имущества и имений? А мы их не только не порицаем, но и тебя не числили бы среди славных мужей, если бы не благосклонные изречения этих оракулов. Лишь их милостью мы все христиане: по их усмотрению соединяемся со Христом и разлучаемся с ним. И мы не только верим, что с ними господь, но и убеждены, что дух Христов нашел пристанище у них в груди. И до такой степени не оскорбляют нашего взора, вознесшиеся до небес дворцы, толпы слуг, закованные в железо телохранители, отряды конницы, сияние самоцветов, золота и пурпура, что всю эту хвастливую мишуру мы считаем принадлежащей к величию Церкви!

Впрочем, другие пусть думают, как им угодно, а на мой взгляд, то, что пишет здесь Иероним, надо относить к советам, не к правилам... Как раз в его время пошатнулось истинное благочестие клириков, и большая их часть стала склоняться к мирскому чванству, прониклась страстью к богатствам, забыв, что у священников свое богатство — небесное, не земное

Конечно, теперь все иное, древняя церковь Христова сменилась нынешней, торжествующей, и все же Эразм не понимает, как можно согласовать власть и богатство с философией Христа. Не только не понимает, но и судить об этом не берется. Лишь одно он знает твердо: взгляды Амвросия, Иеронима и других отцов во многом противоречат нынешнему устройству жизни, но

это должно быть поводом не к клевете, а к исправлению жизни, надо взглянуть с недоверием на наши собственные нравы, которые так расходятся с внушениями святейших мужей, следовавших указам Христа и апостолов... Установим такой порядок жизни, чтобы не было нужды исказить учение Христово применительно к нашим нравам и человеческим преданиям.

Не только сам Эразм, но и его друзья видели в объяснениях к Новому завету не последовательный комментарий, но лишь разрозненные примечания. Джон Колет писал ему (20 июня 1516 г.): «Не останавливайся, Эразм, но, подарив нам Новый завет более латинским, чем когда бы то ни было, освети его теперь своими толкованиями, — издай комментарий к Евангелиям, самый подробный, какой только возможно». Эразм, действительно, приступил к подобной работе, и в 1517 году в Лувене вышел первый из парафразов — «Парафраз "Послания Павла к римлянам"». Эразмовы парафразы последовательно пересказывают новозаветный текст, облегчая и просветляя слог оригинала, и комментируют все, представляющее затруднение или интерес с исторической или моральной точки зрения. Парафразы ко всем книгам Нового завета (недостает лишь одного — к «Апокалипсису») соединены в седьмом томе Лейденского собрания. Предисловие издателя извещает, что Эразм самым удачным образом выводит наружу скрытый смысл, прежде всего там, где слова Писания чересчур скупы, например — в Павловых посланиях; если же точный и однозначный смысл

установить не удастся, Эразм приводит несколько суждений наиболее авторитетных толкователей, чтобы читатель сделал выбор сам. А Эразм в предисловии-посвящении к «Посланиям к коринфянам» замечает: «Я хочу, чтобы... Павел беседовал с тобою ясно и запросто, без пространных комментариев».

Парафраз может быть простым переложением, более пространном против оригинала и только. Если «Первое послание к коринфянам», XIII, 4–5, гласит: «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла», — то у Эразма читаем:

Любовь не подвержена порче и разлита как нельзя шире. Любовь кротко переносит обиды, в житейских делах услужлива и обходительна. Любовь не знает, что такое зависть, — ведь она и собственное добро раздает другим; что такое дерзость, — ведь она всем уступает; что такое спесь, — ведь она всем повинуетя;

Ничто не полагает для себя неприличным — лишь бы приносить пользу, не заботится о своих частных выгодах, не раздражается нанесенною обидою и... даже не помышляет о мести...

В других случаях нейтральные, чисто повествовательные детали оригинала наполняются нравственным содержанием:

«При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых» («От Марка», Т, 32).

Эразм:

Нет такого времени, в которое господь не откликнулся бы на просьбу об исцелении души; он даже любит несвоевременных и назойливых просителей. Был уже поздний вечер, и солнце село, и могло казаться бесстыдством беспокоить врача в такой час, но жажда здоровья взяла верх над застенчивостью. Привели к Иисусу великое множество больных всеми болезнями, и в том числе — одержимых нечистыми духами.

Бывает, что объяснение, развертываясь, отступает довольно далеко от текста, и тогда это уже «вариация на заданную тему».

«Он сказал им: кто разведется с женою своею и женится на другой, тот прелюбодействует в унижение первой; и если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого, она прелюбодействует» («От Марка», х, 11–12).

Эразм (от имени Христа):

Не подобает исповедующему евангельское учение такая грубость сердца, чтобы он не мог вынести нрава жены и не желал исправить ее ласкою, но, по каким-то причинам возненавидев супругу, замышлял бы ее убить, если она сама не уберется восвояси. Это дух иудейский, от которого следует оберегаться моим ученикам. Иудей отвергает супругу из-за неблагоприятного дыхания, гноящегося глаза или иного подобного порока, а у приверженцев Евангелия лишь одна причина расторгает брак — оскорбление супружеской верности. Ведь жена, которая отдала свое тело другому, уже перестала быть женою, даже если муж ее и не отвергнул. И муж, который отдавал свое тело другой, еще до развода перестает быть мужем. Подобно тому, как огонь — не огонь, если он не горяч, так же и брак — не брак, если два не будут одною плотью. А трое или четверо одною плотью быть не могут.

И снова — то же упорное уклонение от догматических проблем. Знаменитый вступительный стих «Евангелия от Иоанна» («В начале было слово...») доставляет повод не к туманным размышлениям об ипостасях троицы, а к очень трезвым и, условно говоря, позитивным соображениям, что природа божества для человека непостижима, что все свои силы человек должен употребить на то, чтобы проникнуться любовью к богу и его благодати, а не пытаться постигать его величие, непостижимое даже для херувимов и серафимов. Подобные попытки нечестивы, опасны, безумны.

Эразм говорил, что ни один его труд не был принят так благосклонно, как парафразы. Вполне естественно: интерес к Священному писанию в самые боевые годы Реформации был огромен как со стороны реформаторов, так и со стороны их противников. Разъяснение смысла Писания было злободневно само по себе, но ничего более от злобы дня, от прямого воздействия современности в парафразах нет. Быть может, именно поэтому Эразмовы парафразы вызывают к себе так мало интереса в нашем, двадцатом столетии.

Восьмой том — переводы из греческих отцов церкви (Иоанна Златоуста, Афанасия Александрийского, Оригена и Василия Великого), две юношеские речи и стихи разных лет, преимущественно тоже ранние, юношеские, — мы пропускаем и приступим к двум последним томам, где собраны полемические сочинения, «апологии».

Прежде я всегда гордился тем, что, хотя пишу так много и в шутку и всерьез, никого из смертных лично мое перо не задело; но какой-то злой дух лишил меня этой гордости. Впрочем, и доньше я оберегаю славу безобидного пера, потому что никогда не обнажал меч, кроме как в ответ на нестерпимо назойливые вызовы, а отвечая, всегда брал верх над противником в скромности и уступал ему в ядовитости. (Это еще одна выдержка из письма к Иоганну Ботцхейму.)

Эразм сильно преувеличивает свою незлобивость и кротость. Выше (в конце первой главы) мы упоминали о его болезненной обидчивости и настоятельной потребности оправдать любое свое действие. Он был органически не способен пропустить мимо ушей какое бы то ни было порицание, пренебречь критику, даже самой нелепой. Вероятно, прежде всего поэтому и составляют «апологии» около пятой части его наследия.

Издатель Лейденского собрания в предисловии к девятому и десятому томам признает, что голос Эразма звучит здесь

иногда чересчур раздраженно; но это легко объяснить преклонными годами и злокозненностью врагов. Однако, «если прочесть апологии внимательно, мы найдем повсюду *ergasmion* (обаяние — *греч.*), иными словами то милое, шутовское, прелестное дарование, которое намного охотнее смеется, чем хмурится, и скорее шутя, чем огрызаясь, пытается образумить противников...».

И действительно, Эразм ведет скрупулезный, придирчиво-ворчливый счет обидам. Отражая нападку парижского богослова Ноэля Беда, мракобеса, фанатика и дремучего невежды, Эразм предуведомляет:

Мы насчитали в его невеликой по размеру книге:

Пустых вымыслов восемьдесят один,

Клевет триста десять,

Богохульств сорок семь,

И, дабы нас не обвинили в чрезмерной строгости, не поставили ему в счет всех глупостей и бессмысленностей, которым и числа нет.

Но как ни однообразны, на первый, поверхностный, взгляд, вереницы «ответов», «опровержений», «объяснений», в них очень часто блещет и беспощадно точное остроумие, и темперамент, и безукоризненный вкус, и неподдельная веселость, одним словом — все качества, из которых складывается неповторимая Эразмова манера. В той же апологии против Беда (всего их шесть, эта зовется «Подсчет ошибок в критических суждениях Беда» и состоит из вступления и 198 пунктов, каждый из которых, в свою очередь, распадается на тезис критика и возражение Эразма) мы читаем:

Может быть, Беда, и правда, сыщик, но только, по-видимому, вроде тех, что несут службу на границах. Расскажу о случае, который произошел в Париже в мои времена. Какой-то человек выиграл тяжбу и получил в возмещение убытков несколько золотых. Ужинает он в трактире,

и по случайности один, когда к нему подходят трое из той стражи, что у парижан именуется *guet*³⁹: они уже пронюхали про денежки. Осведомляются учтиво, не желательно ли ему, поскольку он в одиночестве, принять их в компанию, — так, дескать, ужин обойдется дешевле. Он соглашается. Время бежит весело и незаметно. Уже свечерело, и тут собутыльники объявляют, что они из сыскальной службы, и велят выложить на стол деньги, как будто желают проверить, нет ли запрещенных монет. Тот выкладывает, они разглядывают, а между тем подсовывают одну фальшивую монету и еще одну. Стараются запугать владельца, а когда видят, что он не робеет, возвращают деньги и только то выговаривают для себя, что за ужин платит он... Благодаря таким уловкам попойка затягивается до глубокой ночи. Коротко говоря, вот они уже успели подружиться, а вот уже и провожают нового приятеля домой. Но когда вошли в узкую улочку, речь истины оказалась простою: предлагают на выбор — либо жизнь, либо кошелек со всеми деньгами, и бедняга выбирает то, что дороже. Грабители с добычею удалились, а ограбленный немедленно сообщил о случившемся своему адвокату. Тот — прямехонько к старшинам. На другой день вызвали под благовидным предлогом стражников, и двое, которые явились, угодили на виселицу; третий учуял опасность и бежал.

Вот таким сыщиком представляется мне и Беда: он приводит бесчисленные ошибки, которых у меня нет, а нередко приплетает собственные слова, чтобы дать простор клевете.

И сама история, и слог, которым она написана, первым делом приводят на память анекдоты из «Разговоров запросто», особенно — из «Говорливого застолья».

Достаточно характерным образцом «апологии», — чтобы читатель конкретнее представлял себе, что это такое, — могут служить «Разъяснения на критику, обнародованную в Париже

³⁹ Ночной караул (франц.).

от имени богословского факультета Парижского университета». Они открываются «Предисловием факультета» и перечислением тем («титолов»), по которым были вынесены критические суждения («цензуры»); всего их тридцать два, и вызваны они, главным образом, «Парафразом Евангелия от Луки». (Этот парафраз Сорбонна исследовала и осудила в январе 1524 г.) Затем следуют сами «разъяснения», также с предисловием. В каждом случае, — сперва «титул» и краткий комментарий к нему, потом текст «цензуры» и, наконец, «разъяснение Эразма». К одному «титулу» может быть несколько «цензур», поэтому общее число разъяснений — 97. Примеры «титолов»: I. «О крещении младенцев»; X. «Об апостольском символе»; XIX. «О безбрачии священников»; XXVI. «О святой деве Марии»; XXXI. «О Дионисии Ареопагите»⁴⁰.

Том девятый преимущественно отведен полемике с католиками, десятый — с лютеранами, а на границе, последним номером девятого тома, поставлено лучшее (или, по крайней мере, самое знаменитое) полемическое выступление Эразма — трактат «О свободе воли», первый открытый удар, нанесенный в борьбе с Лютером (август 1524 г.). Этим прославленным «экспонатом» мы и завершим нашу экскурсию по Лейденскому собранию.

Свобода воли — одна из труднейших и самых спорных проблем богословия, и Эразм, прежде всего, высказывает пожелание, чтобы спор велся без брани и злобы — и оттого, что это более по-христиански, и оттого, что вернее можно найти истину, которая нередко теряется в чересчур горячих препирательствах. Вдобавок, и от природы, и по житейским привычкам,

⁴⁰ В венгерском переводе здесь дается три цитаты — Титул XXI, «Цензура» и Объяснение Эразма XCI, иллюстрации текста «О Дионисии Ареопагите» (С. 195–196). (Примечание Ж. Х.)

я так не люблю настаивать на своем, что легко принял бы тютючку зрения скептиков во всех случаях, когда это позволяет нерушимый авторитет священных книг и постановления Церкви, которым я всегда и с охотой подчиняю свои чувства, независимо от того, улавливаю ли я смысл предписания или же не улавливаю. Такой склад ума я решительно предпочитаю иному, когда люди слепо привержены какому-то одному суждению и не выносят ничего, с ним несогласного. Что бы ни вычитали они в Писании, тут же искажают на пользу и в поддержку тому мнению, в рабство которому отдались. Они — будто юноша, который безмерно влюблен, и, куда ни обернется, повсюду видится ему предмет его любви, или, чтобы сравнить поточнее, словно ожесточившиеся противники, у которых, что бы ни подвернулось под руку, все летит в голову врага — и кружка, и тарелка. Какое, спрашивается, возможно здоровое суждение, если человек в подобном запале? И какой толк от подобных «разысканий», кроме того, что спорящие оплюют друг друга с ног до головы?

Лютера, продолжает Эразм, я читал, но, признаюсь, он меня не убедил. Возможно — по моей же собственной тупости или необразованности: ведь кое-кто твердит, что у Лютера в мизинце больше учености, чем у Эразма в голове и во всем теле. Может быть, оно и верно, но дайте же поучиться у более мудрых, щедрее взысканных и одаренных богом! А впрочем, не надо вглядываться слишком пристально: это скорее вредит христианскому согласию, чем помогает благочестию.

Существуют истины, которые лучше не оглашать во всеуслышание. Может быть, софисты не лгут, утверждая, что бог по своей природе являет себя совершенно в равной мере и в норке навозного жука, и в небесах, но разглагольствовать об этом перед толпою бесполезно. Если бы я знал заведомо, что учение о троице ни для кого не обязательно, я бы не обнародовал своего знания.

Бывают недуги, терпеть которые — меньшее зло, чем от них избавляться, как если бы кто лечился от проказы,

окунаясь в горячую кровь убитых младенцев. Так бывают и заблуждения, которые менее опасно не замечать, чем выдирать с корнем... Допустим, что учение Виклефа, которое отстаивает Лютер, в известном смысле верно — что любое наше действие производится не усилием свободной воли, но в силу одной лишь необходимости, — что может быть бесполезнее, как разгласить об этом парадоксе на весь мир? Представим себе далее, что в известном смысле верны слова Августина: «И доброе, и дурное совершает в нас бог, и добрые свои свершения в нас вознаграждает, а дурные карает», — какой широкий путь к нечестию открыло бы для бесчисленных смертных это речение, если сделать его достоянием толпы?»..

Найдется ли после этого хоть один слабый духом, который выстоит в непрерывной и утомительной борьбе против собственной плоти? Найдется ли сквернавец, который будет стараться исправить свою жизнь? Кто сможет заставить себя всем сердцем любить бога, который создал преисподнюю и вечные муки, чтобы за собственные проступки взysкивать с несчастных, словно бы наслаждаясь страданиями людей?

Многое из богословия должно обсуждаться только в кругу богословов, и то с осторожностью и хладнокровием.

Но еще лучше — убедиться, что не следует тратить жизнь и притуплять ум, блуждая в подобных лабиринтах... Мое вступление могло бы показаться чересчур многословным, если бы оно не было существеннее самого рассуждения.

Лютер твердит, что вся Церковь заблуждается, что прав только он, но и доказательств убедительных не приводит, и чудес не творит, и чистоты апостольских нравов за ним и его приверженцами нет.

Если возникает разногласие о смысле Писания и мы приводим толкование древних, они (лютеране. — С. М.) тут же хором: то были всего лишь люди! Мы спрашиваем:

как можно узнать, какое толкование истинное, ежели с обеих сторон люди? А они в ответ: по указу духа... А спроси с них жизни, достойной духа, и они объявят: мы оправданы верою, не делами.

Заключая введение, Эразм повторяет: я не притязая ни на ученость, ни на святость — я просто поделюсь своими мыслями. Если же они и слушать не пожелают, — Эразм, дескать, точно старый мех, ему не вместить молодое вино духа, которое мы предлагаем миру, — пусть вспомнят о Христе и его апостолах, которых учительский долг никогда не тяготил.

В Писании много мест, утверждающих свободу человеческой воли, но есть и другие, которые, по-видимому, полностью ее исключают. Эразм систематически рассматривает и первые, и вторые, но сперва делает отступление для «несведущего читателя» и объясняет суть спора между Пелагием, полагавшим, что человек достигает вечного спасения отчасти благодаря собственным усилиям и собственному выбору, и Августином, отрицавшим за человеком какие бы то ни было заслуги.

Без свободы воли теряют смысл все требования, угрозы, благословения и проклятия бога, которыми наполнен Ветхий завет. Без нее нелепо само понятие повиновения богу, к которому призывает все Писание, от начала до конца, — ведь тогда мы в любых обстоятельствах не более, чем орудие в божьих руках, такое же, как топор в руках плотника. Божие предвидение не исключает свободы воли и выбора. Те цитаты из обоих заветов, на которые ссылаются Лютер и лютеране, в действительности лишь подчеркивают величие и мощь бога и необходимость для человека подчиняться божественной воле. Эти места надо понимать не буквально, но как своего рода риторические преувеличения. Лютеране же не желают следовать древней традиции в подобных случаях, зато вполне ясный текст Писания искажают бессовестно и бесцеремонно. Если сказано: «Протяни руку к чему захочешь», — они толкуют: «Пусть благодать божия протянет твою руку к чему заблагорассудит». Это

все равно, как если бы кто сказал: «Петр пишет», — а другой истолковал бы: «Не сам Петр, а кто-то еще, но только в его доме».

Эразм восстает против бесчеловечной прямолинейности Лютеровых доводов. «Не вечно пребывать духу моему в человеке, потому что он плоть» («Бытие», VI. 3) — для Лютера в этом речении существует только дословный смысл.

Но если весь человек, даже возрожденный верою, не что иное, как плоть, — спрашивает Эразм, — где же дух, рожденный от духа? где сын божий? где новое творение? Пока мне этого не растолкуют, я остаюсь при суждении древних, которые передали нам, что в уме человеческого посеяны некие семена благородства и что через них люди и постигают благородное, и стремятся к нему.

Все Писание вопиет о помощи и поддержке. Но помогать можно лишь тому, кто делает что-то сам. Гончар не помогает глине, чтобы слепился горшок, и плотник не помогает топору, чтобы обтесалась скамья. И если кто умозаключает так: человек ни на что не способен без помощи божественной благодати, следовательно, ни одно из человеческих дел не может быть добрым, — мы предложим противоположное и, на наш взгляд, более правдоподобное умозаключение: человек с помощью божественной благодати способен на все, следовательно, все человеческие дела могут быть добрыми.

В основе своей учение о несвободе воли, пожалуй, и благочестиво — оно сокрушает нечеловеческое высокомерие, надменность, гордыню, но полное отрицание свободы воли лишает смысла и Писание, и понятие о справедливости, и самую жизнь.

Если бы хозяин отпустил на волю раба, ничем не заслужившего такой милости, а другие рабы стали бы роптать, он мог бы им возразить: «Да, к нему я благосклоннее, чем к вам, но вы от этого не в накладе...» Однако всякий сочтет жестоким и несправедливым господина, который

отдерет раба плетью за то, что он низкого роста, или нос у него слишком длинный, или вообще он нехорош собою. Разве не прав он будет, упрекая своего господина: «Почему меня наказывают за то, что не в моей власти?» И с еще большим правом упрекал бы он господина, если бы тот мог исправить телесный его порок... или если бы увечье, которое возмущает господина, он бы сам и причинил своему рабу, например, отрезал бы ему нос или изуродовал шрамами лицо, — подобно тому, как бог, по мнению некоторых, производит в нас и все дурное. А что до наставлений, то если бы господин, забив раба в колодки, надавал бы ему много разных приказов — сходи туда-то, сделай то-то, бегом туда, бегом назад, — да еще пригрозил бы жестокой расправой на случай неповиновения, но от колодок не освободил бы... разве был бы неправ этот раб, называя хозяина безумцем или зверем?..

Эразм предлагает среднее, компромиссное решение: исток и исход действия определяется исключительно божественной благодатью, но на его протекание человеческая воля повлиять может. Так отец протягивает младенцу яблоко, и, дойдя до цели собственными ножками, дитя получает плод из отцовской руки.

Крайность всегда порождается противоположною крайностью.

Безрассудство некоторых людей дошло до того, что они принялись торговать заслугами, и не только своими, но и всех святых... Лютер выбил клин клином, да так, что объявил, будто у святых нет никаких заслуг, но все поступки людей, даже самых благочестивых, были грехами, которые принесли бы вечную погибель, если бы не вера и не божие милосердие.

Все прочие раздоры тоже рождены безудержностью отрицания. «Но ежели обе стороны будут и дальше цепляться за свои крайности с прежним упорством, я предвижу меж ними та-

кую битву, какая была некогда меж Ахиллом и Гектором, которых сумела развести только смерть».

На протяжении этой главы мы многократно касались литературной манеры Эразма. Попытаемся вкратце суммировать эти «заметки мимоходом».

Как применительно к сегодняшним понятиям определить творчество Эразма в жанровом отношении? Теперь, просмотрев тома Лейденского собрания, мы можем ответить достаточно уверенно: это публицистика или, точнее, эссеистика разной тематики, разных оттенков и настроений. Настаивая на термине «эссе» в применении к писаниям Эразма, мы имеем в виду, прежде всего, ту образцовую форму, которую создал в «Опытах» (*Essais*) Монтень, истинный духовный сын и наследник Эразма. Нам представляется, что глубинное, мы бы даже сказали — субстанциальное сродство монтеневской и эразмовской литературной формы (высшее сродство, рожденное сродством духа, мировосприятия!) неоспоримо.

Эразм никогда не вещает, не глаголет граду и миру, он всегда *говорит* с читателем, словно видит его перед собою, словно обращается к зримой и осязаемой аудитории, собравшейся в церкви, за столом, на городской площади. Конкретность адресата определяет откровенность, доверительность, душевную теплоту или, в иных случаях, гневный жар интонации, той знаменитой эразмовской интонации, чары которой действовали безошибочно и безотказно, да и поныне не утратили своей силы.

Эссеизм Эразма — это, прежде всего, зыбкость формальных границ (черта очень ренессансная, противоположная средневековому благоговению перед строгими жанровыми канонами и перегородками), легкость переходов от темы к теме, пестрота сюжетов и мотивов, обилие отступлений, вольность композиции. Перси-Стаффорд Аллен выразился на редкость удачно: он сказал, что Эразм берет в доверенные друзья целый мир и думает вслух, совершенно не стесняясь чужим присутствием.

Слова текут, будто мысли про себя — легко и непринужденно, но, случается, и без должной связи: в любой миг мысль может вильнуть в сторону, и забавный анекдот сменится строгим увещанием, похвала отечеству — изобличением наглых обманщиков, советы друзьям — инвективою против алчной знати. Здесь любимое и хваленое чувство меры изменяет Эразму сплошь да рядом. Ход повествования замедляется, а то и прямо прерывается отступлениями, и Эразм это знает, и сам этим недоволен, но ничего не может с собою поделать. Бессилен он и перед главным своим пороком — многословием, в котором, кстати говоря, обнаруживается оборотная сторона другого достоинства — абсолютного владения словом, поистине божественной легкости письма. Тот же Аллен сравнивал черновики писем Эразма и его корреспондентов: у них — сплошная грязь, вымарки, поправки, переделки, у Эразма — все чисто, без единой помарки, он никогда не жалеет фразу, не пытается сохранить ее остов, и если уже вычеркивает, то беспощадно, целыми абзацами... Следствие многословия — повторы, назойливые и утомительные. Во многих сочинениях Эразма вторая половина несравненно хуже первой. Масса повторов кочует из одного сочинения в другое.

Многосторонность литературного дара — вот что, пожалуй, самое удивительное. Даже на небольшом отрезке текста видно мастерство язвительного сатирика и полемиста, драматурга, рассказчика, искусство психологического портрета; видна зоркость глаза, проявляющаяся в свежести и конкретности образов, в оживлении затасканных «общих мест».

Оживляются, преобразуясь, и приемы, унаследованные от Средних веков. Подобно средневековым авторам, Эразм обильно уснащает текст ссылками на авторитеты, но, во-первых, это уже не наборы цитат, а сочетания различных элементов, — примеров, пословиц, изречений и т. д., — а во-вторых, их уже нельзя механически вставить или изъять, это необходимый компонент целого.

Языком Эразма была латынь. Только на латыни он писал, по-латыни — говорил большую часть жизни. Латынь в XV–XVI столетиях — не давно умерший язык Древнего Рима и не потешная «кухонная латынь» невежественных клириков, мешавших латинские слова с французскими, или немецкими, или английскими и варварски насилувавших грамматику; пусть достаточно узкий, но и достаточно пестрый круг людей пользовался латынью во всех случаях жизни. К этому кругу принадлежали и церковники, и ученые, и короли, и горожане, и даже женщины, и Эразм мечтал расширить его насколько возможно. Сам он был, бесспорно, лучшим латинистом Возрождения, и не только по природному таланту, но и потому, что отчетливо сознавал бессмысленность рабского копирования античных образцов, даже самых совершенных. Он смело и умышленно нарушает нормы Цицероновой и Квинтилиановой латыни, и лексические и грамматические, и достигает эффекта, чудесного и, в общем, необъяснимого: его латынь — и та же, что у древних, и, вместе, совершенно не та. Она не просто пригодна для выражения новых мыслей и понятий, она каким-то образом сумела вобрать достоинства новых языков, в ту пору лишь формировавшихся как языки литературные. Это можно было бы назвать фантазией, пустым вымыслом, если бы это не ощущалось так непосредственно, если бы об этом не писали многие. Но о чуде Эразмова языка и стиля рассказать мало-мальски вразумительно нельзя — его надо увидеть собственными глазами, — и, чтобы не тратить времени и слов попусту, мы закончим на этом главу.

Глава III МИР ЭРАЗМА

Большее всего укоров от недругов и даже от друзей, при жизни и особенно, после смерти доставалось Эразму за непоследовательность. Правда, дурное это качество обозначали разными именами — и приспособленчеством, и лисьею хитростью, и трусостью, и предательством, но, по сути дела, если откинуть брань, речь шла об одном: ты отступаешь от собственных, тобою же самым громогласно высказанных убеждений. Упреки в непоследовательности, более или менее резкие в зависимости от темперамента упрекающего и его целей, продолжают звучать и в наш век. Зато в нашем веке появились работы, которые не просто опровергают отдельные обвинения изобличителей, но делают нелепым само изобличительство. Эти работы показывают, что неприятели либо не знали, либо умышленно не принимали в расчет всей совокупности взглядов Эразма, его мироощущения и мировосприятия в целом. Под углом зрения этой совокупности основные обвинения отпадают как несостоятельные, а совершенной, стопроцентной последовательности не стоит искать нигде, кроме как на кладбище.

Во всяком случае, чтобы оценивать сочинения Эразма и его поступки, читатель должен иметь представление о системе взглядов писателя и об ее эволюции, если таковая происходила. Но формирование системы завершилось рано: уже «Кинжал христианского воина» можно считать манифестом эразмианства, уже в нем ясно выражены идеи, которые неизбежно должны привести к конфликту не только с ортодоксальным католичеством, но и с Реформацией (еще не народившейся!), и с гуманистами-цицеронианцами. Дальнейшее развитие взглядов

Эразма имеет характер дополнений, уточнений, но ничего принципиально нового с собою не приносит. Это весьма обстоятельно и доказательно выявлено Э.-В. Кольсом (на которого мы уже ссылались), в чем и состоит, по нашему представлению, ценность его монографии для всех, кто заинтересован проблемами Северного Возрождения в любом аспекте, а не только для богословов или историков Церкви. К книге Кольса мы позволим себе отослать читателя, желающего самолично удостовериться в верности этого тезиса, ибо доказательство его, действительно, требует особой книги. Принимая же означенный тезис за доказанный, мы считаем себя вправе предложить здесь статичное, не расчлененное хронологически описание Эразмова «универсума».

Что в этом «универсуме», в этой системе создано самим Эразмом и что традиционно, заимствовано? И у кого именно заимствовано? Иными словами, каковы корни и истоки эразмианства? Вопрос первостепенной важности, но, как мы уже предупреждали в начале книги, ответить на него мало-мальски исчерпывающе здесь не удастся. Пусть же знатоки святоотеческой литературы, или Фомы Аквинского, или поздних схоластов, или итальянских гуманистов XV века, или «Подражания Христу», или Николая Кузанского не посетуют на автора за то, что он, как правило, не «вскрывает истоков». Он никак не ставит себе этого в заслугу, но, имея в виду задачу, которую он хотел бы разрешить своею книгой, для него неизмеримо важнее синтез, чем анализ, цельная картина, в которой детали плотно слиты, взаимно ассимилированы, чем разнородное происхождение этих деталей или их банальность, общераспространенность и общепринятость с позиций официального вероучения.

Бог, творец и хранитель вселенной, всемогущ и всеблаг; главное качество его — любовь. Его ничто не может осквернить или запачкать, он же, напротив, сообщает начала благодати и красоты всему творению, то есть живой и неживой природе.

На мой взгляд, природа не нема. Наоборот, она много-речива и многому научает своего созерцателя, если человек попадет в вдумчивый и толковый. О чем, например, возглашает столь прелестный лик весенней природы, как не о мудрости бога-творца, равной лишь его же, господу, благодати?» «Может ли быть зрелище великолепнее, чем созерцание нашего мира?.. Иные, разглядывая любопытным взором дивное это творение, в душе испытывают тревогу оттого, что причины многого остаются для них непостижимы. Иногда они даже, точно Момы какие-то, ропщут на творца, нередко зовут природу не матерью, но мачехой, и это оскорбление только на словах направлено против природы, а по сути падает на того, что ее создал, если вообще возможно такое понятие — «природа». А человек благочестивый с душевным удовольствием, взором благоговейным и чистосердечным глядит на дела господу и отца своего; всему он дивится, ничто не порицает и за все благодарит, размышляя о том, что каждая вещь создана ради человека; и, созерцая отдельные вещи, он поклоняется мудрости и благодати создателя, следы которых прозревает в создании.

(«Разговоры»: «Благочестивое застолье», «Эпикурец»).

Бог способен явить любые чудеса — в нарушение законов природы, но ежедневно творит чудеса намного большие, чем исцеление прокаженного или бесноватого; эти чудеса — в естественном ходе вещей, то есть в самих законах природы, которые нам привычны, и потому мы не замечаем их «чуждести» («О свободе воли»).

В центре богословских представлений Эразма стоит Христос. Утверждая полное единство между Христом и богом-творцом, нерасторжимую связь между ними в любое из мгновений земной жизни Христа, утверждая, что Христос раскрыл человеку бога, Эразм тщательно обходит все догматические вопросы о соотношении между человеческой и божественной природами Христа и между ипостасями троицы. Его внимание сосредоточено на том живом образе и образце для подражания,

который поднимается перед глазами верующих в Новом завете. Христос воплотился не только в человеческом теле, но и в слове Писания:

...В Писании он и сегодня живет, дышит и говорит с нами, и я бы даже сказал — еще успешнее и действеннее, нежели в дни, когда был среди людей. Иудеи видели и слышали его хуже, чем видишь и слышишь его ты в Евангелии — протри только те глаза и насторожи те уши, которыми можно его созерцать и внимать ему. («Параклеза»)

Важно и характерно для Эразмовой христологии то, что образ Христа представляется ему светлым и радостным.

...Никто так не заслуживает имени эпикурейца, как прославленный и чтимый глава христианской философии... Грубо заблуждаются некоторые, кто болтает, будто Христос от природы сам был печален и мрачен и будто бы призывал к безрадостной жизни. Напротив, лишь он показывает нам жизнь, самую приятную из всех возможных, и до краев наполненную истинным удовольствием... («Разговоры»: «Эпикуреец»).

Разумеется, Эразм имеет в виду удовольствия, которые приносит дух, а не низменные радости плоти. Этот своеобразный гедонизм близок к идеям «Утопии» Томаса Мора, написанной за семнадцать лет до «Эпикурейца», но в общем виде те же мысли были высказаны Эразмом еще в юношеской декламации «О презрении к миру», то есть лет на тридцать раньше, чем возникла «Утопия». Мы хотим подчеркнуть не столько оригинальность мысли Эразма (в действительности, она могла быть и заимствованной, например, у Лоренцо Валлы), сколько ее устойчивость, неизменность, последовательность.

На смену старому, ветхозаветному закону Христос привел новый. Ветхому закону люди служили и подчинялись из страха перед наказанием, новый они исполняют добровольно, из

любви. Поэтому ветхий закон равнозначен рабству, а новый — свободе. Ветхий закон был законом плоти, новый — закон духа, закон любви. Не во внешних действиях он состоит, а в том, чтобы «все свои богатства, силы, заботы употребить на пользу возможно большему числу христиан; подобно тому, как Христос не для себя родился, не для себя жил и не для себя умер, но целиком отдал себя за нас, так и мы должны служить не собственной пользе, но пользе братьев» («Кинжал...»). Закон духа, таким образом, — не столько правовая норма или жесткое предписание, сколько путь, на который наставляет человека бог, вселяя в него желание исполнить закон и наделяя его потребной для этого силой.

Столь характерный для Эразма динамичный образ бесконечного пути, противопоставляющийся статичной норме, рубежу, пределу, исток свой, как мы видим, имеет в Эразмовом богословии.

Учение о новом законе составляет основу для постановки проблем величайшей важности: грех и ответственность за него, благодать и свобода воли, фатализм, оправдание верою, активность человека, знание и любовь, вера и любовь. Все это не умозрение, не отвлеченное богословствование, но вполне жизненные проблемы, ибо разрешить их тем или иным способом означает указать людям их обязанности здесь, на земле, определить поведение людей.

В рассуждениях об истоках греха и зла Эразм не углубляется; он лишь констатирует, что они существуют и, стало быть, включены богом в «план спасения». Грех для него понятие не правовое и даже не моральное, но, говоря условно, онтологическое: это противоположность божественному закону любви, преступление против любви к богу и ближнему; борьба человека с греховностью есть отражение космической борьбы бога с дьяволом. Первородный Адамов грех лишь нарушил первосотворенную гармонию души и тела, но не истребил ее до конца; иными словами, человек остался «храмом господним»,

не погиб безнадежно, сохранил природную благодать. Адамов грех, ставший наследием всех потомков Адама, — не роковое проклятие, он актуализируется лишь через личный грех: всякий грешник продолжает злое дело Адама, принимая на себя всю вину и ответственность. Отсюда обязанность каждого постоянно сражаться против злых сил мира сего. «Если нет злобы, то есть злой воли, тогда и смертного греха быть не может», — утверждает Эразм («Разговоры»: «Мальчишеское благочестие»). Еще в декламации «О презрении к миру» Эразм рассматривает евангельский закон как призыв, обращенный богом к человеку, который волен откликнуться на него или пропустить мимо ушей. Несколько позже, в «Антиварварах», он советует не полагаться только на святого духа, который-де все устроит за нас сам: «Дар святого духа не исключает человеческих усилий, но укрепляет их». А в «Кинжале...» он заявляет: в борьбе с дьяволом и грехом терпит поражение лишь тот, кто не хочет победить. Всю славу победы надо отнести на счет бога, потому что сама свобода выбора и помощь свыше — это дар Христов, но «без твоих собственных усилий не видать тебе победы.

И позже он неизменно осуждает фатализм, бездеятельность, рассчитывающие оправдаться одною верою. В «Адагиях» он говорит, что пословицу о неизбежном роке можно употреблять только в шутку (№ 2907). В «Языке» приравнивает учение Лютера о предопределении к грубому эпикуреизму и прямому безбожию:

Вредоносен тот язык ...который внушает: «Будем есть и пить, потому что завтра умрем», или: «Богу безразлично, что делают люди», или: «Наши волнения и беспокойства ничего не стоят — ведь бог, хотим мы этого или нет, поступит с нами так, как решил с самого начала». Язык, подобными речами вливающий в душу человека пагубную беззаботность вреднее, чем укусы аспиды, который

приносит сперва глубокий сон, а после безболезненную смерть.

И в «Приготовлении к смерти» снова читаем: грех побежден спасителем, но не истреблен из мира полностью, «нам оставлен противник, но вложено в руки оружие, сражаясь которым мы способны победить».

Теперь нам понятно, что «О свободе воли» — не тактический ход, предпринятый под давлением обстоятельств, а вполне закономерный и даже необходимый шаг.

Но намного ценнее другое следствие, которое мы можем вывести, рассмотрев Эразмово понятие о грехе и борьбе с грехом: верность учению Церкви не ведет Эразма ни к разрыву с гуманизмом, ни к трагической раздвоенности в убеждениях. По схеме, которой держатся авторы самых различных направлений, Возрождение знаменовало разрыв с христианством прежде всего потому, что христианин убежден в изначальной порочности человеческой природы, испакощенной первородным грехом, тогда как Ренессанс равнозначен убеждению, что человек по природе своей хорош и добр. У Эразма это противоречие снято: он, действительно, вправе называться христианским гуманистом.

«Вера — единственные врата, ведущие ко Христу». Но и сама вера приобретает усилием воли, требует активности. «Тебя не должно смущать, что многие живут так, будто и рай, и ад — пустые басни, угроза или приманка для детей. Напротив, будь еще более тверд в своей вере». Вера — это не надежное имение христианина, она завоевывается в борьбе с соблазнами, и всякий раз заново. Более чем за двадцать лет до открытия полемики с Лютером Эразм заявлял: «Нет ни малейшего сомнения, что вера, не соединенная с житейскими правилами, достойными веры, совершенно бесполезна и даже усугубляет вечное осуждение» («Кинжал...»).

Вера выше знания. Но знание и вера не противостоят друг другу, а оба, по глубочайшему убеждению Эразма, дружно

служат поискам истины. Не противопоставляется знание и любви, но безусловно подчинено ей: «Лучше меньше знать и больше любить, чем больше знать и не любить» («Кинжал...»). Этическая оценка достижений разума, примат морального над рациональным есть частное проявление столь существенного в эразмианстве примата действия над умозрением, или, если угодно, практики над теорией.

В практическом применении новый закон выступает в виде «устава духа», или «правила Христова». Слова «устав», «правило» применяются здесь как в общем, так и в узком, монашеском смысле слова. Эразм хочет сказать, что благочестие — не профессия, а естественный и обязательный для каждого христианина образ жизни; он упорно и последовательно выдвигает на первый план представление о светском благочестии, светском монашестве. Эразм определяет благочестие как благоговение перед писанием, незлобливость, милосердие и долготерпение. Но совокупность этих качеств всего вернее достигается непосредственным подражанием Христу и его святым, и этот образец универсален для всех слоев общества и всех областей жизни, не требует никаких особых внешних условий: особых зданий, платья, образа жизни, — ибо внешние обстоятельства сами по себе и не хороши, и не дурны⁴¹.

Из Эразмова понятия о благочестии вытекают два, на редкость эразмианских же следствия. Первое — это нераздельность благочестия и веселости духа: «...Если бы благочестие было заключено в тонзурах, веревочных поясах ...рыбе, бобах и постоянной скорби! Но нет ничего радостнее истинного благочестия!» («О произношении»). Мысль эта тесно связана с уже отмеченным выше представлением о Христе как об «истинном эпикурейце». И второе — постепенность и терпеливость в воспитании благочестия: «Благочестию тоже ведомо свое

⁴¹ В венгерском переводе здесь еще два абзаца, 20 строк. (С. 217–218) (Примечание Ж. Х.)

детство, своя юность и, наконец, совершенная и плодоносная сила мужества» («Кинжал...»).

В суждениях о благочестии и вере обнаруживается и та кардинальная идея Эразма, о которой в предыдущей главе говорилось с достаточной подробностью. и которая, в той или иной форме, присутствует в любом его сочинении, — универсальный парадокс бытия. К сказанному там мы добавим немного.

Находя основу идеи всеобщего парадокса в Писании, Эразм особенно чуток к заостренно-диалектическим формулировкам, вроде: «Ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете» («Послание к римлянам», VIII, 13), постановкам проблемы, толкованиям. Элемент противоречивости он открывает не только в любом явлении бытия, но и в любом аспекте богословия — в отношениях меж христианином и «миром», меж творцом и творением, в «Христовой мудрости», в евангельской проповеди, в «уставе духа»... Постигнуть парадокс, снять противоречие способна лишь вера: без нее мир обращается в хаос злобы и нелепости, а христианское вероучение — в чистейшую глупость («Кинжал...»).

Сквозь призму этой же кардинальной идеи рассматривается и Священное писание в целом. В нем тоже есть своя «плоть» и свой «дух», и дух раскрывается в аллегии.

Что за разница между чтением ветхозаветных книг «Царей» или «Судей» и чтением Ливия, если не сосредоточивать внимания на аллегии? Повсюду, а в Ветхом завете особенно, «плоть» Писания должна отступать на задний план, вперед же должен выступить духовный, сокровенный смысл. («Кинжал...»)

Правда, и дословным смыслом, «буквою» пренебрегать не следует. Простодушная вера получает великую пользу и утешение, повторяя слова Писания, даже если и не способна постигнуть их вполне. (Эта точка зрения отвечает типично средневековому взгляду на икону: существуют различные

уровни восприятия иконы, от почти что сугубо плотского до предельно возвышенного, мистического, но, невзирая на разницу уровней, созерцание святых изображений «душе-полезно» для каждого верующего.) А люди ученые, богословы, прежде чем искать сокровенный смысл, должны до конца уяснить себе буквальный (конкретно-исторический, как сказали бы сегодня): иначе они заберутся в такие дебри, что ни сами, ни их читатели не найдут выхода и безнадежно заблудятся. (А это уже типично гуманистический подход к тексту.)

Выше мы отмечали, что Эразм говорит о Писании, как о другом воплощении Христа. В Писании заключено все, что нужно знать христианину, чтобы спастись. Все оно божественно и богодухновенно. Лишь в нем открывается божество человеку, и всякий раз заново, лично, индивидуально. Тем возмутительнее, тем кощунственнее безразличие к Писанию.

Письма от друга мы храним, осыпая поцелуями, повсюду носим с собою, перечитываем вновь и вновь, — а сколько тысяч христиан, людей в остальном образованных, ни разу в жизни не читали евангельских и апостольских книг! Магометане держат в уме свое вероучение, иудеи и поныне изучают своего Моисея с самой колыбели, — почему же мы, христиане, ничем подобным своему Христу не служим?

Писание должно быть известно каждому христианину, и в полном виде, а не по отрывкам, которые читают и поют за службою. Да и служат-то по-латыни, на языке, понятном лишь немногим.

Я решительно против того мнения, что Святое писание не следует читать светским лицам в переводе на народный язык. Можно подумать, будто учение Христа настолько темно, что понять его способна лишь горстка богословов, или будто защита христианской религии состоит в том, чтобы ее никто не знал. Возможно, что тайны царей лучше не обнародовать, но Христос желает, чтобы его

тайны были разглашены как можно шире. Я бы хотел, чтобы все женщины читали Евангелие, читали Павловы послания. Хорошо бы перевести их на все возможные языки, чтобы не только шотландцы и ирландцы, но и турки, и сарацины могли их прочесть и постигнуть. Ведь первый шаг — в том, чтобы хоть как-то понять. Пусть многие смеются, а все же некоторые будут увлечены. Хорошо бы, если бы крестьянин, идя за плугом, напевал что-нибудь из Писания, если бы ткач за станком бормотал себе под нос из Писания, если бы путник разгонял дорожную скуку рассказами из Писания» («Параклеза»).

Призыв Эразма был услышан и подхвачен реформаторами. Переводы Библии на новые языки (в их числе и прославленный немецкий перевод Лютера) и распространение Писания среди широких слоев народа имели, однако, еще и такие последствия, которых Эразм никак не предвидел: анабаптисты в Германии и Чехии, войны Кромвеля в Англии, гугеноты во Франции шли на бой и на смерть со стихами Писания на устах. (Справедливости ради заметим, однако, что источником боевого воодушевления служил больше Ветхий завет, к которому Эразм всегда относился с некоторым недоверием.)

Писание — это норма жизни; исказить его смысл ради оправдания собственного безобразия и негодяйства — самое гнусное из кощунств. Но так поступает большинство богословов, низводящих Священное Писание до уровня нравов своего времени и льстящих словами Евангелия или пророков недугам собственной души вместо того, чтобы их лечить. Причину смут и мятежей начального периода Реформации Эразм видел в «духе лжи», которым одержимы богословы, превратно толкующие Писание в своекорыстных целях. Находясь во власти этого духа, которого наслал бог, разгневанный преступлениями людей, богословы «заставляют лгать само божественное Писание... Но нет лжи погибельнее, нежели та, что имеет исток в божественных книгах» («Язык»).

И за всем тем мы не находим у Эразма слепого преклонения перед Писанием. Случается, что он позволяет себе спорить с библейским авторитетом и даже противопоставляет ему авторитет языческий. Так, в декламации воспитании детей...» он отвергает «пророческие изречения» из «Книги притчей Соломоновых», призывающие не жалеть для сына розог, не щадить его бока, согнуть ему шею, пока он молод. Хотя вообще «Притчи» — одна из самых любимых ветхозаветных книг Эразма, он спорит с Соломоном, утверждая, что древним иудеям эти немилосердные наставления, может быть, игодились, но христианину приличествуют совсем иные «дубины» и «розги», а именно — стыд, похвала, труд. При этом он ссылается на греческого философа Ликона (III век до н. э.) и на Вергилия.

Проблема отношения к античному наследию волновала Эразма еще в юные годы, и тогда же (в работе над «Антиварварами») было найдено решение, которое уже не подвергалось пересмотру. С этим решением мы встретились в «Цицеронианце»; богословское же его обоснование дано в «Антиварварах» и «Кинжале...» и связано с христоцентризмом. Все эпохи соотнесены со временем земного существования Христа и отдают Христу все лучшее, что в них есть; античность отдает свою ученость, которая хороша постольку, поскольку служит славе Христа и готовит почву для всходов его учения. Это следует понимать и в общем, историческом смысле, и в частном, индивидуальном; например, языческая поэзия нуждается в последовательном аллегорическом толковании, и, стало быть, изучая ее, школьник попутно усваивает метод обращения со священными текстами.

Но есть и несколько иной вариант — менее ригористичный, менее средневековый по методу, более эразмианский. В предисловии к «Адагиям» Эразм высказывает мнение, что мудрость древнейшей философии не отменена появлением христианства. Пифагор учил: у друзей все общее. Если бы люди это усвоили, исчезли бы война, ненависть, коварство. Но разве чему-либо

иному учил Христос, поставивший превыше всего закон любви? Мудрость скрывается под самыми разными покровами, но она одина во все времена. Отличную, можно сказать, классическую формулировку этого иного варианта мы находим в «Благочестивом застолье»: «Ничто благочестивое, ничто, ведущее к добрым нравам, называть нечистым или языческим нельзя! Спора нет, первое место всегда и повсюду должно принадлежать Священному писанию, но нередко встречаются изречения древних, слова язычников и даже языческих поэтов, такие чистые, возвышенные и вдохновенные, что невольно веришь: душа того, кто это писал, была во власти некоего благого божества. Как знать, быть может, дух Христов разлит шире, чем судим и толкуем мы, и к лику святых принадлежат многие, кто в наших святцах не обозначен». А несколькими страницами дальше другой собеседник, дивясь душевному величию Сократа в предсмертные минуты, восклицает: «Поразительно! Ведь он не знал ни Христа, ни Святого писания! Когда я читаю что-либо подобное о таких людях, то с трудом удерживаюсь, чтобы не воскликнуть: "Святой Сократ, моли бога о нас!"»

Нелишне отметить, что сходные суждения о языческой мудрости (хотя и много более сдержанные) мы встречаем у Абельяра.

Если, как мы видим, Эразм полемизирует даже с Библией, то надо ли говорить, что безоговорочного преклонения перед античностью у него нет и в помине? Он свободно и весьма часто оспаривает суждения древних, особенно — в «Адагиях».

Итак, языческая и христианская древность переплетаются, образуя некий идеальный мир — источник и хранилище назидательных примеров. Но происходит еще одно слияние, еще более любопытное и поучительное: древность сплетается с современностью, история непосредственно входит в сегодняшний день и воздействует на него постоянно и упорно. Эразм ощущает не просто нерасторжимую связь прошлого и настоящего (мы

упоминали об этом, ведя рассказ об «Адагиях»), но даже как бы их одновременность. Это примерно то же, что у живописцев его эпохи. облакавших героев священной истории в костюмы XVI столетия. Именно здесь надо искать истоков живейшего и искреннейшего убеждения Эразма, что он не выдумывает ничего нового, но лишь возрождает старое в любой из областей, которой отдает свой труд, — в богословии ли, в филологии или в изящной словесности.

И прежде всего, это возрождение истинного, с точки зрения Эразма, богословия — «богословия Писания», или «философии Христа», как говорит Эразм, следуя терминологии, принятой в древней Церкви.

Этот род философии заключен скорее в чувствах, чем в силлогизмах, он больше сама жизнь, чем рассуждение или исследование, больше наитие, чем образованность, преображение, чем рассудок. Быть учеными выпадает совсем немногим, но быть христианином можно всякому, всякому можно быть благочестивым, дерзну добавить — всякому можно быть богословом. С легкостью внедряется во все души то, что вполне согласно с природою. Но чем иным является философия Христа, которую он сам зовет «возрождением», как не восстановлением природы, изначально сотворенной благою? («Параклеза»).

Другие философии большинству людей недоступны, потому что слишком трудны. Философия Христа одинаково открыта всем, она снисходит до понятий и возможностей «малых сих», но внушает восхищение и самым великим. Ни возраст, ни пол, ни состояние — не препятствие к ее постижению.

Понятие «философии Христа» следует считать центральным отнюдь не только для богословия Эразма, ибо в нем с совершенною отчетливостью просматриваются как общие приметы возрожденческого гуманизма, так и специфические черты эразмианства: доверие к человеческой природе, доверие к

чувствам (аффектам), главенство жизни над отвлеченными умствованиями, светское благочестие, своеобразный демократизм.

Чем же оказывается это «истинное богословие», понимаемое как философия Христа?

Это не наука в собственном смысле слова, не строгая система, а скорее путеводитель, направляющий к цели, которая, однако же, в этой жизни недостижима. Такая точка зрения выражена уже в «Антиварварах». (То есть с самого начала Эразм проникнут недоверием к догматическому богословию и к тому философски-логическому направлению, которое было господствующим в поздней схоластике.) Описывая путь, ведущий к богу, и не имея, таким образом, ни теоретического, ни спекулятивного характера, богословие целиком сводится к исследованию и толкованию Писания. Но самодовлеющего толкования быть не может, любое обращено к жизни, к человеческой практике, а от жизни вновь возвращается для проверки и обогащения к Писанию, которое неисчерпаемо. Так возникает непрерывное движение мысли, исключаящее возможность какой бы то ни было законченной системы еще и потому, что его основа — индивидуальное религиозное переживание⁴². В самом деле, пускаясь на поиски «духовного смысла», верующий всякий раз ищет личной встречи с воплощенным в Писании Христом. Задача богословия — не познание, но спасение. В «Методe истинного богословия» Эразм писал:

Занимаясь риторикой, ты стремишься к изобилию и блеску в речах, занимаясь диалектикой — к тому, чтобы тонко делать выводы и запутывать противника в споре. В богословии у тебя одна-единственная цель, одно желание: ты думаешь лишь о том, чтобы перемениться, увлечься, вдохновиться, чтобы преобразиться в самый предмет твоего изучения.

⁴² Kohls, E.-W. Die Theologie des Erasmus. Bd. I. 8. Textband. Basel, Fr. Reinhardt Verlag, 1966. S. 140.

Богословие оказывается «божественной педагогикой», на первый план выдвигаются критерии нравственные и субъективные.

Отсюда — важность личного примера для истинного богослова.

Лишь тот для меня поистине богослов, кто учит презрению к богатствам не искусно притянутыми силлогизмами, но чувством, но взглядом, но самою жизнью... Кто, находясь во власти духа Христова, возвещает и внушает подобные истины, призывает к ним, приглашает, обращает, только тот поистине богослов, даже если он землекоп или ткач... Как мыслят ангелы, об этом, пожалуй, и нехристианин может рассуждать весьма тонко, но вести здесь, на земле, жизнь ангельскую, свободную от всяческой нечистоты, — вот подлинный долг христианского богослова. («Параклеза»).

И отсюда же — антикорпоративность, отрицание исключительных притязаний богословов на владение истиной. Один из собеседников в «Благочестивом застолье» огорчен, что нет среди собравшихся «настоящего богослова», который в полной мере уразумел бы смысл цитаты из «Притчей Соломоновых», прочтенной за столом. «Нам, непосвященным, — говорит он, — не знаю даже, дозволено ли рассуждать о таких вещах». — «По моему крайнему разумению, — возражает другой, — это дозволено и матросам, лишь бы не было безрассудных поползновений определять что бы то ни было». Важно, что декларация антикорпорализма дополнена предупреждением против беспелляционной обязательности, нормативности суждений.

Бог, как самостоятельный объект умозрения, исключен из богословия Эразма полностью и рассматривается лишь в различных аспектах его отношения к человеку. Все умозрительные, не связанные с практикой благочестия богословские проблемы Эразма не занимают. Этого мало: догматические споры не

просто ему безразличны, но раздражают его своей бесплодностью и пугают ущербом, который они наносят христианскому единству и нравственности. (Вспомним, что он говорит в вводной части «Свободы воли».) Ипостаси троицы, пресуществление хлеба и вина в плоть и кровь Христову в таинстве причастия, адское пламя и муки чистилища — ну, что об этом толковать, когда ответа все равно не найти, между тем как столько земных дел требуют немедленного разрешения!

Если я верю церковному преданию, что существуют три божественных ипостаси единой природы, есть ли нужда в хитроумных спорах? А если не верю, никакими человеческими доводами меня не убедить... Ты не будешь осужден, если не знаешь, имеет дух одно или же два начала, исходя от отца и сына, но тебе не миновать осуждения, если ты не дорожишь плодами духа — любовью, радостью, миром, долготерпением, дружелюбием, добротой, великодушием, кротостью, верою, скромностью, воздержностью, чистотою... (Посвятительное предисловие к изданию Илария Пуатевинского)

Как уже сказано, «буквою» Писания пренебрегать ни в коем случае нельзя, а чтобы уразуметь буквальный смысл, надо сперва изучить язык и слог Писания. Значит, серьезные занятия богословием невозможны без основательных познаний в греческой и латинской (а всего лучше — и еврейской) филологии⁴³. Священные книги изобилуют ошибками, накопившимися в течение долгих веков по невежеству переводчиков и небрежности переписчиков. Долг истинного богослова, приверженца философии Христа, — возродить Писание в первоизданном виде, переводы же привести в полное соответствие с оригиналом, а такая задача по силам лишь хорошему грамматiku. Помощь

⁴³ Это слово мы употребляем здесь в старинном смысле: изучение всей духовной жизни народа, то есть не только языка и литературы, но и археологии, истории, быта и т. д.

грамматики нисколько для богословия не зазорна, так же как и подчинение ее законам; а кто настаивает, что толкование Писания целиком зависит лишь от божественного вдохновения и ни от чего более, тот требует для богослова неслыханной привилегии — свободы говорить по-варварски. Эразм много раз утверждал, что, посвящая молодые годы древней словесности и не щадя ради этого трудов и здоровья, он мечтал не о славе, но б том, чтобы украсить изысканными сокровищами храм господень и таким образом воспламенить любовью к божественным писаниям лучшие, благороднейшие умы. Любопытно, как пропедевтическая функция античного наследия здесь раздваивается: оно образует необходимую подготовительную ступень на пути к богословию, а войдя скромною, но законной составной частью в возрожденное богословие Писания, служит приманкою для утонченных и просвещенных умов, которым варварство схоластов внушает непреодолимое отвращение. Но и раздваиваясь, она сохраняет отчетливо выраженный педагогический характер.

Заигрывать с риторикой, убирать себя цветами красноречия богослову ни к чему, зато без философии, — хотя она, согласно Эразму, ниже богословия, — ему не обойтись. В первую очередь он должен познакомиться с платонизмом и пифагореизмом, потому что эти две школы придают важное значение аллегорическому толкованию и, стало быть, близки к Писанию методологически, а также потому, что на их традицию опираются отцы церкви, особенно Августин. Между тем единственный философский авторитет для нового времени (т. е. для средневековья) — это Аристотель. Эразм относится к аристотелизму неоднозначно, но в целом отрицательно. Он готов признать пользу этических, политических и естественнонаучных сочинений Аристотеля («Адагии» полны цитатами из них), советует учиться диалектике (т. е. основам философии) по Аристотелю, но именно по Аристотелю, а не по его комментаторам и последователям, которые сделали из своего кумира светоч и

средоточие христианского богословия, так что его авторитет для них чуть ли не выше авторитета самого Христа. Все мысли Аристотеля они стараются приспособить и приладить к учению Христа, а это значит смешивать воду с огнем. Кто не набит Аристотелем по самые уши, тому просто-напросто не дозволено рассуждать о христианских книгах. Иначе говоря, Аристотель отклоняется категорически как основа схоластики в богословии и философии, — в общем по тем же причинам, по каким отклоняется Цицерон как основа для современного красноречия.

Схоластический метод (известный Эразму достаточно близко и подробно, из первых рук, — Фому Аквинского, например, он знал хорошо), возможно, и обладает своими достоинствами, но он стоит на пути к первоисточникам христианства, заслоняет и подменяет их чем-то несравненно менее ценным.

Никто, мне кажется, не вправе считать себя христианином по той причине, что умеет, хитроумно и докучливо сплетая слова, спорить об отношениях, о наличных и отрешенных сущностях, о формах... Не то, чтобы я осуждал усердие тех, кто подобного рода упражнениями развивает силы своего ума, — я не хотел бы обидеть никого, — но я полагаю, и, по-моему, полагаю верно, что чистую и подлинную философию Христа всего лучше черпать из евангельских и апостольских писаний...

(«Параклеза»)

Все же к классикам схоластики Эразм питает уважение. В «Свободе воли», назвавши Фому Аквинского, Дунса Скота, Дуранда (Дюран де Сен-Пурсен, ок. 1275–1334), Жана Капреоля (ум. в 1444) и еще нескольких богословов примерно того же времени, он заявляет: «Я считаю, что никому не позволено пренебрегать острою и силою их доказательств». Он даже защищал их от нападок цицеронианцев, которые торжественно проклинали их «варварство»: если судить по справедливости, так эти «варвары» куда большие цицеронианцы, потому что они точно знают, о чем говорят, и чувства их искренни,

неподдельны. Но нынешние схоласты не заслуживают ничего, кроме презрения и отвращения.

Они истощают ум какой-то скудной и едкой изощренностью, не подкрепляют его никакой влагою, не живо творят духом... Богословие, обогащенное и украшенное красноречием древних, они безобразят своим косноязычием... и, прежде царственное и полное величия, оно теперь почти что онемело, обнищало, оделось в лохмотья... К этому прибавь, что, желая похвастаться острою суждений, они нередко поднимают такие вопросы, которые благочестивым ушам и слушать-то невозможно — вроде того, мог ли господь принять обличие диавола или осла. (письмо Колету)

Разумеется, не все богословы таковы, но о многих и можно, и должно сказать: «Нет более смрадной гнили, чем их скудные мозги, нет ничего грубее их языка, ничего тупее их разума, ничего дремучее их учености, ничего мерзее их нравов, ничего лицемернее их жизни, ничего ядовитее их речей, ничего чернее их сердца» (письмо Томасу Грэю, август 1497). Они плодят лишь призраков (потому что отрешены от жизни и словно бы спят вечным сном) да еще раздоры между христианами. Свое невежество они отстаивают с таким же упорством и высокомерием, с каким презирают чужую ученость.

В спорах между различными направлениями поздней схоластики Эразм не склонен принимать ни малейшего участия; их дискуссии и диспуты он считает скорее театральным зрелищем, чем поисками истины.

Если попытаться суммировать отношение Эразма к схоластической философии и схоластическому богословию, то, прежде всего, необходимо признать, что оно не было столь однозначно отрицательным, как может показаться с первого взгляда. И дело даже не в том, что яд его сарказмов обращен против современных ему эпигонов поздней схоластики (главным образом скотистов), что он с почтением отзывается о столпах и

корифеях схоластики (не исключая и самого Скота), и даже не в отдельных заимствованиях у этих столпов и корифеев. Главное — что он, как богослов, не мог творить вне могучего интеллектуального влияния ранней и зрелой схоластики, в первую очередь, — разумеется, Аквината. Быть может, он и сам сознавал это не всегда, но не случайно же, что в кардинальнейшем вопросе о благодати и свободе воли он следует по стопам Фомы!

Что особенно смущало и возмущало Эразма в распри схоластов, так это их ненависть друг к другу и ко всем инакомыслящим вообще. Мы надеемся, что предыдущая глава помогла читателю составить какое-то понятие об отвращении Эразма к любым крайностям и, в частности, к фанатизму. Еще в «Антиварварах» самыми опасными врагами «республики ученых» объявлены не невежды и не прямые враги «свободных искусств», а те, кто считает, что лишь они одни обладают настоящей образованностью, и намерены силой навязать свою точку зрения всем, как общеобязательную. Ненавистью к насилью и принуждению окрашены, за редчайшими исключениями, все взгляды Эразма. Христианин должен употреблять власть только на сотворение добра, потому что любое насилие бессмысленно и губительно, в первую очередь, для того, кто его творит («Адагии», № 2099). В письме к папе Адриану VI от 22 марта 1523 года Эразм призывает воздерживаться от жестокостей в борьбе с последователями Лютера, предупреждая, что это лекарство не излечит, а лишь усугубит болезнь. «Хотя христианская жизнь нам почти неизвестна, — пишет он в предисловии к изданию Илария, — хотя вера больше на устах у нас, чем в сердце... силою устрашения и угроз мы стараемся заставить людей верить в то, во что они не верят, любить то, чего они не любят, и понимать то, чего они не понимают».

Да, насилие в делах веры решительно недопустимо! А мы все время готовим войну против турок — плохи же дела христианской религии, если помощи и защиты она ищет у

вооруженной силы, ибо невозможно себе представить, чтобы от такого начала пошли добрые христиане.

Что приобретено мечом, то меч и отнимает. Мы хотим привести турок ко Христу?.. Пусть они увидят в нас не только звание, но истинные признаки христианина: непорочность жизни, желание творить добро даже врагам, неистощимое долготерпение в обидах, презрение к богатству... Вот каким оружием всего лучше покорять турок... А так выходит, что турки сражаются с турками... В самом деле, разве это христианский поступок, когда убийством людей — пусть нечестивых, по твоему разумению, но все же людей! — ради спасения которых умер Христос, ты приносишь диаволу самую любезную для него жертву, радуешь нечистого вдвойне: и тем, что убит человек, и тем, что убийца — христианин». Желая прослыть ревностными христианами, мы браним турок на чем свет стоит. «Так же иные, желая понадежнее доказать свое правоверие, жесточайше клянут тех, кого называют еретиками, хотя скорее сами заслуживают этого прозвания. Кто хочет доказать свое правоверие, пусть действует на заблуждающихся кроткими убеждениями, дабы они одумались. Мы надрываем глотки яростной хулою против турок, а быть может, мы противнее богу, чем сами турки. («Адагии», № 3001)

Крайность, эксцесс, принуждение опасны во всем, в большом и малом. Не нужно удерживать или потчевать гостя вопреки его желанию, но не нужно и стесняться до такой степени, чтобы отказываться от всякого угощения. Не нужно злоупотреблять ни лаконизмом, ни избытком в речах. Безумны те, что, повздоривши из-за пустяков, доходят чуть не до ножей, но не внушают доверия и те, что минуту назад готовы были перервать друг другу глотку, а минуту спустя обнимаются и вместе пьют, как лучшие друзья. Никто не вредит наукам больше, чем не по разуму усердные их поклонники и пропагандисты. Слишком громкий смех так же не к лицу серьезному человеку, как

бабьи причитания. Слишком тонкое рассуждение, слишком подробное расчленение темы ведет к тому, что рассуждающий теряет нить и сбивается. Нужно уметь оторваться от забавы, пока она еще доставляет радость, и от наслаждения, пока оно не приелось. Эти и великое множество подобных афоризмов и поучений рассыпаны по «Адагиям», «Разговорам», письмам, педагогическим сочинениям, богословским трактатам. Этой идеей пронизана «Похвала Глупости».

Чувство меры и соразмерности — бесспорно, самое ценное для Эразма. Пословицу «Ничего сверх меры» фактически открываются «Адагии»: она приведена в качестве самого первого примера в предисловии к сборнику: рассматривая ее подробно, на своем месте, в ряду других, Эразм замечает: «Нет среди всех вещей ни единой, которой чрезмерность не вредила бы, кроме лишь любви к богу...» А «Торопись не спеша» Эразм называет «царственной пословицей» и советует высечь ее на всех колоннах, начертать золотыми буквами на дверях всех храмов, вырезать на перстнях властителей и богачей, на скипетрах королей, чтобы ее усвоили все, и в первую голову — государи⁴⁴.

Естественное и необходимое следствие отвращения к крайностям — это снисходительность, терпимость к чужим взглядам и вкусам. Еще двадцатилетним юношей, в первый или второй год своего монашества, Эразм писал другу:

Неужели ты считаешь меня таким дикарем, что я не в силах выносить спокойно, если ты в иных случаях мыслишь иначе, чем я, и что все, не согласное с моим суждением, я хочу немедленно истребить, растоптать, растерзать? Признаюсь, есть люди, которые все, чего не знают или же не одобряют, полагают необходимым тут же осудить, но я бы не хотел, чтобы ты относил меня к их числу.

⁴⁴ В венгерском переводе здесь дается абзац, 8 строк: критика Эразма о теологии без любви к человеку (С. 237). (Примечание Ж. Х.)

Взаимная снисходительность — основа всяческого согласия во всех ячейках общества, на всех ступенях социальной лестницы. Об этом вещает и госпожа Глупость, и такое вполне серьезное, ничуть не шутивное сочинение, как «О возлюбленном согласии в Церкви», где мы читаем:

Главный рассадник раздора — это то, что мы злобным глазом следим за недостатками ближних. Пусть же он закроется, этот злобный глаз, и пусть откроется добрый, которому видны их достоинства. Если мы будем чистосердечными ценителями достоинств, нас меньше будут раздражать изъяны. Невозможна дружба ни между братьями, ни между супругами, если хотя бы на некоторые изъяны друг друга они не смотрят сквозь пальцы: Как же устоять согласию всей Церкви, если каждый на чужие достоинства подслеповат, а на пороки глазастый, как те зеркала, которые, когда в них глядишься, делают лицо намного больше и уродливее?

Разумеется, непрременное условие терпимости — взаимность: «Справедливее справедливого, чтобы те, кто не желает стать жертвою насилия в делах веры, сами не чинили насилия над другими».

Сфера применения принципов терпимости совпадает по объему с самою жизнью, и потому соответствующие примеры и наставления разнообразны бесконечно. Мы задержимся лишь на терпимости в науке. «Нет ничего более чуждого моему характеру и складу ума, — заявляет Эразм, — как тратить время на выслеживание и изобличение чужих ошибок» («Адагии», № 1801). Предложив какую-либо конъектуру, он сплошь и рядом видит надобным особо оговориться, что это только догадка и что, если она кому-то представится удачной, он очень рад, а если нет — вот другая точка зрения, прежняя, общепринятая; и еще сам приведет доказательства этого взгляда, противного его собственному. При всем отвращении, которое он испытывал к университетской схоластической премудрости, при всей

любви к новому (или, по мысли Эразма, возрожденному) знанию, он не одобрял глумления гуманистов над традиционной средневековой наукой. Он был последовательным защитником Иоганна Рейхлина (1455–1522), правоведа и гебраиста, которого травили кёльнские доминиканцы, а следом за ними и все консервативные силы в Церкви (Рейхлин возражал против каннибальского замысла уничтожить все еврейские книги, кроме Ветхого завета, ибо считал, что это нанесет непоправимый ущерб науке и образованности); но знаменитые «Письма темных людей», высмеивавшие врагов Рейхлина, вызывали у него резкое раздражение своею грубой безудержностью. В объяснении к пословице «*И бык остался бы цел*» (дополнение 1526 года) Эразм высказывает мнение, что «новой учености» следовало бы скромно и без шума войти в сообщество тех дисциплин, которые уже столько веков царствуют в университетах, и ни на кого не нападать, но всем оказывать помощь. «Они должны внушать, поддерживать, поправлять, не иначе, как прилежная служанка поправляет и направляет свою госпожу». И богословию, которое по праву считается царицею всех наук, и философии, и юриспруденции, и медицине будет на пользу, если они примут в свою свиту таких служанок. Замечательно, как широта взгляда и кругозора, рожденная благожелательною терпимостью, неожиданно и озадачивающе оборачивается на практике типично средневековым тезисом насчет «науки — служанки богословия»!

Как ни широка терпимость Эразма, она не безгранична: равнодушием, примирением со злом она не становится никогда — иначе была бы невозможна вся его деятельность моралиста и критика. Зло абсолютное, воплощенное должно и отвергаться абсолютно; любой контакт с ним вреден, даже губителен, потому что чреват уступкою, соглашательством. Читатель, конечно, достаточно хорошо понимает, что у богослова Эразма крайнее, предельное зло не может выступать иначе, как в виде сатаны и смертного греха.

Вместе с тем Эразм оставляет человеку право на сомнение в самых главных, самых важных вопросах, не требует от него наедине с собою самим слепой нерассуждающей веры. Хотя и есть истины, сомневаться в которых грешно, — например, в двойственной, божественной и человеческой, природе Христа, или в безмужнем его зачатии и рождении, «все же я не думаю, что следует с ненавистью отвернуться от человека, который и на этот предмет открыл бы ученым мужам свои недоумения, как и свойственно человеческой нетвердости в разуме, открыл бы, заботясь лишь о том, чтобы нетвердая вера его окрепла» (Примечания к Новому Завету). Непререкаем лишь авторитет Писания, во всех остальных случаях ссылка на авторитет, какой бы то ни было высокий, сама по себе дела не решает. Впрочем, как мы уже отмечали, случается Эразму оспаривать и само Писание, не говоря уже об отцах церкви, с которыми он вступает в противоречие довольно часто, прежде всего — комментируя Новый завет. В одном из случаев, не согласившись в Августинном и изложив свои соображения, он заключает:

Если ты в чем-нибудь разойдешься с общепризнанными авторами, кое-кто усматривает в этом прямое для них оскорбление, хотя они и сами не притязают на такую непогрешимость. А по-моему, наоборот — оскорбительной была бы любая попытка защищать их против истины, если они в чем промахнулись, как свойственно людям.

И в еще меньшей мере склонен Эразм подчиняться авторитету большинства: нельзя оценивать мысль числом голосов, за нее поданных, — ведь так часто большая часть подчиняет себе лучшую, и не всегда то, что одобрено всеми, всего вернее. Но свобода мнений не означает свободы безудержного критиканства (снова «ничего сверх меры»). Можно отступить и от суждений отцов, и от деяний соборов, и, тем более, от «человеческих установлений» (так Эразм именует нормы канонического права), но дерзкое пустословие насчет Златоуста, Августина,

Иеронима мало чем отличается от богохульства, и если уравнивать человеческие установления с божественными нечестиво, то и осмеивать, оплевывать, проклинать все человеческие установления подряд — то же самое кощунство (предисловие к «Объяснениям на Новый завет Лоренцо Валль»).

Различие во взглядах так же естественно, как и во вкусах, более того — оно необходимо, особенно когда дело касается искусств и ученых занятий. «Они не только не порочны, они чрезвычайно желательны, эти разногласия и столкновения, которые Гесиод полагал в высшей степени полезными для смертных, — лишь бы обходилось без брани и слепого ожесточения». Ссылаясь на Гесиода, Эразм имеет в виду начало поэмы «Работы и дни», где говорится о двух Эридах (богинях раздора) — грозной, раздувающей войны и вражду, и полезной, понуждающей к труду даже ленивых. Дух честного соревнования, «агона», многие ученые нового времени заносили в число самых коренных особенностей античного жизнеощущения; не удивительно, что он «возрождается» в мире Эразма, и знаменательно, что он сочетается с терпимостью, с широтой и свободой кругозора.

Таков фундамент, на котором покоится Эразмово восприятие мира.

Мир — «творение божие» — изначально совершенен и прекрасен; это бесспорно для всякого христианина. Но не менее бесспорно для него и другое: мир, искаженный и изуродованный грехом, — враг благочестия, соблазн для праведных; чтобы обрести вечное спасение, надо одолеть мир. Эти противоположные убеждения (отражающие все тот же «парадокс бытия») сочетаются и у Эразма, причем как сатирик он несравненно чаще обличает, чем восхваляет, а как моралист чаще осуждает в целом, нежели конкретно. Природа устроена так, что зла в человеческой жизни намного больше, чем добра, все в ней

непрочно и ненадежно, все вокруг беспрерывно ухудшается, вырождается — и справедливость, и мудрость, и святость. (Правда, трезво мыслящий Эразм сознает, что элегическое сожаление о минувшем присуще любой эпохе.) Не один раз набрасывает Эразм картины всеобщего разброда, разрухи, социального упадка. С одной из них мы познакомились в эссе «Как бельмо на глазу»; а вот еще одна:

Такая повсюду клоака преступлений, столько святотатств, разбоев, притеснений, насилий, издевательств, столько подкупов, столько тиранических законов и наглых искажений закона, не говоря уже о мелочах — об обветшавших мостовых, обрушившихся храмах, обвалившихся набережных. («Адагии», № 1401)

Можно показать и более конкретные зарисовки:

Христиан, король Дании, ревностный защитник Евангелия, изгнан из отечества. Франциск, король французский, гостит в Испании, и навряд ли по доброй воле, а ведь он, бесспорно, заслуживает лучшей участи. Карл замышляет расширить пределы своей державы. Фердинанд без остатка поглощен своими делами в Германии. Все двory задыхаются от безденежья. Крестьяне подняли опасные волнения, и никакие кровопролития не могут заставить их отступить от начатого. Народ стремится к анархии. Борьба противных станов грозит обрушить здание Церкви, нешвенный хитон Иисуса раздирается на части. Вертоград господень разоряет уже не один вепрь; под ударом одновременно и власть священников вместе с десятиною, и достоинство богословов, и святость монахов; шатается исповедь, ненадежны обеты, заколебались папские законы, на волоске от гибели евхаристия, вот-вот явится Антихрист, и весь мир вот-вот разродится еще неведомою, но великой бедою. А между тем берут верх и все ближе подступают турки, которые ничего не пощадят, если одержат решающую победу.

(«Разговоры»: «Роженица»)

Но необходимо иметь в виду, что «мир» — это, прежде всего (а быть может, и исключительно), человек, а не материальные условия его существования, как природные, так равно и социальные, и вдобавок — отдельно взятый человек, личность, а не общество. В «Приготовлении к смерти» сказано:

Миром я называю ветхого (т. е. не искупленного крестной жертвою Иисуса. — С. М.) человека с его действиями и страстями. Впрочем, именем «мира» ты можешь обозначить и людей, преданных этому миру, которые никогда не переставали и никогда не перестанут изо всех сил сражаться против Христа и его учеников». Тот же — говоря сутобо условно — антропоморфизм замечен и в чисто светских понятиях о внешнем мире. «Толпа зовет «городом» стены и дома, сложенные из камней и бревен... тогда как на самом деле город образуют нравы людей.

(«Адагии», № 3696)

Человек — поистине венец творения, самое прекрасное на земле божье создание, единственное из всех, кому открыт путь к вечному блаженству. Среди всех существ лишь человек по природным своим задаткам расположен к миру и взаимному благожелательству.

Одного лишь человека Природа произвела нагим, слабым, нежным, безоружным, с такой мягкой, податливой плотью, с такой тонкою кожей. Нет в его теле ничего, что было бы предназначено для битвы или насилия... И наружностью Природа наделила его не мрачной и не устрашающей, как остальных существ, а кроткою и ной, с явственными приметами любви и доброжелательства. Дала дружелюбные глаза, знамена души. Дала руки, обнимающие и прижимающие к сердцу. Дала чувство поцелуя, в котором как бы соприкасаются и соединяются души. Одному лишь ему дала смех, улику веселости. Одному — слезы, символ жалости и милосердия. И голос

дала не грозный, как диким зверям, но ласковый и приветливый. Но это еще не все. Одного лишь его одарила Природа речью и рассудком, которыми, в первую очередь, и приобретает и сохраняется взаимное расположение... Вселила ненависть к одиночеству, любовь к товариществу... Сверх того, прибавила страсть к ученым занятиям и жажду познания... И еще: с поразительным разнообразием распределила между смертными дары души и тела — для того, конечно, чтобы одни находили в других то, что им любо и дорого или же необходимо. Наконец, заронила искорку божественного разума, чтобы человек, и без видов на вознаграждение, радовался, творя добро всем подряд. В этом мире бог поставил человека словно бы неким своим подобием, дабы он, словно некое земное божество, заботился о всеобщем благополучии. Это чувствуют и бессловесные твари: мы видим, как не только безобидные животные, но и барсы, и львы, и еще более свирепые звери в час великой опасности ищут защиты у человека. Человек — это последнее прибежище для всего творения, святейший алтарь и священный якорь. («Адагии», № 3001)

Но рядом с панегириком человеку уживаются горькие о нем сожаления. Объясняя пословицу «Человек — что пузырь на воде», Эразм говорит:

Право же, нельзя найти других слов, которые бы лучше выражали все ничтожество нашей жизни! Прежде всего, ценою каких опасностей появляемся мы на свет! Далее, как одиноко и незащитно наше детство! Как скоротечно отрочество! Как мимолетна юность! Аристотель... говорит, что телесная сила человека иссякает примерно к тридцати пяти годам, а духовная — к сорока девяти.

Гиппократ ограничивает человеческую жизнь теми же сорока девятью годами. Если же из этого расчета вычтешь еще детство и старость — ты понимаешь ли, какая останется малость? Да и той ежедневно грозят тысячи всевозможных болезней и, не в меньшем числе,

несчастливые случайности, обвалы, яды, кораблекрушения, войны, землетрясения, падения, молнии — чего-чего только ей не угрожает!.. И это то самое существо, что приводит в действие сокрушительные мятежи и чьим страстям, чьей алчности тесен наш земной круг!

Двойственность суждений о человеке, удивляющая в крайних своих проявлениях, тем не менее нисколько не удивительна, если не упускать из вида Эразмова понятия о первородном грехе, изложенного выше. Напомним: человек и после грехопадения не потерял до конца первосотворенную гармонию души и тела, более того, крестная жертва Иисуса Христа есть потенциальное искупление от первородного греха всех людей в целом и каждого человека в отдельности (этому отвечает светлый, мажорный тон в общей картине), но грех остается в мире и после пришествия Христа, и всякое злое действие есть актуализация Адамова греха, продолжение Адамовой злой воли, изуродовавшей изначально прекрасное творение (мрачная сторона картины). Мы разрешаем себе здесь повтор лишь в силу особой, исключительной важности этого пункта — учения о человеке — в мировосприятии гуманиста, отразившем черты как «осени средневековья», так и «весны нового времени».

Впрочем, обе означенные крайности служат лишь подтверждением общей позиции Эразма, которому чуждо все крайнее, для которого конкретные частности дороже расплывчатого общего. А потому отрывочные замечания, разбросанные по разным сочинениям, во многом и любопытнее и ценнее пространственных деклараций. Собрать все их воедино было бы чересчур долго, но некоторые детали этого сводного портрета человека мы приведем.

Невозможно переломить и пересилить собственную натуру, искоренить природные задатки. Да это и ни к чему — человек должен доверять своей природе:

Самый надежный путь к счастью можно обрести, уклоняясь от того образа жизни, к которому внушает отвращение немое, природное чувство, стремясь к тому, что тебя привлекает... («Разговоры»: «Дружество»).

Но, вместе с тем, человеческая природа слаба, а потому ей необходима недостигаемая «сверхцель» — лишь тогда она, возможно, достигнет реальной, достигаемой. Ныне некоторые богословы — приверженцы Аристотеля учат, до какой степени можно скапливать богатства, до какой играть в кости, до какой воевать, до какой мстить. А ведь намного лучше было бы осудить безоговорочно страсть к богатству, к войне и к наслаждениям. Тогда мы, пожалуй, стали бы несколько воздержнее. А так, довольствуясь серединою, мы сползаем намного ниже среднего уровня.

(«Адагии», № 1225)

Человеку ненавистно одиночество, он легко сближается с себе подобными, и очень часто основа этой близости — общие горести. Крепко любят друг друга те, кто вместе терпел кораблекрушение, вместе сражался, вместе попал в плен, те, наконец, кто страдает одинаковым недугом, телесным или душевным. Злейший враг человека — богатое воображение: рисуя себе предстоящие испытания, мы мучимся больше, чем встречаясь с ними лицом к лицу. «В любом деле самое тягостное — это воображение, которое иной раз приносит предчувствие беды даже тогда, когда никакой беды нет и не предвидится» («О... воспитании детей...»).

Приведя в «Адагиях» изречение Цицерона: *«где ты не то, чем был раньше, там тебе лучше не оставаться»*, Эразм комментирует:

Возникло из чувства, общего для всех смертных, для которых нет ничего нестерпимее, как видеть пренебрежение или даже презрение тех, кто прежде взирал на них с почтением и восторгом. Чувство это так сильно, что люди предпочитают любое изгнание или даже смерть позору, сопряженному с переменою судьбы.

И Эразм ни словом не осуждает такого тщеславного стыда, решительно противоречащего христианскому смирению.

Нет числа человеческим изъянам и недостаткам, и нет среди них ни одного, источником которого не была бы глупость. «Что свойственно человеку всего более? Жить в согласии с разумом, отчего и зовется он «разумным животным».. Что для человека всего губительнее? Глупость» («О воспитании детей...»). От глупости и неблагодарность, в которой ни одному живому существу с человеком не сравниться, и беспредельная завистливость, и слепая жажда новизны, и то, что человек переимчивее к худому, чем к доброму.

Такой интеллектуализм (назвать его «рационализмом» мы не решаемся только из опасения терминологической путаницы — имея в виду «век разума», который отделяют от XVI века еще целых два столетия) восходит, как нам представляется, не только к древнейшей античной традиции, но и к ранней схоластике (Эриугена, Абельяр).

Как ни прекрасна героическая цельность и верность себе, власть и сила обстоятельств неодолимы: человек вынужден уступать и приспособливаться, и ничего позорного в этом нет. Кто не желает приноровляться ко времени и месту, тот сам исключает себя из общества. В любой земле свои нравы и обычаи, и долг пришельца — не потешаться над ними, но подражать им в меру своих сил — такой образ действия и благороден, и полезен. Обстоятельства оправдывают нарушение общепринятых приличий и правил поведения: в бане мы поневоле ведем себя беззастенчиво, среди матросов грубим, среди женщин дурачимся, среди придворных лжем, среди софистов пустословим, перед народом заискиваем. А стыдливость и застенчивость из добродетели превращаются в порок, если ты в крайности и надо искать выхода любыми средствами. Случается, что обстоятельства даже негодяев заставляют действовать с пользой для других или даже с подлинной отвагою, а случается, что вынуждают забывать и о науке, и даже о чести:

«...Первая забота подобает первым жизненным потребностям, а если ты прежде всего печешься о своем достоинстве, это все равно, как если бы кто думал только об учении, равнодушный к опасностям, которые угрожают его жизни» («Адагии», № 1488).

Цинизм ли это? Нам кажется, что нет, скорее — человечность. Та же, что в «Похвале Глупости» осмеивает упрямого стойка, не согласного ни на какие уступки живой жизни.

От природы все люди равны.

Рождение не различает Креза от Ира, царя от простолюдина. Одинаково стонут в родовых муках и королева, и нищенка. Одинаков первый крик императора и скромнейшего из его подданных. И нисколько не чище та пещера, из которой выходит на свет сын самодержицы, нежели отпрыск служанки. («Адагии», № 4057)

Но и врожденные качества, обусловленные хорошим происхождением, постулируются столь же решительно: «...Не платьем различается человек от человека, но в каждом от самого рождения заложены некие качества, которые просвечивают в лице и во взгляде и по которым ты легко можешь узнать свободного и раба, знатного и мужлана, честного и бесчестного» («Адагии», № 777). Здесь нужно, прежде всего, обратить внимание на то, что сугубо сословные свойства, никак от человека не зависящие, поставлены в один ряд с индивидуальными; то есть оказывается возможным благородство и не наследственное. Действительно, «существуют немаловажные различия между благородным и благородным точно так же, как между плебеем и плебеем, так что иных плебеев предпочтешь иным благородным» («Адагии», 1261). Этот принцип внесословной, незамкнутой, открытой для всех аристократии неотделим от веры в могущество воспитания — несмотря на силу природных задатков. Испорченность или же добропорядочность детей зависит главным образом от родителей, потому что

обыкновенно от добрых добрые и рождаются, — я имею в виду природные качества, — и голубка коршунов не выведет. Значит, приложим все усилия, чтобы самим быть добрыми. Затем постараемся, чтобы дети еще с молоком матери впитали возвышенные правила и взгляды. Чрезвычайно важно, что нальешь впервые в новый сосуд. Позаботимся, наконец, чтобы они всегда имели дома пример для подражания.

(«Разговоры»: «Поклонник и девица»)

Еще определеннее эта точка зрения сформулирована в «Воспитании детей...», где Эразм категорически возражает против того, будто на детей великих мира сего общие педагогические правила не распространяются.

Разве дети граждан менее люди, чем сыновья царей? Разве собственный ребенок не должен быть дорог каждому так, словно бы он царского рода? Если участь его невысока, тем больше потребность в воспитании и науках, которые помогают подняться с земли... Ведь немалое число людей из скромного состояния призываются к кормилу государственной власти, а иногда — и к наивысшему, папскому достоинству. Не все достигают этих вершин, но устремлять к ним с помощью воспитания должно всех.

Только личность обладает подлинной ценностью, а не коллектив, к которому она принадлежит; и заслуги и провинности следует относить на счет личности, а не коллектива. Мы позволим себе напомнить уже приводившееся однажды суждение Эразма о национальных особенностях: «Я согласен, что национальные различия имеют некоторое значение, но несходство между отдельными людьми гораздо важнее». Даже евреев он не желает судить и осуждать всех скопом: «Я мог бы любить и еврея — лишь бы он был дружелюбен и обходителен и не изрыгал кощунств на Христа в моем присутствии» (Письмо к И. Ботцгейму). И огульные суждения о целой профессии или иной

социальной группе кажутся ему несостоятельными. Удваивать жалование и почести всем учителям, объявляет он в «Воспитании детей...», было бы неразумно:

Почет и награды, если ими оделять и достойных и недостойных без разбора, будут для недостойного приглашением к хищничеству, точно так же как теперь пренебрежение и ничтожные размеры жалования отпугивают достойного... Я бы хотел, чтобы эти преимущества не были принадлежностью звания или должности, но служили бы поощрением заслуг и усердия...» Даже в литературных оценках основой служит сродство личностей автора и читателя. Читателю особенно приятно узнать по книге того, кто ее создал, узнать подробно, словно бы их связывает многолетняя дружба. «Вот почему разные люди столь различно относятся к книгам разных писателей: каждого либо притягивает, либо отталкивает сродный или чуждый гений, — в точности так, как одна и та же наружность одному мила, а другому противна. («Цицеронианец»).

Масса, толпа — постоянный предмет неприязни Эразма. «Что до массы христиан, то, судя по их понятиям о добрых нравах, никогда не бывало ничего пакостнее, даже среди язычников» («Кинжал...»). Недоверием к толпе, презрением к ее косности, темноте, жесткости, нелепым обычаям, дурацким мнениям отмечены многие страницы Лейденского собрания. Аббат ссылается на народную молву; собеседница резко его обрывает: «Что ты мне киваешь на народ — ведь никто не распоряжается своими делами бестолковой народа! Что киваешь на привычку — наставницу во всяческом безобразии!» («Разговоры»: «Аббат и ученая дама»). Другой «выговор» общим правилам — в «Роженице». В ответ на замечание Фабуллы: «Так повсюду принято», — Евтрапел взрывается: «Хуже примера ты и назвать не могла, Фабулла! Повсюду

грешат, повсюду играют в кости, повсюду ходят к продажным девкам, повсюду обманывают, пьянствуют, беснуются!»⁴⁵

Темы «христианской свободы» как противоположности «иудейскому рабству» мы уже касались. Надо указать еще одну противоположность «свободе» в Эразмовом мире — это прикованность к месту. Вспомним притчу о Каине, доводы, почему ангел-страж несчастнее изгнанников-людей. Всякий запрет неизбежно вызывает ответную реакцию в виде тоски по свободе: «Многие редко, а то и вовсе никогда не покидают города, где родились; но если бы вдруг им запретили выезжать за его пределы, они страшно досадовали бы на себя — зачем не ездили прежде! — и прониклись бы нестерпимым желанием расстаться с отечеством. Это чувство всеобщее...» («Разговоры»: «Солдат и картезианец»). Но и свобода требует разумного ограничения через правило «ничего сверх меры». Позорно, например, долго жить в одной стране и всё время оставаться в ней чужаком из боязни связать себя. И еще одна деталь важна для Эразмова понимания свободы: это нечто динамичное, скорее процесс, чем состояние или результат, свобода приобретается в преодолении соблазнов рабства («Адагии», № 3491).

Что касается понятия о справедливости, то весьма характерно требование, чтобы формальная справедливость («буква») уступала естественной («духу»), даже если для этого потребуются вступить в противоречие с Писанием (см. стр. 127 и сл., о разводе и вторичном браке). «Естественно-справедливые» тексты Писания Эразм подробно и с заметным удовольствием толкует, часто цитирует, «надстраивает». Сославшись на знаменитую главу из Иезикииля о личной ответственности каждого за свои поступки и проступки, он продолжает:

⁴⁵ В венгерском переводе здесь даются цитата и комментарий об идее индивидуализма Эразма, о не-мистическом общении с Богом (9+6 строк, С. 254–255). (*Примечание Ж. Х.*)

Итак, бог не вменяет в вину сыновьям преступления отцов, если только они не следуют путями отцов, и, стало быть, люди в большинстве своем чинят несправедливость, попрекая детей преступлением и казнью их родителей совершенно так, словно бы это они сами и преступление совершили, и казни подверглись «Твоего, говорят, — отца уличили в казнокрадстве и отправили на виселицу, а ты еще смеешь голос подавать, смеешь показываться на глаза людям!»... Но еще несправедливее те, кто, глумления ради, ставит в укор сыновьям не преступления, а тяжкую участь родителей или их несчастья: «Знал я, — толкуют они, — его батюшку: он был рабом. А у этого отец побирался».

(«О возлюбленном согласии в Церкви»)

Частый предмет возмущения Эразма — несправедливость в судах, продажность судей, безнаказанность, которою пользуются крупные хищники, меж тем как мелким злоумышленникам пощады нет. Но это «общее место» у всякого моралиста и сатирика, а вот убеждение, что малое, незаметное насилие предвещает великое и всеобщее, что если полетели щепки, то повалится и лес, особая настороженность и чуткость к любой несправедливости (напр., «Адагии», № 1768) — это уже эразмианство.

Но справедливость в целом — категория законности и закона, то есть состояния, низшего против свободы, любви и благодати. Любовь шире и выше справедливости, и главное в любви — милосердие и доброта. «Слово «милосердие» обнимает собою все проявления любви» («О чистоте скинии...»). Доброта — самое божественное из человеческих качеств. Так было даже во времена язычества, подчеркивает Эразм, так учил апостол Павел, так внушали отцы древней Церкви. Доброта всегда плодотворна, злоба всегда бесплодна, никчемна: и в жизни, и в самой смерти «добрый человек подобен овце, а скверный — какой-нибудь зловредной твари. Дохлая гадюка ужалить не может, но отравляет воздух смрадным гниением. Овца, покуда живет,

кормит нас своим молоком, одевает шерстью, обогащает щедростью утробы, а мертвая дает шкуру и съедобную целиком тушу» («Разговоры»: «Паломничество»). Благоденствие без душевной доброты теряет всякую цену: видя насупленные брови «благодетеля» и презрительно искривленные губы, слыша грубые речи, всякий с величайшей охотой не принял бы из его рук ничего, если бы не крайняя нужда. Тем важнее благожелательство, увы, столь редкое в людях, которые, первым делом, замечают чужие недостатки, к чужим же достоинствам слепы.

Но доброта у Эразма не беспредельна, не изливается на все живое без разбора (как, скажем, у Франциска Ассизского). Например, нежность к собакам представляется ему безнравственной, когда повсюду столько голодных людей.

По заслугам хвалят Масиниссу за то, что вместо обезьян и щенят он предпочитал кормить и воспитывать детей до трехлетнего возраста, а после возвращал их родителям. А что совсем возмутительно, так это то, что британцы держат целые стаи медведей — для медвежьих плясок — зверей прожорливых и зловредных. И обезьяны не лучше, разве что менее прожорливы. И не стыдно христианам играть в такие игрушки, меж тем как столько бедняков умирает с голоду! Впрочем, что печалиться об этом, когда, по примеру итальянцев, бродят с места на место люди и водят за собою девчонку или мальчишку, выученных нелепым и пошлым телодвижениям, и несчастьем одной девочки кормятся четверо или пятеро здоровенных бездельников. И на подобные забавы равнодушным оком взирают христиане!

(«Адагии», № 3354)

Поборник доброты и справедливости в иных — правда, очень редких — случаях обнаруживает жестокость, которая сегодня представляется чудовищной. В «разговоре» «Неравный брак» собеседники обстоятельно рассуждают, как поступать с сифилитиками, и, в конце концов, соглашаются, что всего

полезнее их уничтожать. Это не жестокость, но милосердие, потому что зло будет пресечено в зародыше и ценою смерти немногих удастся сохранить здоровье целого города. Быть может, христианской кротости это и не отвечает, но приходится считаться с требованиями жизни. Ведь отправляем же мы на виселицу воров, а здоровье, которое похищают сифилитики, несравненно дороже и денег, и любого добра. Да, но нередко они рассеивают заразу без всякого злого умысла. Что же,

законоведы учат, что иной раз справедливо предать смерти и невинных, если это очень существенно для государства... И не считается нечестивым, когда после убийства тирана умерщвляют и его детей, ни в чем не повинных. Мы, христиане, непрерывно воюем, а ведь нам известно, что самая большая доля военных бедствий приходится на тех, кто никак этого не заслужил.

Главный аргумент здесь — общее благо, которое требует такой жертвы в согласии с формулой «универсального парадокса»; жестокость оборачивается милосердием. Казалось бы, и логично, и последовательно, и оправдано необходимостью. И однако же поражает не только и не сама по себе жестокость, но измена самому себе, ставящая под удар всю систему мировосприятия. Вся она покоится на фундаменте индивидуализма, а выступая с позиций «общего блага», Эразм мигом оказывается на уровне той самой «толпы», которую он так презирает. Потому что «общее благо» очень зыбкое и очень опасное понятие: так легко внушить толпе, что ее благо требует самых невероятных пакостей!

Одно из драгоценнейших для Эразма проявлений доброты — это дружба. Истинная дружба вечна, бескорыстна, не знает ни счетов, ни границ. Взаимными симпатиями (или антипатиями) проникнуты не только люди, но и бессловесные твари, и даже неживая природа. Житейская практика, однако, вносит в идеальное понятие о дружбе немало серьезных поправок.

Дружба должна быть бессмертна, на самом же деле бессмертны раздоры, а дружеские связи хрупче стекла. «Друзья-просители — на каждом шагу; друзей-помощников не дозовешься» («Адагии», № 1781). Для многих друзья — точно платье: пока полезны, ими дорожат, а как используют до конца, тут же вышвырнут, будто рваную тряпку. Древняя пословица «*Друг далеко — дружбе конец*» возмущала Афиняя; Эразма его возмущение изумляет, ведь пословица эта не столько наставление, сколько напоминание о нравах, распространившихся повсюду. Где теперь отыщешь друга, такого надежного, чтобы он не переменялся к тебе в твое отсутствие? А стало быть, не стоит слишком доверять далеким друзьям и вообще лучше о них не думать и не заботиться, а все заботы посвятить тем, кто рядом... В этом скептическом рассуждении немало иронии, но есть и доля грустного реализма.

И дружелюбие Эразма так же не беспредельно, как доброта. Меру полагает, во-первых, благочестие («ради любви к другу не забудь о любви к богу»), а во-вторых, древняя истина, что не может быть по-настоящему хорош тот, кто хорош для всех подряд: «Есть род людей, которых... выгоднее иметь врагами, нежели друзьями. И не нравится кое-кому — похвально» («Адагии», №№ 2110, 1709).

Мы снова убеждаемся, что терпимость Эразма не приводит его к беспринципной всеядности.

Если истинное дружелюбие — редкое качество, то ничто не имеет столь широкого хождения, как завистливость, ничем не насыщается человеческий слух скорее, чем похвалами другим людям. Лучшее средство против зависти — это воздержность, скромность: надо старательно избегать всего, что может быть расценено как высокомерное бахвальство. Слава — первейшее украшение доблести, и нет более прекрасного достояния, которое можно было бы оставить в наследство детям, чем бессмертная память о громком имени. Но чтобы уберечь доброе имя от злобных укусов зависти, в первую очередь, потребны

врожденные качества дарованные судьбою, — «какая-то загадочная пристойность, нет, мало, удачливость» (Эразм имеет в виду стихийное обаяние немногих счастливиц, способных очаровать всех и каждого), а затем обходительность и любезность во всех житейских ситуациях. При этом следует опасаться тщеславной погони «за мимолетным человеческим одобрением. Лишь та слава вечна, что исходит от добрых корней, опирается на твердое суждение разума» («Разговоры»: «Филодокс»).

Зависть, однако же, — не худший из человеческих пороков. Куда страшнее, например, плод зависти — клевета!

Сколь многих клевета лишила жизни!.. Опозорить чужую жену — тяжкое преступление, но еще тяжелее — опозорить доброе имя другого. Кто убивает мечом, лишает жизни лишь одного, кто клеветою отнимает у арестованного имущество, поступающее в казну государя... губит многих — жену, детей, домочадцев, доводя их до голода и до петли. Но еще преступнее, по-моему, покушение на чужую славу. Честного человека арестовывают по ложному обвинению в измене или ереси. Мы знали людей, которых в тюрьме убили, а народу сумели внушить, будто они покончили с собой, и клеймо позорного обвинения переходило к супруге и к детям. («Язык»)

Ложь, казалось бы, — невинный изъян рядом с клеветою, но лгуны создают атмосферу всеобщего недоверия, так что разрушаются связи, необходимые для нормальной жизни общества (кредиторы, многократно обманутые недобросовестными должниками, отказываются ссужать в долг кому бы то ни было и т. п.). А лезть приобрела такую силу, что впору пожалеть о языческом боге злословья, Моме, который без стеснения говорил в глаза небожителям самую неприятную правду.

Обличение пороков, как всякому известно, — занятие однообразное и невеселое, нагоняющее тоску и на окружающих, и на самого обличителя. Но в мире Эразма пороки не сливаются

в сплошную (серую или черную) пелену, напротив, каждый — на свой лад, и мы с любопытством прислушиваемся и приглядываемся. Вот — лень. Эразм покажет нам не аллегория Лени и не ленивца вообще, но выберет конкретные обстоятельства, в которых действует (или, вернее, не действует) ленивец, обобщать же предоставит нам самим.

...Кому науки не в радость, ссылаются то на слабое здоровье, то на домашние заботы; иногда помехою зимний холод, в другой раз летний зной, а не то гнилая осенняя погода... Пообедав, они говорят, что нельзя садиться за книгу с полным желудком; натошак голод препятствует занятиям. Днем, утверждают они, сидит дома только бездельник; а бодрствовать при свете лампы вредно для глаз. Если живешь в достатке, к чему еще, спрашивается, науки? Нет достатка? — бедняк к философии не способен. Юноша твердит, что нельзя тратить лучшие годы на старческие хлопоты, человек в летах — что надо побережь здоровье. («Адагии», № 1512)

Или — пьянство:

Мы не только сами пьянствуем без удержу, но и других заставляем пить и чуть ли не с ножом к горлу пристаем: а между тем принуждать человека пить, если нет охоты, — пожалуй, что большая дикость, чем отнимать питье у жаждущего». Менее всего простительно пьянство государям и властителям: ведь они стоят у кормила правления, а что может быть опаснее хмельного кормчего?

(«Адагии» №№ 1217, 1218)

В густой толпе пороков особое место занимают алчность и самодовольство. «Похоть — страшный бич христианской религии, но алчность — полная погибель для благочестия» («Адагии», № 927). Алчности посвящено удивительное по резкости тона эссе в «Адагиях» — «*Взять подать с мертвого*». Эразм начинает с ростовщиков, но их корыстолюбие

ничтожно против алчности купцов, а купцы — ничто против знати и государей, обирающих народ догола, но и государи — жалкие недоучки по сравнению с клириками, которые умеют обобрать даже мертвого.

Инвективы против самодовольства представляют особый интерес потому, что самовлюбленность (Эразм употребляет греческое слово «филавтия») — родная сестра владычицы Глупости, первая в ее свите; Филавтии посвящено немало проникновенных, незабываемых слов в речи Глупости. Но примерно теми же словами (несмотря на вполне серьезный тон) писал Эразм о самодовольстве в «Адагиях» года за полтора до «Похвалы Глупости». Пословицу «*Каждому мило свое*» Эразм комментирует следующим образом:

Она выведена из общего для всех смертных образа мыслей, которому филавтия присуща до такой степени, что ни один человек, каким бы ни был он скромным, внимательным и зорким, не свободен в оценке собственного достоинства от некоей слепоты и пустых фантазий. Найдем ли мы уроженца такой дикой земли, чтобы его родина не казалась ему самой лучшей на свете? Есть ли племя настолько варварское, язык настолько грубый, чтобы они не взирали свысока на другие языки и племена? Есть ли обличие настолько зверское, чтобы себе самому не виделось самым прекрасным?.. Это общее правило, но особенно верно оно в применении к людям искусства, и прежде всего к поэтам, а также к влюбленным... У женихов в обычае наперебой восхвалять красоту своей невесты... Впрочем, филавтия была бы простибельна в той мере, в какой каждый особенно дорожит своими детьми, своим искусством, своим образом жизни, своими открытиями, своим отечеством, если бы она не доводила нас до такого ослепления, что мы и клеветаем на чужие достоинства, и льстим собственным порокам, прикрывая их именем добродетелей.

Чрезвычайно показательно, что порочность в глазах Эразма совпадает с глупостью и рабством, а добродетельность — со свободой, досугом и мудростью⁴⁶. И плотская любовь — тоже рабство. «Древность объявила, какая чистота подобает священнику, более того — какая свобода. Ибо любить — не что иное, как быть в рабстве». Да и вообще любовью она зовется лишь по превратности человеческих суждений, правильнее было бы называть ее ненавистью.

Когда юноша охотится за девушкой, чтобы отнять у нее невинность, сокровище ни с чем не сравнимое, чтобы лишить ее доброго имени и бросить в жертву грязной молве, чтобы ее возненавидели и родители, и друзья, и вообще все порядочные люди... — может ли, спрашивается, враг причинить большее зло врагу?

(«Адагии», № 3889, 3691).

О женщине Эразм судит достаточно строго: она и несносно болтлива, и ленива, и жестока. Ни в коем случае нельзя доверять ей учить детей. Но сами недостатки ее, если поглядеть внимательно, заслуживают снисхождения. К тому же в большинстве проступков женщины повинны ослепленные страстью мужчины: сперва они исполняют любое сумасбродное желание жены или возлюбленной, а после, пытаясь оправдаться в собственном безумии, все валят на женщин.

Но главное, каковы бы ни были женские недостатки, женщина требует равного к себе отношения во всем, — такой вывод с неизбежностью следует из очень обильных высказываний Эразма о женщине, — не равноправия, разумеется, но именно равного отношения, с учетом всех особенностей женской природы по сравнению с мужской. Возьмем нарочно такой деликатный вопрос, как прелюбодеяние. Мужья в нынешнее

⁴⁶ В венгерском переводе здесь дается цитата, 8 строк о грехах как барина, и о службе им (С. 266). (Примечание Ж. Х.)

время, замечает Эразм, очень часто позволяют себе шнырять по чужим спальням, не довольствуясь собственным ложем. «Но если с женою приключится нечто, объяснимое человеческой натурой, муж небо смешивает с землею, столь же несправедливо суровый к супруге, сколь позорно снисходительный к самому себе» («Адагии», № 1918). Разговоры о превосходстве мужчины над женщиной выражают сугубо мужскую точку зрения. Но бог подчинил женщину мужчине. Верно, но на том условии, что в браке оба имеют власть друг над другом, хотя женщина и покоряется «более сильному, слышишь? — не лучшему, но сильнейшему». Что же касается даров души, в которых только и запечатлено божие подобие, какое у мужчин преимущество?

В котором из двух полов больше пьянства, ссор, драк, смертоубийств, грабежей, прелюбодеяний?» — «Но только мы, мужчины, воюем за отечество». — «Но вы же и в бегство обращаетесь сплошь да рядом, позорно бросив свое место в бою. И не всегда воюете за отечество, а чаще покидаете жену и детей ради грязного жалованьишка, добровольно, хуже всяких гладиаторов, продаете свои тела рабской необходимости либо умирать, либо убивать. И как бы ты ни хвастал передо мною воинской доблестью, любой из вас, если бы хоть однажды испытал, что такое роды, предпочел бы десять раз стоять в боевом строю, чем один раз родить ребенка; а мы родим да родим, не считая... Нам нельзя иначе, как биться со смертью лицом к лицу. («Разговоры»: «Роженица»)

Женщина имеет полное право учиться. Женская образованность нимало не вредит добрым нравам — это пошлый и пустой предрассудок толпы.

Участвовать в государственных или общественных делах женщинам, пожалуй, не стоит (впрочем, твердой уверенности в этом у Эразма нет), но, во всяком случае, им необходимо свое общество, свои занятия и интересы, избавляющие от пагубной праздности.

За всем тем нелепо было бы отрицать двойственность в отношении Эразма к женщине, недоверие и неприязнь к ней: для средневекового мировосприятия, в особенности для монашества, это традиция, идущая от первых веков христианства. Неприязнь эта становится непримиримо резкой, когда речь заходит о старухах. Пословицу *«Лучше разозлить собаку, чем старуху»* Эразм комментирует такими словами:

Раздражителен и мстителен женский род, по недомыслию и по низости души... Но женщина становится положительно опасным животным, если к пороку пола присоединится старость. Разъяренная собака только лает, на худой случай, укусит, а разъяренные старушонки, кроме ядовитого языка, вооружены темным, зловещим искусством.

Этот намек на ведьм и колдуний можно было бы тоже рассматривать как еще один «пережиток средневековья», если бы не странная неприязнь, почти что ненависть к старости, которая так и бросается в глаза, когда читаешь «Адагии».

Доброе или сочувственное слово о стариках здесь величайшая редкость; даже мало-мальски объективные, беспристрастные вариации на такую обязательную для моралиста тему, как «тяготы старости», встретишь нечасто.

Богачи, как правило, обходятся со слугами не иначе, чем с конями и собаками, если только не хуже: пока они полезны, держат их подле себя, как состарятся — выгоняют вон. А стало быть, каждому надо заранее позаботиться о своей старости, чтобы провести ее с удобством, и чтобы не пришлось зависеть от чужой щедрости в ту пору, когда кругом встречаешь одно презрение. (№ 2322)

Не ради порицания жестоких богачей это говорится, это просто житейский урок, обязательное правило, которое следует усвоить каждому.

А в основном, в массе — совсем иное. Старость прожорлива и ненасытно алчна; чем меньше остается жить, тем больше тревожится старик о средствах к жизни. Старость несносно придирчива и ворчлива. Старикам не стоит оказывать услуг, потому что отблагодарить они уже не смогут. «Данакон» называлась у древних греков плата, которую мертвые давали Харону за перевоз через реки преисподней. «Мне кажется, — невозмутимо замечает Эразм, — мы правильно употребим это слово, если посоветуем старику припасти данаку, намекая, что ему скоро расставаться с жизнью» (№2696). «Об умерших стариках... друзья не горюют. И в наши времена можно услышать, как на весть о смерти человека пожилого люди откликаются: «Ничего страшного, не в колыбели скончался» (№ 1816). В древности говорили: «Шестидесятилетних сбрасывать с моста». Что бы это могло значить? Либо стариков свыше шестидесяти лет лишали права голоса, либо отправляли на почетный отдых, а может быть, и правда, убивали, чтобы они не путались под ногами и не дармоедствовали. Эразм рассуждает ровным, спокойным тоном и так же спокойно заканчивает: «Пословица применима либо для выражения неприязни к преклонному возрасту, ни на что не пригодному и отстраняемому от всех житейских обязанностей, либо порицания к тем, кто по старческому бессилию уже... уволен от обычных дел» (№ 437).

Хотелось бы высказать одно предположение: возможно, что старость отвратительна Эразму своею вялой бездеятельностью, потому что активность, динамизм, в его глазах, великое достоинство и долг человека. Не следует, разумеется, упускать из виду и таких общих соображений, как свойственная средневековой безжалостность к слабости (прекрасно уживающаяся с сентиментальным и хвастливо-демонстративным милосердием к бедняку), и таких сугубо личных, как невыносимая брезгливость

Эразма по отношению ко всякой болезни и неопрятности. И все же геронтофобия, как ее ни объясняй, — такая же измена эразмианства самому себе, как и призыв к поголовному истреблению сифилитиков.

Самое благородное и благодарное поприще, на котором трудится человек в мире Эразма, — это науки. Ученые занятия — чуть ли не единственное светлое пятно в окружающем мраке, чуть ли не единственное истинное благо, неподвластное самодурству судьбы, они сама радость, сама прелесть, само доброжелательство в океане уродства и злобы «мира сего». В предисловии-посвящении к первому (парижскому) изданию «Адагий» Эразм писал: «Если бы не прикосновенность к наукам, я просто не вижу, что есть отрадного в этой жизни». «Ученость не приобретаешь ничем, кроме труда. Царская власть, случается, приходит и во сне, богатства текут и к бездельникам, почести достаются и тем, кто бежит от них, но истинные блага можно стяжать только собственным трудолюбием» («Адагии», № 1402).

Скорби, грубости, суровости в ученых занятиях не место. Мне кажется, что и древние хотели указать именно на это, наделив Муз красотой, кифарою, звонким пением, пустив-ши их водить хороводы по прелестным лужайкам и в спутницы им назначивши Граций. Успех наук состоит главным образом во взаимном благожелательстве, отчего древние и называли ученость «человечностью.

(«О... воспитании детей...»)

Едва ли можно сомневаться, что суждение о науках и их роли в жизни человека обусловлено не только принципами эразмианства, но и свойствами природы Эразма, и его «профессией».

Житейская практика (как всегда в мире Эразма) вносит в теорию весьма ощутительные коррективы. Ученое поприще на поверку оказывается не столь уже благодарным и не столь радостным. Труд того, кто возвращает к жизни памятники древней, истинной учености, скорее схож с мучительным

подвижничеством Геркулеса, чем с беззаботными плясками Муз. А в награду — презрение невежд, смех полунежд и зависть тех немногих, кто, действительно, способен оценить всю грандиозность и тяжесть исполненной работы. Так стоит ли заниматься таким делом, лишая себя всех человеческих удовольствий, забывая о своем доме и хозяйстве, не дорожа ни своею внешностью, ни здоровьем, ни сном? Да, стоит, но лишь тому, кто способен на бескорыстную любовь к ближнему.

Итак, возрождающаяся ученость не встречает приема, которого заслуживает, и причин тому две. Во-первых, подозрительность старшего поколения. (Еще один исток неприязни к старости!) Старикам кажется, что их лишают влияния и власти, если учат молодежь тому, чего они не знают, а сами выучить уже не способны или не хотят. Но это «новшества» лишь на их взгляд, на самом же деле это «давние хозяева, возвращающиеся в свой дом». Универсальный парадокс бытия обнаруживает себя еще раз: «со старыми друзьями ведут непримиримую войну, точно с пришельцами и врагами», «новым зовут самое древнее, древним — новое». Разве все древние авторы не были великими знатоками латыни и греческого, все — и язычники, и христиане, и богословы, и юристы, и медики? А ныне будущего богослова пичкают Аверроэсом и схоластической ерундой, языки же и великие богословы прошлого из курса занятий исключаются. Вот это и есть «новизна», «если только не «ново» то, что идет от века Оригена, и не «древне» то, что возникло триста лет назад». Вдобавок самые злонамеренные старики и в школах, и с проповеднической кафедры твердят, что от греческого, от еврейского, от Цицерона — все нынешние ереси. При дворах они кричат, что от наук пошел Лютер, крестьянские бунты и вообще все смуты в государстве. Иные же из них, как услышат в исповедальне, что юноша уступил телесной похоти, тут же начинают выпрашивать, не читал ли он Вергилия или Лукиана, и всю вину опять-таки взваливают на науки.

Во-вторых, дерзость и самонадеянность самих адептов возрожденного знания.

Есть среди них нестерпимые наглецы, которые, выучив дюжину латинских слов и пяток греческих, кажутся себе Демосфенами и Цицеронами, выпускают ничтожные, а иногда и вредные книжонки, презирают все семь свободных искусств и поносят тех, кто их преподает. А иные пользуются образованностью для самых худших целей — для мятежной брани, для расшатывания и потрясения согласия христианского государства. Но нельзя по скверным нравам скверных поклонников учености судить скверно обо всей учености («Адагии», № 3401)

Ученые разобщены и одиноки, и, вместе с тем, они образуют союз, который теснее и крепче союзов родства или обыкновенного дружества. Он неуязвим даже для мечей и ядер. В разгар войны императора Карла V с Франциском I, королем Франции, Эразм пишет другу, оказавшемуся «во враждебном стане»: «Союз Муз эти волнения не расторгают, и связей между нами законы войны порвать не могут. Нет мира между Империей и Францией, но прекрасно ладят между собою товарищи по благороднейшим занятиям» (предисловие-посвящение к письмовнику «Как писать письма»).

Понятиям «наука», «образованность» противопоставляются, как несовместимые с ними, воинственность, приверженность удовольствиям, семейные или хозяйственные хлопоты. И еще одно противопоставление, не менее любопытное: искусство несовместимо с политикой, люди ученые и порядочные управлять государством не годны.

Путь к образованности открыт всякому, кто способен на него вступить. «Врата Муз не знают зависти» — эта пословица может служить девизом к деятельности Эразма-гуманиста. Ему непонятна ревнивая скрытность многих его коллег, берегущих свою ученость от «непосвященных». Он соглашается с пословицей «К тайному знанию никакого

почтения» и добавляет: «Есть люди, которые либо по какому-то врожденному изъяну, либо даже по злему умыслу скрывают свои знания и не хотят делиться ими ни с кем». Именно это завистливое недоброжелательство препятствует расцвету наук к северу от Альп (в сравнение с Италией). Когда в Венеции он готовил «Адагии» для Альда, вспоминает Эразм, все хотели ему помочь, хотя он был и незнакомец, и чужеземец, все наперебой снабжали его книгами и рукописями. Зато один германец, у которого была нужная Эразму книга, отказал ему наотрез — решительно не желая, чтобы эрудиция, которая до той поры была монопольным достоянием ученой братии и предметом молчаливого восхищения всех прочих, профанировалась, выходила в общее пользование. Вот почему в монастырских библиотеках Германии, Франции и Англии тлеют под спудом древнейшие рукописи, их тщательно скрывают от чужих взоров, а если и соглашаются показать, то заламывают цену, совершенно несуразную... («Адагии», № 1001).

Но то, что для иных современников Эразма было профанацией, сегодня представляется признаком своего рода демократизма или, во всяком случае, антикорпоративности. Надо, однако, признаться, что и такое суждение тоже восходит еще ко временам самого Эразма. Беат Ренан писал в 1542 году:

С какою ясностью и простотой излагал он любой предмет, желая быть понятым всеми; между тем многие объясняют так, что непонятное становится еще более непонятным. Когда он работал над собранием пословиц, некоторые ученые твердили ему: «Эразм, ты разглашаешь наши тайны». Но он хотел, чтобы тайны учености были открыты всем....

«Ученые занятия» — понятие широкое и весьма расплывчатое; скорее всего его можно определить как умственную деятельность, куда войдут и философия, и богословие, и словесное искусство, и история, и естественные науки, и даже

теория музыки. Но оккультные науки исключаются из него категорически. Колдовство, ведовство, ворожейство, твердит Эразм, это обман для дураков, астрология — бич христианского мира, суеверие еще более нелепое, чем древнеримские ауспиции, которым она пришла на смену, истинное предвидение будущего рождается из знания прошлого и настоящего.

Большинство людей держится, как я вижу, того мнения, что оснований человеческого счастья или несчастья надо искать среди звезд... По мне же, пусть на звезды глядят другие: я полагаю, что на земле надо искать то, что делает нас счастливыми или несчастными.

(письмо к П. Цутпению, № 1005, по Аллену)

Эти слова об астрологии хорошо определяют отношение Эразма ко всем таинственным силам, сопрягающим земной мир с миром иным, которые внушали такое доверие средневековому человеку, так манили и притягивали его, несмотря на явное неодобрение и даже прямые запреты духовных и светских властей. Разоблачению жульнических проделок алхимиков и ложных чудес, не менее корыстного свойства, чем алхимические фокусы, уделено немалое место в «Разговорах запросто» (диалоги «Привидение», «Алхимия», «Разговор нищей братии», «Паломничество» и некоторые другие). Забавно, что на одну доску с алхимией Эразм ставит горное дело, полагая, что в «поисках сокровенных жил Земли» риск так же несоизмерим с возможною выгодой, как в погоне за философским камнем.

Словесное искусство занимает особое положение внутри «ученых занятий» — по особому значению и особой силе слова, о чем уже говорилось выше в связи со взглядами Эразма на Писание. Деревянные и каменные статуи Христа мы украшаем золотом и самоцветами. Но статуи — лишь отблеск внешнего подобия, а евангельское слово для Эразма — «живой образ священнейшего его (Христа. — С. М.) ума, оно выражает самого Христа, глаголящего, исцеляющего, умирающего,

воскрешающего, воспроизводит всего спасителя так, что, и видя воочию, ты не разглядел бы ни лучше, ни яснее» («Параклеза»). Уже эта чисто богословская и, следовательно, самая общая постановка вопроса позволяет судить, насколько важно слово для всей системы Эразмова мира.

Письменное слово соединяет прошлое с настоящим. Если бы не письменная традиция, прошлого не было бы вовсе, а через ее посредство оно возвращается к жизни и встречается с настоящим всякий раз в полной силе и свежести. Это хорошо понимали и в древности: «Александр Великий предвидел, конечно, что и картины Апеллеса и статуи Лисиппа спустя немногие лет погибнут и что обессмертить славу великих мужей не способно ничто, кроме достойных бессмертия писаний...» Это — осень 1499 года («О презрении к миру»): уже в самом начале своей литературной карьеры Эразм имел твердое убеждение в неоспоримом превосходстве словесного искусства над всяким другим.

Мощь слова ни с чем не сравнима.

Мы дивимся, что крохотная рыбка ремора вдруг останавливает громадный корабль, летящий на всех парусах, и несколько не удивляемся, что язык, который немногим больше реморы... вызывает, отсылает, возмущает, успокаивает тысячи и тысячи людей и не только государства поднимает друг против друга, но и Африку, Азию и Европу. («Язык»)

Впрочем, не одни лишь речи государей и полководцев оказывают такое решающее влияние на судьбы людей — обыденные наши речи не только выражают наш характер, но и формируют его, и даже меняют. Эразм восхищался афоризмом Джона Колета, который тот любил повторять: «Мы таковы, каковы наши повседневные разговоры; мы становимся таковы, каковы речи, которые часто звучат у нас в ушах» («Адагии», № 974). Манера речи и письма позволяет безошибочно узнать характер

человека. «Всякий образ жизни, всякая способность души отражаются в речи, как в зеркале» (№ 550). Суть дела открывается только через слово, а потому люди, которые спешат узнать «вещи», не заботясь о правильности «наименований», несут тяжелые убытки: не зная толка в речах, они неизбежно оказываются слепы, беспомощны и бестолковы в делах.

Эразм неоднократно выражал свое отвращение к словесному шукарству, к любому кокетничанию словом. Он не сомневался, что великое ораторское искусство древности было погублено болтливостью краснобаев-декламаторов. Его отношение к современным писателям с отменной четкостью определено в эссе «Торопись не спеша»: Эразм не сбрасывает их со счетов, как никуда не годных, напротив, у них можно найти немало полезного, но сравнения с древними они решительно не выдерживают и, стало быть, терять на них время, если это в ущерб занятиям древностью, решительно не стоит. (Надо заметить, что в молодые годы он судил менее строго — считал, что такие гуманисты, как Эрмолао Барбаро, Пико делла Мирандола и Анджело Полициано, способны успешно состязаться с античностью.) Среди древних же его любимейшими авторами были Плутарх, Лукиан и Цицерон, а из поэтов — Гораций и Вергилий. О сочинениях Плутарха он говорил даже, что после Священного писания эти книги самые лучшие и самые чистые.

В утверждении великой, исключительной ценности литературы есть, разумеется, мотив личной заинтересованности, самоутверждения. Заслуги писателя выше, чем любого иного художника, и, стало быть, не он в долгу у благодетеля-мецената, а благодетель у него. Раздражать, оскорблять писателя опасно: он отомстит обидчику вечным позором.

Мысли и суждения Эразма о словесном искусстве, на редкость существенные сами по себе, внутри системы, весьма знаменательны и в контексте средневековой эстетики в целом, преобразующейся под воздействием новых, ренессансных

идей. Для классического средневековья характерно убеждение в превосходстве зрения над всеми прочими чувствами, — в согласии с известным античным афоризмом: «двум глазам скорей поверим мы, чем десяти ушам». И теория, и практика Эразма разрушают старинное убеждение. С другой стороны, однако, ученые новейшего времени разработали теорию визуальной неполноценности средневекового человека. Не вдаваясь в ее оценку, мы должны отметить, что и для этой концепции высказывания Эразма представляют собою драгоценный материал.

Что касается взглядов Эразма на изобразительное искусство, о них уже говорилось выше, в связи с диалогом «Цицеронианец».

Теперь от отдельно взятого человека, от индивидуума мы обратимся к общностям людей и поглядим, как, по Эразму, ведет себя человек, какие обнаруживает достоинства и пороки в качестве общественного животного.

Цельной теории Церкви, или государства, или семьи у Эразма мы не найдем, и не только по общей неприязни его к замкнутым системам и построениям, но и потому, что исходным пунктом всех его размышлений всегда оставалось строго и последовательно личностное понятие спасения. Комплексы людей привлекают его внимание лишь постольку, поскольку его интересуется отдельный человек в рамках этого комплекса.

О Церкви Эразм судил в согласии с взглядами древних ее деятелей и столпов. Церковь — это мистическое тело, голова которого — Христос, а христиане — члены, это община любви, живущая по «уставу духа». Каждый христианин не может не радоваться радостью ближнего и не страдать его страданием потому, что все они — одно тело. Оставляя в стороне многие чисто богословские аспекты, заметим, что и Церковь для Эразма не вечна, не постоянна, не статична: это лишь некое промежуточное состояние между актом творения и Страшным судом.

Вся реформаторская деятельность Эразма есть призыв вернуться вспять, к древней Церкви, или, точнее, к тому идеалу, который виделся ему в Писании и в сочинениях древних христианских авторов. Надежда на возрождение в этом специфическом смысле не покидала Эразма даже тогда, когда ему стало ясно, чем оборачивается борьба Лютера против Рима, когда он понял, что Лютерова реформа — никак не исполнение его чаяний, а скорее удар по ним, когда открыто выступил в поддержку Рима и традиционного католицизма. На Эразмову «Свободу воли» Лютер отвечал трактатом «О рабстве воли»; Эразм, в свою очередь, выступил с контрвозражениями — в феврале 1526 года Фробен напечатал книгу под названием «Заступник. Беседа, опровергающая «Рабство воли» Мартина Лютера». Осенью следующего года вышла в свет вторая книга «Заступника»,

и на заключительных ее страницах, вероятно, к немалому раздражению своих союзников, Эразм объявлял: «Я терплю эту Церковь до тех пор, пока не увижу лучшей».

Правда, в сочинениях самых последних лет жизни можно встретить высказывания, противоречащие всегдашнему духу индивидуализма и внутренней свободы. Вот, для примера, одно из таких суждений, заимствованное из «Толкования псалма LXXXIII» («О возлюбленном согласии в Церкви») (напечатано осенью 1533 года).

Фокион и Аристид, Траян и Антонин Пий совершили очень много храбрых, благочестивых и справедливых деяний ради отечества; окружены похвалами самообладание Зенона, бескорыстие Ксенократа, долготерпение Сократа; но поскольку все они действовали помимо Христа, подлинного счастья не стяжали. Император Юлиан истратил огромные деньги на помощь беднякам. Но — против Христа! И про многих еретиков рассказывают, что они отличались замечательными, почти что невероятными доблестями: эбиониты — великим презрением к богатству, евхиты — чудесною неумоимостью в молитве, манихеи — великой воздержностью и строгостью жизни. Но всё — впустую, ибо не в гнезде Церкви вскармливали они своих птенцов.

(Так и подмывает, на манер комментаторов XVII века, вольно и запросто беседовавших со «своими авторами», спросить: Эразм, голубчик, а как же «Святой Сократ, моли бога о нас»?)

Нет сомнения, что в подобных высказываниях повинны и старческая усталость, и ожесточение против Лютера со всеми его разномастными приверженцами, и бурные события второй половины двадцатых годов, в первую очередь — Крестьянская война в Германии. Но они настолько редки, а общее направление мысли Эразма и в последний период жизни настолько прежнее, что, не пытаясь изобразить нашего героя лучше, смелее, последовательнее, чем он был, мы все же вправе

утверждать: ни общей ревизии мировосприятия, ни даже решительного пересмотра отдельных взглядов и убеждений не было. Мы попытаемся показать это на примере отношения к ритуалу.

В том же сочинении, «О возлюбленном согласии в Церкви», Эразм пишет: «Не заслуживает названия "таинства" то, что не отмечено никаким внешним знаком и совершается лишь помыслом духа». Казалось бы, нарушен главный пункт «устава духа», потрясена одна из основ эразмианства. Но, во-первых, Эразм, главным в таинстве считая не «плоть», а «дух», никогда в течение всей жизни не отрицал объективно спасительного характера таинств. Во-вторых, приведенную выше цитату, как и всякую иную, следует оценивать в контексте, а в контексте сказано только, что нет оснований совершенно отменять обедню, словно нечто вредное и нечестивое, ибо за нею — многовековая и уже ставшая священной традиция; а что обряд обедни засорен суеверными и даже нечистыми позднейшими наслоениями, что нередко и совершается нечестиво, что ни к чему особые обедни (вроде обедни о терновом венце, о трех гвоздях, о крайней плоти Христовой, за путешествующих, бесплодных, беременных, больных трехдневною лихорадкой и проч.), что есть немало других отклонений от истинного и древнего образца христианской обедни, — в этом Эразм нимало не сомневается. Наконец, в-третьих, почти одновременно с «Толкованием псалма LXXXIII» он пишет «О приготовлении к смерти», где еще раз, с прежней энергией и бескомпромиссностью, проповедует превосходство «духа» таинства над его «плотью».

Эта мысль, доподлинно, может быть названа лейтмотивом проходящим через любое мало-мальски значительное сочинение Эразма. Обряды, обеты, паломничества, посты, службы — все это хорошо лишь в той мере, в какой помогает слабому духом познать Христа, познать закон любви, поддерживает, направляет, мешает сбиться с пути. Но, становясь из средства целью, они мигом теряют всякий смысл и обращаются в суеверия, в лицемерное пустосвятство или в «новый иудаизм»

(что особенно пугает Эразма). Без доброй воли и добрых дел обряд бессилен, недействителен. Суть крещения не в том, что младенца окропили водою, и не в скрупулезном исполнении священником всех предписанных церковными правилами деталей ритуала, но в том, чтобы, войдя в возраст и разум, окрещенный неукоснительно исполнял крещальный обет, который когда-то произнесли за него — бессловесного и бессмысленного — крестные родители. Бесполезен пост, если он оскверняется непристойною болтовней. С постами у Эразма особые счеты. Он и сам ненавидел их и не переносил, и вообще считал, что от них пользы никакой, а вред громадный, потому что беднякам и людям слабого здоровья они причиняют ущерб телесный, а богачам служат поводом к расточительству и обжорству: кто, в самом деле, не предпочтет осетрину, форель или миногу копченой свинине или бараньему окороку? И далекие паломничества — в Иерусалим ли, ко гробу господню, в Рим, к могилам Петра и Павла, или в Сантьяго, к мощам апостола Иакова — ни к чему, если в сердце у паломника Содом, Гоморра и Вавилон: долгое путешествие лишь введет его в новые искушения и грехи. Вдобавок, семья паломника и его имущество подвергаются смертельной опасности со стороны алчных, коварных соседей и лжепокровителей. И все это суеверие, ветреность, опрометчивость, глупость прикрываются именем благочестия!..

А праздники? Ведь они были учреждены, чтобы питать и умножать благочестие, ныне же служат всяческому безобразию и нечестию: никогда христианский люд столько не пьянствует, не блудит, не играет в кости, не дерется, не сквернословит, сколько в праздники. А обеты? Каких только нелепых или прямо-таки кощунственных обетов не приносят люди в час опасности, чтобы затем, спасшись, не менее кощунственно пренебречь своим обетом, да еще хвастаться: вот, мол, как ловко надул святого. Впрочем, обиды святых Эразма не волнуют: непомерно разросшееся почитание святых представляется ему «новым язычеством», ибо вытесняет из души образ Христа.

Даже культ богородицы, по его мнению, умаляет величие ее божественного сына, а потому должен быть умереннее, скромнее. Истинный культ святых — в подражании их подвигам и достоинствам, а не в идольском поклонении реликвиям, большая часть которых, вдобавок, заведомо подложна. Те, кто разъезжает по градам и весям, показывая доверчивым простакам всякие щепки, лоскутья и старые башмаки и собирая обильную дань с их легковерия, ничуть не лучше наглых шарлатанов, жрецов Сирийской богини, осмеянных Апулеем в «Золотом осле»: нужды нет, что одни — христиане, а другие — язычники. Наконец, и церковные службы, и сами молитвы не продолжительности требуют, не изнурительного стояния в храме, но душевной сосредоточенности, без которой молитва немногого стоит.

Мы сочли возможным обойтись здесь без цитат и ссылок: любой, кто прочитал «Похвалу Глупости», в них не нуждается.

Чтобы верно оценить воззрения Эразма на всю внешнюю сторону религиозной жизни, необходимо все время иметь в виду чувство меры — главную опору в фундаменте эразмианства. В послании «О пользе «Разговоров» Эразм, поясняя диалог «Рыбодество» (где речь идет о постах и прочих обрядах), говорит:

Я рассматриваю вопрос о человеческих установлениях, которые иные отвергают полностью, сильно погрешая против правого суждения, а иные чуть ли не ставят выше божественных законов, третьи же злоупотребляют и человеческими и божественными установлениями ради корысти и тиранического произвола. Я пытаюсь умерить рвение первых и вторых...

Читатели «Похвалы» помнят, как потешается Эразм над теми, «кто внушил себе глупое, но приятное убеждение, будто стоит человеку поглядеть на статую или икону Полифема-Христофора — и смерть не грозит ему в этот день». И четверть века спустя,

когда реформаторы уже выбросили из храмов изображения святых, он по-прежнему утверждает, что непримиримые враги икон и статуй правы, ибо культ изображений — это смертный грех идолопоклонства. Но рвение гонителей чрезмерно. Ведь живопись и ваяние — это безмолвная поэзия, иной раз более красноречивая, чем лучший оратор. Итак, кто убежден, что изображения святых не заслуживают никакого почитания, пусть остаются при своем убеждении, но пусть не поносят и тех, кто чтит иконы не из суеверия, а из любви к предмету изображения, так же примерно, как юная невеста целует кольцо, подаренное отсутствующим женихом. Такой избыток любви не может быть неугоден богу.

Вместе с тем, он и в последнем своем сочинении «О чистоте скинии» (февраль 1536 г.) произносит слова, направленные одинаково и против лютеран, и против папистов: «Закон духа требует не только духа благочестия, но и дел благочестия; а без них, как бы тщательно не соблюдались внешние обряды, закон духа погран, и что бы вы ни делали, все это — одно лицемерие». Значит, как ни жаждал Эразм прекращения раскола и примирения враждующих, собственных позиций он не уступал даже ради такой цели.

Критикуя какую бы то ни было общность людей — социальную, профессиональную, этническую и т. д. — Эразм неопустительно оговаривается: я говорю не обо всех в целом, но лишь о дурных. Такими оговорками (вполне искренними и естественными у моралиста и индивидуалиста) сопровождается и критика духовенства, несмотря на свой универсальный, всеобъемлющий охват. Впрочем, и это не удивительно: церковь, современная Эразму, слишком далека от суровости, бедности и простоты древнего христианства.

Приходские священнослужители — самый многочисленный разряд клира — алчные стяжатели, пьяницы, сонливцы, бездельники, праздные болтуны. Под хмелем они и требы справляют, и исповедуют, и проповедуют; только глупец

открывает им свои тайны в исповедальне. Отбормотав службу, они не знают, куда себя деть (потому что и ручным ремеслом не занимаются, и к наукам равнодушны), а потому бредут на площадь или в кабак, чтобы послушать свежие сплетни и самим посплетничать всласть. А как они проповедают, эти дремучие невежды! Повторяют чужие слова, плохо выученные и еще хуже понятые, зато режут, как быки, и кривляются, как помешанные. И это еще не самое худшее, потому что нередко с проповеднической кафедры звучит и похабный анекдот, и клевета, и наглая лезть сильным мира сего. Конечно, и священнического целомудрия они не соблюдают: и сожительниц держат, и просто блудят — с кем придется. Тут, однако же, Эразм готов оказать им снисхождение:

Завидовать, ненавидеть, копить богатства намного преступнее, чем иметь женщину, с которою делишь ложе, как говорит блаженный Иероним — спасаясь от ночных страхов. Но священника, который в этом повинен, называют «дрянью» и «дерьмом», а те, кто раздувается от гордыни, сохнут от корыстолюбия, дышит ядом ненависти к целому миру, те слывут безукоризненными и святыми. Разумеется, ведь это всего лишь изъяны достойных людей! («Адагии», № 2674)

Не лучше и высшее духовенство — аббаты, епископы, кардиналы. Они страдают всеми теми же пороками, разве что лучше прячут их под громкими титулами и пышным облачением, зато и сами пороки громадны и помножены на тщеславие. А папы потворствуют этому безобразию и таким образом сами оказываются в нем замешаны. «Павел не велит быть епископом ни новообращенному, ни драчуну, ни пьянице. А ныне римский первосвященник, ежели вздумает, допустит к епископскому сану хоть и накануне окрещенного, хоть и пирата, нисколько не страшась Павлова постановления» (Примечания к Новому

Завету). Не мудрено, что Рим сделался вместилищем всяческой скверны, там все растленно и продажно.

Что чрезвычайно тревожит Эразма, так это светская власть в руках у духовных лиц и церковные богатства, иными словами — обмирщение клира. Духовные владыки, одновременно несущие обязанности светских государей, не способны хорошо исполнить ни своего долга перед паствою, ни перед подданными. Нужно полностью освободить их от светских забот — это только возвысит их, а не унизит, обогатит, а не разорит. Ныне же папы подражают не Христу и апостолам, а Юлиам Цезарям, Александрам Македонским и Ксерксам, наместник Христа подражает злодеям и разбойникам! Христос объявил, что его царство не от мира сего, а глава Церкви Христовой на земле всеми средствами домогается мирской власти. Не потому говорит это Эразм, чтобы имел в намерении силою лишить духовенство его прав и имений — мятеж ему не по душе. Он наивно мечтал о том, чтобы духовенство добровольно отказалось от этих низменных, языческих благ или хотя бы не дорожило ими так, словно ничего дороже на свете нет. Тогда, быть может, удастся избежать крайних средств, которые могут быть чреваты бедствиями, пострашнее нынешних.

Секуляризация церковных имуществ в ходе Реформации вызвала у Эразма новую тревогу, не утишив прежней. Весьма показателен следующий обмен репликами в диалоге «Паломничество»:

Менедем. Часто я задаю себе вопрос, как и чем оправдают свою вину люди, которые тратят столько денег на сооружение, украшение и обогащение храмов, что нет этим тратам ни предела, ни меры? Не спорю: в священных облачениях, в храмовых сосудах должно быть свое великолепие, отвечающее торжественности обрядов. Я хочу, чтобы свое величие было и в самом строении. Но к чему столько купелей, столько подсвечников, столько золотых изваяний? К чему бешеные расходы на органы?

Впрочем, и органов нам еще не довольно — к чему это бляние струн, за которые приходится столько платить, между тем как братья и сестры наши, живые храмы Христовы, чахнут от голода и равнодушия ближних?

Огигий. Всякий благочестивый и разумный человек желал бы, чтобы этому был назначен какой-то предел. Но поскольку подобные безмерные траты рождаются из безмерного же благочестия, они заслуживают снисхождения, особенно когда вспоминаешь о противоположном недуге — о людях, которые грабят церковные богатства. Ведь главным образом это дары властителей и монархов, и в ином случае ушли бы и вовсе без смысла и пользы — на кости, на войны. Отнять от них хоть частицу, во-первых, — все равно, что совершить святотатство; а во-вторых, это значит связать руки тем, кто всегда давал прежде, и вдобавок — призвать к грабежу. Выходит, что духовные скорее стражи, чем хозяева своих богатств. И, наконец, я предпочитаю видеть храм ломящимся от священной утвари, чем — как в иных случаях — голым, убогим, больше похожим на конюшню, нежели на дом господень.

Впрочем, был один источник доходов римской курии и князей Церкви, который Эразм осуждал категорически и бесповоротно: это — индульгенции. Он ни на волос не верил в их силу, считал их неприкрытым обманом и требовал решительных действий на пользу и во спасение стада Христова, даже если эти действия в ущерб папе. По вопросу об индульгенциях Эразм был совершенно согласен с Лютером и всегда открыто об этом заявлял.

Но неприязнь Эразма к белому духовенству — ничто в сравнении с его нападками на монашество. Уже знакомая нам идея светского благочестия лишает монашеский чин всех преимуществ, на которые он притязает. «Слово «монашество» обозначает не благочестие, но род жизни, который когда полезен, а когда и вреден — в зависимости от телесного и духовного склада каждого» (первое посвящение к «Кинжалу...»). «Кто вполне христианин, тот и монах» («О презрении к миру»). В письме с

отказом вернуться в монастырь (о нем упоминалось в первой главе) Эразм восклицает: «Насколько более в духе Христа весь град христианства считать единым домом и как бы единою обителью, всех христиан — соучастниками и собратией, таинство крещения — высшим обетом и не на то глядеть, где кто живет, но как праведно живет!» А живут монахи до крайности неправедно, вопреки «уставу духа». Монашество — это новое рабство, а ведь Христос уничтожил рабство и даровал свободу. Монахи учат не любить, но бояться, а ведь Христос — это любовь и радость. Главное, единственно важное для них — обряд, форма, буква. Монахи алчны, невежественны, лживы, суеверны, праздны, распутны. Скуку они разгоняют охотой, картами, костями, попойками и непристойною болтовней. Им ничего не стоит оклеветать ближнего, обозвав его еретиком, ересиархом, схизматиком. Им бы хотелось, чтобы смертные видели то, чего не видят, того, что знают, не знали бы, хвалили то, что заслуживает проклятия, разве это не тирания, и вдобавок самая жесточайшая? Они сварливы, злобны, неуживчивы, непереносимы даже для братьев по ордену, даже для себя самих. Они первые пособники войны, потому что в обоих враждующих лагерях раздувают ненависть и жажду крови, уверяя, что дело их государя, их страны правое и угодное богу. Это они повинны во всех бедствиях Реформации и Крестьянской войны: весь пожар вспыхнул из-за них, да они еще и масла в огонь подливают⁴⁷.

Самые худшие, самые вредные — это нищенствующие монахи, потому что они самые лицемерные. В них все ложь и обман: их бедность, их бескорыстие, смирение, святость. Одну филиппику против них мы пересказывали и отчасти цитировали в предыдущей главе. Примерно по тем же пунктам строятся и все прочие обличения, чрезвычайно частые. В одних только «Разговорах запросто» францисканцам и доминиканцам посвящены полностью четыре диалога и еще в пяти они составляют одну из

⁴⁷ Список обвинений можно продолжать сколь угодно долго.

ведущих тем. Резкость выражений, к которым прибегает Эразм, удивительна, если принять в расчет всегдашнюю его осторожность. Доминиканцы — гонители Рейхлина — названы орудием Сатаны и паразитами. Свою трусость, безделье и тираническое властолюбие они прячут за неустанным вынюхиванием и выслеживанием истинных и ложных уклонений от «правой веры» и без конца разоблачают мнения ошибочные, подозрительные, соблазнительные, непочтительные, еретические, раскольнические. (Доминиканцы с самого начала инквизиции играли в ней первенствующую роль.) В знаменитом эссе «Навозник гонится за орлом» Эразм пишет о доминиканцах, не называя их напрямую, но намекая на черные их рысы:

Есть людишки самого ничтожного положения, но злобные, не менее черные, чем навозные жуки, и не менее гнусные и назойливые, не менее презренные, которые, однако ж, упорной своею злокозненностью часто умудряются причинять неприятности даже высоким особам. Они запугивают чернотой, оглушают жужжанием, дурманят зловонием, кружат неотступно подле, строят козни, так что намного лучше враждовать с большими людьми, чем разозлить этих жуков, которых и побеждать-то неловко, и отогнать невозможно, и борьба с которыми непременно тебя же опоганит и замазает.

За всем тем и монашества как такового, и даже нищенствующего монашества, Эразм не отвергает, и это не дипломатия, не политиканство, но искреннее и органичное убеждение. Критика его не уничтожительна, а конструктивна: он желал бы вернуть монашество к истокам, к древним образцам. В «разговоре» «Солдат и картезианец» он защищает основы монашества от нападков и насмешек толпы. Он убежден, что «и среди монахов есть люди разумные и подлинно благочестивые», которые будут признательны ему за слово правды, каким бы резким оно ни было («Разговоры»: «Похороны»). Он и святого Франциска чтит, «в глазах мира — и неученого и немудрого, но, как мало

кто иной, угодившего богу беспримерным умерщвлением мирских страстей», и, вместе с Франциском, — «всех, кто, вступивши на его путь, от души старается умереть для мира и жить для Христа». А его беспощадные насмешки над «серафическим орденом» не что иное, как «доказательство любви, ибо никто не вредит францисканскому ордену тяжелее, чем люди, которые, прячась под его сенью, ведут постыдную жизнь. Всякий, кто понастоящему желает добра ордену, обязан ненавидеть его растлителей» («Разговоры»: «Серафическое погребение»).

Государство начинается с народа. Властитель — прежде всего христианин и, стало быть, не господин, но слуга общества, обязанный хранить справедливость и закон; это особый его «крест», отказаться от которого он не может. В качестве христианина он не выше любого из своих подданных, ибо все искуплены одинаковою ценой — крестной мукою Христа. Идея общественной пользы занимает важное место в политических воззрениях Эразма.

Не обращая государственные средства к собственной годе, — внушает он, — напротив: свое имущество и себя самого целиком посвятить общественной пользе. Народ обязан тебе многим, но ты обязан народу всем... Христианин употребляет не насилие, но любовь по отношению к подданным, и кто выше всех, не всеобщим господином пусть считает себя, но всеобщим слугою. («Кинжал...»)

Дело царя править свободными людьми и не предпринимать ничего вопреки согласию граждан.

Нередко государи оказываются недостойны народа, виновны перед ним, главным образом — во время войн. «Презренная и темная чернь основывает замечательные города, достойно управляет ими, и они богатеют и цветут. А после в них вкрадываются сатрапы и, словно трутни, расхищают нажитое чужим трудолюбием, и то, что было честно собрано очень многими, пускается на ветер несколькими негодьями, что было честно

воздвигнуто, жестоко и подло разрушается» («Жалоба Мира»). «Разве мы не свидетели тому, как замечательные города, основанные народом, разоряются государями? Как государства богатеев трудолюбием граждан и нищают хищностью государей? Как справедливые законы устанавливаются властями из народа и попираются государями? Как народ печется о мире, а государи раздувают войну?» («Адагии», № 201). Династические претензии государей неосновательны, в первую очередь, потому что право владения народом — совсем не то же, что право владения скотом: его дает согласие всего народа, и оно же отнимает. А в династических войнах не о том идет дело, чтобы свергнуть тирана и отдаться под власть истинного государя, но о том лишь, кому платить налоги — Филиппу или Людовику, Фердинанду или Сигизмунду. Надо было бы, чтобы все бедствия войны падали на тех, кто ее затевает, — на государей, но по несправедливости судьбы они обрушиваются на простой люд, который ненавидит и проклинает войну; в случае же победы ему не достается ни гроша. Напрасно государи требуют у подданных повиновения законам, если сами живут совершенно незаконно, напрасно требуют неподкупности от своих чиновников, если сами открыто торгуют должностями⁴⁸.

С другой стороны, бесконечное число раз повторяется: народ, если он хочет быть счастлив, обязан повиноваться государю, любой иной порядок вещей противоестествен, роль простого люда в государстве ничтожна. Однажды Эразм назвал народ «многоголовым чудовищем» (в письме к кардиналу-архиепископу Альбрехту Майнцкому от 1/VI 1523); как мы помним, он презирал общие мнения и обычаи толпы. Но слово «толпа» подсказывает нам выход из противоречия: понятие «народа» для Эразма неоднозначно — это и безликая масса, источник анархии, насилия, кровавого бесчинства, которые он ненавидит и панически боится, это и совокупность личностей,

⁴⁸ В венгерском переводе здесь дается цитата, 9 строк об экономическом вреде войны (С. 296). (Примечание Ж. Х.)

талантливых, ученых, несчастных, удачливых, отважных, робких, вызывающих восхищение, сострадание, гнев и тысячи иных чувств, всякий раз — живое и непосредственное чувство. Именно потому Крестьянская война в Германии отозвалась в нем не только ужасом и отвращением (как почти что во всех гуманистах и реформаторах, не исключая благоразумного и кроткого Филиппа Меланхтона и возвышенного духом Альбрехта Дюрера, не говоря уже о буйном Мартине Лютере), но и жалостью к мукам и обидам бедняков.

Отвращения Эразма к анархии нам уже приходилось касаться в предыдущей главе. И ничуть не меньшее зло — тирания; недаром во многих случаях эти две общественные язвы сопоставляются и стоят рядом. Тирания растлеывает всех и вся в государстве: мало того, что все подонки тянутся к тирану, который, в свою очередь, никому так не рад, как преступникам, в машину злодеяний втягиваются и честные граждане, которые либо боятся за свое благополучие, либо считают необходимым подчиниться обстоятельствам. Отсюда, из страха перед обеими крайностями, совпадающими в страшных своих последствиях, рождается монархизм Эразма. Можно утверждать почти наверняка — монархизм вынужденный, ибо государственный порядок, вызывающий у Эразма всего больше симпатии, — это строй вольных имперских городов или самоуправление крупных городских общин в Нидерландах. Но Эразм отлично знал, что это лишь счастливые исключения, которые не способны стать вразумляющим примером для мира, управляемого царицею Глупостью.

Образ идеального правителя написан в «Воспитании христианского государя». Здесь излагаются система образования государя (цель которой — внушить ему любовь к подданным и заботу о них) и способы уберечь юного властителя от яда лести; искусство поддерживать мир и порядок и методы справедливой раскладки податей (предметы первой необходимости должны быть свободны от обложения за счет высоких налогов на

предметы роскоши); принципы законодательства, назначения высших чиновников и советников, заключения союзов и договоров и т. д.

Но для картины Эразмова мира гораздо существеннее многочисленные наблюдения и замечания, рассыпанные по другим трудам, в первую очередь, разумеется, по его «суммам». Для начала напомним, что говорит о монархах госпожа Глупость:

...Благодаря моим дарам государи возлагают все заботы на богов, а сами живут в довольстве и веселии и, дабы не смущать своего спокойствия, допускают к себе только таких людей, которые привыкли говорить одни приятные вещи. Они уверены, что честно исполняют свой монарший долг, если усердно охотятся, разводят породистых жеребцов, продают не без пользы для себя должности и чины и ежедневно измышляют новые способы набивать свою казну, отнимая у граждан их достояние.

Собирательный портрет государя в «Адагиях» еще злее, и намного. Мы надеемся, что читатель не забыл замечательного сравнения государя с орлом в эссе «Навозник гонится за орлом» (см. стр. 81–82). В другом эссе («И царем, и глупцом надо родиться») Эразм утверждает, что все государи, не исключая и Зевса, царя богов и людей, были глупцами. «Переверни летописи и древних, и новых времен — ты убедишься, что за несколько веков едва ли сыщется один или два государя, которые не принесли бы смертным величайших бед исключительно своею глупостью». А чему дивятся в государях? Не тому, что истинно достойно восхищения, не мудрости и не доброте, но молодости, красоте сложения, силе, статности, богатству, зычному голосу, ловкости в танцах, даже неумоимости в пьянстве и умению играть в кости. Глупость государей — конечно, источник многих бедствий, но во многом повинны и мы сами. Ведь не доверяем же мы управлять кораблем никому, кроме опытного кормчего, и даже от возчика требуем умения и навыка, а чтобы стать государем, достаточно родиться — так мы полагаем! Да,

«государями рождаются, и кому бы ни улыбнулась судьба, — будь он честен или нет, умен или глуп, в здравом уме или слабоумный, — если только наследник престола не лишен человеческого обличья, приходится доверять ему верховную власть». Но таков заведенный порядок вещей, его не переменишь. Итак, Эразм без обиняков объявляет неразумным, противоестественным принцип наследственной власти и соглашается с ним только как с неизбежным злом.

Нет таких укоров и упреков, которые Эразм не бросал бы государям в «Адагиях». Они совершенно бесполезны для общества. Они пригревают и ласкают доносчиков. Они сыплют пустыми, неисполнимыми обещаниями. Они умышленно затевают войны и сеют раздоры, потому что в мирное время труднее обирать несчастный народ. Ради этой же цели они иной раз тайно сговариваются и воюют только для вида, а на самом деле озабочены лишь одним — как бы снять с подданных последнюю рубашку. Они тираны почти все до последнего. Почти всё, что касается государства, делают они чужими руками, слушают чужими ушами, видят чужими глазами, сами же заняты только своими частными выгодами и своими удовольствиями. Даже их благодеяния — обман, потому что благодетельствовать они норовят за чужой счет, не потратив из своей казны ни гроша: так, престарелых слуг, уже не годных для придворной службы, они велят содержать монастырям или зажиточным горожанам. И — горькое обобщение: во все времена у любого народа верховная власть приобреталась лишь ценою великого кровопролития.

Как же совмещаются эти поразительно резкие обличения с неприкрытою лестью сильным мира сего в бесчисленных посвящениях-предисловиях? Сам Эразм объясняет это просто, а главное — в течение всей жизни приводит одно и то же объяснение: под видом похвалы он создает некий совершенный образец, взирая на который государи и властители сами сознают, насколько и в чем именно далеки они от этого образца, и сами же, безо всякой для себя обиды, решают перемениться и

исправиться. (Впрочем, весьма сомнительно, — судя по мрачной картине общественных отношений, им же самим нарисованной, — чтобы Эразм верил в возможность столь чудодейственного исправления.) Вдобавок похвала государю обращена не только к нему самому, но и к его подданным, и к потомству, то есть служит общим поучением и наставлением. На первый план выступают мотивы моралистические. Не ими ли же, кстати, объясняется и резкость обличений: ведь они тоже могут рассматриваться всего лишь как общие примеры для сравнения, только не положительные, а отрицательные?.. Надо замешать также — хоть это и прозвучит, пожалуй, анахронизмом, — что Эразм был принципиальным сторонником свободы мнений в государстве. Комментируя Солоново изречение: «Исполняя должность, выслушивай и справедливые речи и несправедливые», — он пишет:

Нет ничего дивного или великого в том, чтобы государи не препятствовали народу говорить, что вздумается, — при условии, что им самим вольно поступать, как вздумается. О поступках государей толпа обычно судит по-разному: что одобряют одни, осуждают другие, но государь должен быть выше того, чтобы прислушиваться к подобным голосам. Коротко говоря, прав был один римский император: в свободном государстве и языки должны быть свободны. («Адагии», № 1689).

В связи с вопросом о государстве коснемся одного пункта, который относится не столько к миру Эразма, сколько к личности создателя этого мира. Мы имеем в виду космополитизм Эразма.

Его постоянно называли и называют европейцем, желая сказать, что он принадлежал всей Европе, а не какой-либо отдельной стране, не исключая и Голландии, где после монастырских лет он никогда не жил. И верно, Эразм многократно объявлял себя гражданином мира. «Я хочу быть гражданином мира, общим другом всех стран или — еще лучше — гостем в

любой из них», — пишет он Ульриху Цвингли в 1522 году. И шестью годами раньше, в письме к Гильому Бюде; «Что ты горячий патриот, многие одобряют и всякий легко простит. Но, на мой взгляд, философу больше подобает относиться к людям и к вещам так, словно этот наш мир — общее для всех отечество...» Патриотизм как орудие военной пропаганды он считал либо глупостью, либо коварной приманкою для глупой толпы.

Какая нелепость, какая подлость! Людей разъединяет пустое название места, где они живут! Почему ж не соединяет столько других вещей? Англичанин, ты ненавидишь француза? Скорее бы должен любить — человек человека и христианин христианина. Почему случайные, ничтожные обстоятельства значат больше, чем столько природных связей, столько уз Христовых? Пространство разделяет тела, но не души... («Жалоба Мира»)

И о собственном отечестве он, случалось, отзывался более чем критически: называл любезных соотечественников тупицами, неотесанными грубиянами, обжорами и пьяницами, скаредами, невеждами и врагами наук, злобными завистниками, неукротимыми сплетниками.

Вместе с тем он никогда не скрывает своей национальной принадлежности (именуя себя то голландцем, то, на латинский лад, батавом, то германцем) и даже обнаруживает некое подобие патриотического чувства, желая доказать заносчивым итальянцам, что и Германия талантами ничуть не ниже и не беднее. В «Адагиях», привлекая народные пословицы, он чаще всего, и с явным удовольствием, вспоминает, как говорят его земляки (причем под «земляками» понимает жителей не только графства Голландия, но всех Нидерландов — всего герцогства Бургундского). И тут же, в «Адагиях», в дополнении 1526 года (№3535), он произносит похвальное слово давно оставленной, но не забытой родине. Он должен всегда чтить и славить эту землю, которая дала ему жизнь.

О, если бы я мог служить ей украшением в той же мере, в какой не имею права сожалеть о месте своего рождения... Взгляните на местные обычаи батавов — нет другого народа, одаренного таким же благожелательством и человечностью, менее склонного к жестокости. Они просто-сердечны, чужды всякому обману и коварству, не знают ни единого из тяжких пороков, разве что чересчур любят пирушки.

Да и в том повинны не они сами, а изобилие привоза, речного и морского, и благосклонность природы. Повсюду тучные нивы и пастбища, везде реки, судоходные и обильные рыбой; в лесах и на болотах — бесчисленное множество птиц. Говорят, что только здесь собрано на таком малом пространстве столько городов, невеликих размерами, но на диво хорошо управляемых. По опрятности домов и домашнего убранства Голландия первая страна в мире — так судят купцы, объехавшие все моря и земли. Ни в одном народе нет большего числа людей, умеренно образованных; что же до вершин образованности, достигнуть их голландцам мешает либо привычка к роскоши, либо то обстоятельство, что в Голландии больше ценится нравственная высота, нежели высокая ученость. «В природных же дарованиях им отнюдь не отказано, тому есть бездна свидетельств...»

Оценивая это высказывание, И. Хёйзинга совершенно справедливо отмечал, что Эразм приписывает своим землякам самые дорогие для него самого качества: доброту, искренность, чистоту физическую и духовную. Нам, вслед за Хёйзингой, хотелось бы подчеркнуть, что космополитизм Эразма — явление достаточно сложное, отнюдь не исключаящее чувства любви к родной земле.

Вернемся к социальным взглядам Эразма.

К знати, к придворным, к рыцарству Эразм не более благосклонен, чем к государям. Как мы помним, он утверждает природное равенство всех людей независимо от происхождения. Этого мало. «Устав духа», предполагающий переоценку

привычных, но превратных человеческих ценностей, гласит: «Истинная знатность в том, чтобы быть рабом бога» («Кинжал...»). Признаки рыцарского благородства — не только чисто внешни и потому без труда фальсифицируются, но во многом — это приметы бесчестья, очевидные для любого, кто не ослеплен предрассудками.

Если не будешь добрым игроком в кости, приличным картежником, неприличным блудодеем, неутомимым пьяницей, дерзким мотом и расточителем, по уши завязнувшим в долгах, если не будешь разукрашен галльской паршой (т. е. сифилисом. — *С. М.*) наконец, едва ли кто поверит, что ты рыцарь... И еще вот какой рыцарский закон всегда надо держать в памяти: рыцарь в полном праве опорожнить кошелек путнику-простолюдину. Слыханное ли дело, чтобы ничтожный купчишка позвякивал монетами, меж тем как рыцарю нечем уплатить продажной девке, нечего проиграть в кости! («Разговоры»: «Самозванная знатность»)

И обыкновенная кража рыцарю не в укор, даже собственного гостя обокрасть не стыдно; а уж вымогательство и шантаж — дело вполне обычное, чуть ли не законное.

Госпожа Глупость о вельможах отзывается так: «Нет, пожалуй, ничего раболепнее, низкопоклоннее, пошлее и гнуснее их...» Но и от собственного имени Эразм высказывается ничуть не мягче: «Неотесанная знать нашего века, в которой, кроме внешнего облика, нет ничего человеческого, и однако же себе самой она кажется прямо-таки равной богам» («Адагии», № 3001). Знатные, — и прежде всего придворные, — лживы, льстивы, завистливы, они коварные интриганы; сорви с них пурпур и драгоценные украшения — и обнаружишь грубых поденщиков. Они и безбожники к тому же: мало того, что в храмах держать себя не умеют, но даже не стыдятся утверждать, будто Христово учение знатных не касается — пусть, дескать, его придерживаются попы да монахи.

Между тем для знати позорное поведение — это позор вдвойне. «Некоторые думают, будто им позволено жить недостойно как раз по той причине, что они происходят от славных предков. Напротив, знатность... последствием имеет то, что промахи благородных постыднее, чем проступки людей темного происхождения» («Адагии», № 4134). Но, увы, вельможам это невдомек. Сколько есть самых высокопоставленных домов, в которых едва лишь один из сыновей достигает мужества живой и здоровый, а прочие — кто заживо гниет, заразившись французскою болезнью, кто пьянствует беспорядно, а кого зарезали в ночной драке, когда он, прикрывши лицо маскою, развлекался в каком-нибудь притоне. А все оттого, что родители считают вполне достаточным произвести ребенка на свет и дать ему богатство, о воспитании же его не заботятся нисколько.

Отсюда — закономерный переход к понятию истинной знатности, весьма важному, на наш взгляд: «Знатными должно считать всех, кто возвышает душу благородными занятиями. Пусть другие рисуют на своих гербах львов, орлов, быков и леопардов: истинной знатности больше в тех, кто, может изобразить столько геральдических фигур, сколько изучил свободных искусств» («О приличии детских нравов»). Важность этого понятия в том, что оно позволяет увидеть позитивный фундамент столь обширного здания социальной критики или хотя бы уголок этого фундамента.

Итак, в социальной сфере, как и в любой иной, основа всякого блага — личные усилия каждого, активность, стремление к совершенству. Эразм ценит и уважает труд, всякий труд, не исключая и ручного. «...Кто благоразумен, тот, несмотря на полный достаток в доме, заставляя детей учиться какому-нибудь ремеслу, чтобы смогли снискать себе пропитание даже в случае, если судьба отнимет богатство или отправит в далекую ссылку» («Адагии», № 633). В число искусств и ремесел, способных прокормить своего владельца, Эразм включает и

образованность. Астрологи говорят, будто бывают дни счастливые и несчастливые; пусть так, но нет и не должно быть дней благоприятных для безделья, для праздности.

Мы помним, что Эразм хвалит прилежание и трудолюбие народа, созидателя процветающих городов. Но делать из этого вывод о бюргерской идеологии Эразма было бы несколько опрометчиво. О сельских жителях он говорит, что это самые честные и беспорочные люди и самые необходимые для государства; напротив, горожане испытывают множество дурных влияний и потому хитрее, коварнее. Он очень суров к купцам — важнейшей части городского населения: для них нет ничего святого, кроме наживы, «ею меряют они благочестие, ею — дружбу, ею — добродетель, ею — славу, ею — все божественное и человеческое. Прочее — вздор» («Адагии», № 1708).

Сами по себе деньги, богатство — не хороши и не дурны. «Деньги для многих были и будут причиною самых страшных зол... Но они же, в других случаях — основание для многого благого» («Разговоры»: «Серафическое погребение»). Однако же страсть к накоплению богатств, гордость своим богатством безусловно порочны. Самоуверенные богачи (а богачи чуть не все самоуверенны) — богоотступники, потому что место бога у них занимают деньги. А в «Кинжале...» Эразм обращается к богачу со словами, полными глубокого волнения и негодования:

Твой брат голодает, а ты обжираешься куропатками. Твой брат дрожит от холода, ему нечем прикрыть наготу, а ты скорее отдашь свои бесчисленные платья моли на сожрание. Ты проигрываешь тысячу золотых в одну ночь, а в это самое время бедная девушка, гонимая нуждой, продает свою невинность, и гибнет душа, ради которой отдал свою жизнь Христос. Ты скажешь: «А мне-то что? Со своим добром я волен делать, что захочу!» И ты еще желаешь зваться христианином? Да после этого ты и не человек вовсе!..

И к некоторым другим городским профессиям Эразм относится неприязненно. Так, он порицает цирюльников и банщиков за то, что они болтливы, точнее — неизбежно становятся болтунами, слушая праздную болтовню своих клиентов. Он презирает актеров: «...было два Милона, известных, как мне представляется, малым ростом; один был актер, второй вор — промыслы одинаково честные, ничего не скажешь». («Адагии», № 2457). Презрение к «лицедейству» — явное наследие средневековья.

За всем тем стихия и родная среда Эразма — конечно же, город. Только не город цехов и гильдий, а ученых коллегий и книгопечатен. Хороший типограф, такой как Альд Мануций, славнее древних императоров, известен всему миру, — и не только христианам, — дорог каждому, кто дорожит наукой, кто стремится к истокам подлинной и древней образованности. Альд возрождает (обратите внимание на термин! — С. М.) эту образованность, для этой цели он словно бы нарочито рожден. Деятельность императоров была земною, преходящею, ограниченной. Альд творит дело святое и бессмертное, для всех народов и всех веков. Александрийская библиотека, которую создал царь Птолемей, была заключена в тесных стенах; ограда библиотеки, создаваемой Альдом, — сам земной круг. А недобросовестные и невежественные печатники намного опаснее недобросовестных купцов. Скверные книжонки, которые они выпускают в свет, — угроза для общества и государства («Адагии», № 1001).

Если уже пытаться определить мировосприятие Эразма по социальной принадлежности и социальным симпатиям, то не о бюргерской идеологии следует говорить, а (не боясь анахронизма) об ее узкой, специфической разновидности — идеологии интеллигента, профессионального работника умственного труда.

Вполне объяснимо и естественно, что самая дробная и уже в силу дробности самая индивидуалистическая ячейка общества, семья, представляется Эразму бесспорно ценностью. Монах,

он не мог не восхвалять девственной чистоты, как нравственного подвига, и, действительно, ее восхвалял, — например, в «Сопоставлении девицы и святой мученицы» (1523 или 1524 г.). Но в том же 1523 году был написан диалог «Поклонник и девица», где, хотя и шутливо, и, вдобавок, не от своего имени, а устами влюбленного юноши, но достаточно убежденно и убедительно Эразм доказывает превосходство брака над девством. Как ни хорош сад в цвету, едва ли разумно желать, чтобы в нем не родилось ничего, кроме цветов. И из двух лоз, несомненно, прекраснее не та, что стелется по земле, загнивая, но та, что «обвилась вокруг... какого-нибудь вяза и отяготила дерево пурпурными гроздьями». На эти доводы влюбленного девица возражает:

Мария. Ответь и ты мне, в свою очередь: какое зрелище приятнее — роза, сияющая молочною белизною на своем кусте, или сорванная и мало-помалу вянущая в человеческих пальцах?

Памфил. Я полагаю более счастливой ту розу, что вянет в руке, лаская и глаза наши, и ноздри, чем ту, что старится на кусте: ведь и на кусте ей все равно увядать. Так же точно счастливее то вино, которое выпьют, прежде чем оно прокиснет... Юная девица прекрасна, но нет ничего противнее естеству, чем старая дева!.. Если наш брак не будет бесплоден, мы вместо одной девицы произведем на свет многих... Я хочу жениться на чистой девушке, чтобы жить с нею чисто. Это будет более союз душ, нежели тел. Мы станем рожать для государства и для Христа. Намного ль будет различия такое супружество от девства?

А чуть ниже монашеский обет целомудрия приравнивается до известной степени к скопчеству, скопчество же названо безумием.

В «Адагиях» (№ 3135), сравнивая брак и безбрачие и приводя суждения великих древних, — между прочим и святого Иеронима! — в том духе, что сварами чревато любое супружество и

что лишь одинокая жизнь безмятежна, Эразм заключает так: «Однако и благоразумнее и вернее говорит, как мне кажется, Гесиод:

*Лучше хорошей жены ничего не бывает на свете,
Но ничего не бывает ужасней жены нехорошей.*

(Перевод В. В. Вересаева)

Вообще к вопросам брака и семейной жизни Эразм обращался часто и с большой заинтересованностью.

Мы остановимся только на двух аспектах этой проблемы.

Эразм часто сокрушается о легкомысленном отношении христиан к прелюбодеянию: «Ныне у христиан нарушение супружеской верности сделалось забавой, а ведь брак у них — таинство. Недостает только награду назначить тому, кто обесчестит побольше чужих жен» («Адагии», № 3525). Та же распущенность разрушает семью и изнутри:

Мы ходим в баню вместе с женами и сестрами, как будто нарочно приушаем их к разврату, и чего только не говорим, чего только не вытворяем с женами — чтобы не сказать с б...! — в присутствии детей, которых иной раз родители кладут с собою на одну постель, эту свидетельницу супружеских радостей. И после еще дивятся, если дети, которых так воспитывают с самого нежного возраста, не слишком-то чисты и целомудренны! («Язык»)

Моральная нечистоплотность и беспринципность тревожат Эразма, в первую очередь потому, что разрушают семью, которую надо сохранить во что бы то ни стало, всеми средствами и усилиями.

А главное назначение семьи, главная ее задача — это воспитание детей. Путь к будущему, свободному от мрака и безобразий прошлого, лежит для Эразма только через воспитание: моралист и закоренелый, неисправимый книжник, он не обладал

ни темпераментом социального реформатора, как Лютер или Мюнцер, ни мудростью и прозорливостью государственного мужа, как Мор, ни отважным воображением фантаста-жизнелюбца, как Рабле. Отсюда — особое место, которое занимают педагогические воззрения Эразма в системе его взглядов.

Педагогических принципов Эразма в узком смысле слова, как ни любопытны они сами по себе, мы затрагивать не станем. Действительно, преимущества раннего образования, необходимость разнообразия, занимательности и наглядности, роль эмоций в воспитательном процессе, средства развития памяти, круг чтения, женское образование, изучение языков, качества, которыми надо обладать учителю, и многое иное — почти все идеи Эразма оставались ведущими в педагогической теории и практике вплоть до конца XIX века. Но это факт из истории скорее педагогики, чем общественной мысли в целом. Нас больше интересует общее направление этой гуманистической педагогики, чем конкретные ее детали.

Формирование человека совершается под воздействием трех основных сил: природных задатков, опыта и целенаправленной системы воспитания. Рассуждая отвлеченно, можно предположить, что мудрость и совершенство достижимы и через один только опыт, но цена, которую придется отдать за такую мудрость, слишком велика, чтобы человек мог расплатиться в течение одной жизни. Значит, для правильного и эффективного воспитания все три силы надо соединить. При всей важности природной одаренности первостепенной роли она не играет. «Деревья, вероятно, рождаются... и кони тоже... но люди, поверь мне, не рождаются, а образовываются. Разум (Эразм употребляет то же слово, которым обозначает осмысленную систему воспитания. — С. М.) творит человека...» «Едва ли найдется такая наука, которую ум не способен постигнуть при хороших наставниках и должных упражнениях. Чему только не выучится человек, если даже слон ходит по канату!..» («О воспитании детей...»). Бессловесные твари получают все

необходимые для жизни навыки в миг рождения, человек всему выучивается. Значит, воспитание и образование — основа человеческого благополучия. «Природа действует успешно, но еще успешнее действует воспитание — побеждает природу».

Но этого мало: отсутствие воспитания губительно для души, которая, не зная благородных правил и занятий, не остается пустою, но неизбежно зарастает сорняками пороков. Человек, не получивший воспитания, хуже зверя:

Нет животного свирепее и вреднее человека, которым движут властолюбие, алчность, гнев, зависть, разнузданность и похоть. Стало быть, тот, кто не позаботится напитать своего сына лучшими знаниями, — сам не человек... Лучше быть свиньею, чем скверным и невежественным человеком. Поэтому величайшая нелепость — экономить на воспитании. Большею частью чем родители богаче, тем меньше заняты они мыслями о воспитании: зачем, мол, нашим детям философия, если у них и без нее всего будет вдоволь. И у знатных то же самое, и, что самое ужасное, у государей. Дитя, которому предстоит править целым миром, учат только одному — быть тираном, внушают лишь одну любовь — к войне. («Адагии», № 201).

Дети ничем не обязаны родителям, которые только произвели их на свет, но для достойной жизни не воспитали. Напротив, воспитатель обладает законными правами на то, что посеяно им в воспитуемом. Обращаясь к своему рано погибшему ученику Александру Стюарту, Эразм пишет: «То, что родилось в тебе моим трудом, я объявляю моею собственностью» («Адагии», № 1401).

Это требование приобретает особый смысл, если принять в расчет гуманистический и личностный характер Эразмовой педагогики: воспитывает не природа, но только и единственно человек, и личность учителя зеркально отражается в личности ученика, ибо одна душа переливается в другую и дух ваяется духом. Отсюда чрезвычайное значение роли учителя. В письме

к руководителю известной школы в Шлеттштадте Иоганну Витцу (Сапидусу), Эразм пишет: «Я согласен, что участь твоя трудна, но что она трагична, как ты говоришь, или же плачевна, отвергаю решительно. Быть учителем — следующая должность после царской. Разве это ничтожное дело — напитывать юные умы... лучшими знаниями и любовью ко Христу и дарить отечеству столько достойных граждан? Глупцы считают его низменным, но в сущности нет занятия возвышеннее и благороднее!» (октябрь 1515). Учительское поприще — и самое благочестивое, ибо даже монахи не служат богу и ближним лучше, и самое благородное, ибо молодежь — это нива и копи народа (письмо Дж. Колету от 29 октября 1511). Но если учитель так много значит для общества, оно обязано заботиться о подготовке учителей (все общество — и светские власти, и церковные) и следить за их деятельностью, недостойных и нерадивых карая смертью.

Педагогические идеалы Эразма часто называют аристократическими, имея в виду, что он стремится не к массовому образованию, но к образованию для привилегированного меньшинства. Мы уже говорили о незамкнутом, антисословном, ненаследственном характере этого меньшинства, принадлежность к которому должна определяться не происхождением и не достатком, а только личными достоинствами. Да, возразят нам, но Эразм оставляет открытой проблему образования неимущих и прямо-таки декларирует, что ничем не может им помочь, и только взывает к благотворительности богатых. Верно, но он, действительно, не мог предложить ничего, и не только он — никаких реальных оснований для этого еще не появилось, а фантастом, как уже сказано, Эразм не был.

Да, его идеалы и чаяния очень далеки от фантазий, очень заземлены, невозвышены, даже простоваты. В «разговоре» «Благочестивое застолье» друзья собираются в загородном имении к завтраку, осматривают сад, огород, службы, любуются картинами и статуями, которыми украшен дом, ведут

неторопливую беседу на разные темы, причем главным предметом все время остается богословская экзегеза в эразмианском духе. Мирная, ничем не омрачаемая жизнь на фоне радостной (но не буйствующей по-южному!) весенней природы, независимость, дружба, спокойные, неторопливые занятия науками — это и есть Эразмов идеал. С тем же идеалом мы встречаемся и в «Антиварварах», созданных более чем за тридцать лет до «Благочестивого застолья», — та же мирная, весенняя природа, такой же пригородный дом, тесный кружок друзей, покойная беседа, восхваление ученых занятий как великой радости душевной. То же представление о счастье и в ранних письмах. В послании Генриха Нортгоффа к брату Христиану, написанном Эразмом (август 1497), изображается картина довольства, почти блаженства. Учитель не расстаётся с учеником ни днем, ни ночью. К обеду зовут самых лучших и желанных гостей — древних писателей, таких как Авл Геллий, Апулей, Катулл и кое-кого из новых, и они услаждают слух обедающих своими рассказами. После обеда — прогулка в саду, среди виноградных лоз. И всякий час украшен и сдобрен наукой, древней словесностью.

За обедом мы болтаем о литературе; ужин щедро приправлен литературными лакомствами. За прогулкой не смолкают литературные разговоры, и даже игры наши не чужды литературы. За литературной беседой застаёт нас сон, и в сонных грезах — тоже литература, и с нее же начинаем мы свой день, пробудившись. Мне кажется, что я играю, а не учусь, и, однако же, чувствую, что лишь теперь начал учиться.

А вот что пишет Эразм в 1501 году из замка своей недолговременной покровительницы Анны Веере, где он проводил время в обществе любимого друга, Якоба Батта:

...Я счастлив в полном смысле слова. Либо оттого, что наслаждаюсь общением с Батом, которое... доставляет мне

такую радость, что я не променял бы ее на все сокровища Аравии. Либо оттого, что целиком отдался науке и, бежавши далеко от всякого шума и хлопот, укрылся словно бы в самом заповедном убежище Муз. Право, жизнь богов, если бы только еще чуть побольше книг.

Евсевий, хозяин в «Благочестивом застолье», объявляет: «Укромное гнездышко мне милее царских хором. Но если жить свободно и по своему вкусу означает царствовать, я здесь и в самом деле царь». Роскошью в его доме и не пахнет — «все ограничено пределами изящества или, коли угодно, тонкого вкуса». Евсевия дополняет Симбул из «разговора» «Филодокс»:

В любых обстоятельствах помни: ничего сверх меры; всего лучше средина; будь снисходителен к чужим правам, на легкие изъяны смотри сквозь пальцы. Не упрямясь, не держись чересчур упорно за собственное мнение, но старайся приноровиться ко вкусам других людей; никого не оскорбляй, никому не перечь, со всеми будь обходителен.

Как осуществляется подобная «программа» в жизни, видно на примере Гликиона в «Разговоре стариков». После веселой студенческой юности в Париже он вернулся в родной город и женился — по выбору и совету одного из сограждан, «человека пожилого и многоопытного, безусловно честного, по единодушному свидетельству всего города...» В браке он был на редкость счастлив, но объясняет это не слепую удачею: «Другие, кого любят, ту и выберут, а я сперва выбрал по здравому размышлению, а потом уже полюбил, да и женился не ради удовольствия, а ради потомства».

От участия в общих делах Гликион не сторонится: «Общественная должность у меня есть. Могла быть и поважнее, но я выбрал такую, чтобы придавала мне весу лишь настолько, насколько необходимо, зато и хлопот бы доставляла как можно меньше».

Умеренность и воздержность во всем — вот девиз Гликиона. Иными словами — излюбленное Эразмово «ничего сверх меры».

Никогда, — продолжает Гликион, — не вмешивался я ни в какие хлопоты, но особенно сторонился таких, которые нельзя было принять на себя без обиды для многих. И если нужно помочь другу, я помогаю так, чтобы никто по этой причине не сделался моим недругом. А если возникнет вражда, я либо утешаю ее извинениями, либо гашу услугами, либо делаю вид, что ничего не замечаю, и жду, пока она сама захиреет. От спора всегда уклоняюсь: если случается спор, предпочитаю жертвовать имуществом, но не дружбою. И вообще играю роль некоего Митиона-Миролюбца: никого не браню, всем улыбаюсь, всех ласково приветствую, ничьим намерениям не противоречу, ничьих правил или поступков не осуждаю, ни перед кем не чванюсь, согласен, что каждому всего краше свое...

Безвременная смерть жены была самой горькой потерей в его жизни: «Я бы так хотел, чтобы мы состарились вместе и вместе радовались, глядя на наших детей. Но раз вышние боги определили по-иному, я решил, что так оно лучше для нас обоих; незачем, рассудил я, терзать себя пустою печалью, тем более что усопшей от этого пользы никакой». Больше он не женился. Конечно, одиночество печально, но есть свои выгоды и в одиночестве.

Есть люди, которые во всем отыскивают одни неудобства, таков, по-видимому, был и Кратет, которому приписывается эпиграмма, исчисляющая житейские бедствия; не мудрено, что этим людям по сердцу его слова: «Самое лучшее — не родиться вовсе». Мне ближе и милее Метродор, выискивающий повсюду, что есть хорошего: так жизнь слаще. Вот и я тоже так настроил душу, чтобы ничего слишком не домогаться, ни к чему не питать слишком горячей неприязни. Тогда, если что случается

доброе, я не зазнаюсь и не чванюсь, а если что ускользнет из рук, не очень страдаю... Если можно исправить дело, исправляю, а если нет, говорю себе: «Что мне за польза хмуриться и злиться — ведь от этого к лучшему ничего не переменится».

И страх смерти мучит его не

в большей степени, чем заботит день рождения. Я знаю, что смерти не миновать. Страх перед нею может, пожалуй, отнять несколько дней жизни, но прибавить, во всяком случае, ничего не может. Пусть уж об этом тревожатся боги; а я тревожусь лишь об одном — чтобы жить достойно и приятно. Ибо лишь тогда жизнь приятна, когда она достойна.

От дальних странствий он воздерживается: хотя

перемена мест — немалое удовольствие, однако же дальние путешествия не только прибавляют знаний, но и чреватые бесчисленными опасностями. Мне представляется более надежным объезжать мир по карте, и, думается, что из сочинений историков я узнал и увидел даже и побольше, чем если б, следуя примеру Улисса, двадцать лет носился по всем морям и землям. Есть у меня именице, не дальше, чем в двух милях от города. Там время от времени из горожанина я становлюсь мужиком и, отдохнувши, возвращаюсь в город незнакомцем, чужеземцем — принимаю приветствия и отвечаю на них так, словно приплыл домой с недавно открытых островов.

Ученые занятия для него —

первая услада в жизни. Но я именно услаждаю, а не изнуряю себя занятиями. Впрочем, для удовольствия ли я занимаюсь или для житейской пользы, главное — что не напоказ. После еды либо сам читаю, либо слушаю чтеца и никогда не провожу за книгами больше часа;

потом поднимаюсь, беру лютню и, медленно прогуливаясь по комнате, напеваю или повторяю про себя то, что прочел, а если рядом случится гость, пересказываю ему; потом возвращаюсь к книге.

Что и говорить, не самая благородная из житейских программ! Многие назовут ее программой обывателя, мещанина, филистера, но так рассудят лишь те, кто — вопреки постоянным предупреждениям Эразма — любит рубить сплеча, выносить жесткие определения, наклеивать несмываемые ярлыки. В самом деле, задумаемся, на каком страшном историческом фоне эта программа разворачивается: раскол Церкви, неслыханный накал фанатизма и взаимного ожесточения, дикие зверства Крестьянской войны... Не случайно некоторые историки конца прошлого столетия считали XVI век самым жестоким в истории Европы. Нет, поистине, «филистерский» идеал Эразма был так же недостижим, так же — условно выражаясь — утопичен, как отважные мечтания Мора и Рабле. И хотя мы не найдем у Эразма никакой программы социальных реформ, вполне оправдано желание сопоставить уютную усадьбу Евсевия из «Благочестивого застолья» с затерянным в неведомых морях экзотическим островом Утопией и с безмятежно счастливою Телемской обителью.

Но главное — в ином. Главное — то, что эта программа — всего лишь поверхность, всего лишь плоть, буква, оболочка силена, если воспользоваться любимыми выражениями самого Эразма. Нам кажется, нет нужды подчеркивать — по примеру Эразма — неидентичность автора и персонажей в диалогах, ибо дело не в том, что Гликион — домосед, а его создатель — неутомимый кочевник. Но Гликиона мы знаем лишь по нескольким страничкам «Разговора стариков», а Эразма воспринимаем на основании всего и в связи со всем, что им создано. Так вот, на этом основании мы вправе утверждать, что в глубине, под поверхностью скрыты жажда и требование духовной свободы, духовного равновесия, мужественной глухоты к истерическим

требованиям текущей минуты; вместе с тем Эразм призывает и к освобождению не только от внутреннего рабства, но и от тиранической власти обстоятельств, не дающих человеку разогнуться, поднять голову, ощутить себя человеком в истинном смысле слова. Решится ли кто отрицать непреклонный максимализм и непреходящую ценность этого требования?

О ЯНЕ ПАННОНИИ — ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ¹

Моя отправная точка, мой подход отличаются от позиции венгерского читателя. Знакомство мое с Яном Паннонием завязалось совершенно случайно, когда в 1962-м я переводил для русскоязычной хрестоматии по эпохе Возрождения отрывки из работ различных авторов Центральной Европы — чехов, поляков, венгров. Такие характеристики, как «крупнейший поэт Венгрии, писавший на латыни» или «*decus Hungariae*» меня не завораживают, и потому я не стыжусь того, что мне что-нибудь не нравится или нравится не то, что принято считать лучшим и достойным подражания. Быть может, бесполезным окажется нечто, приметное лишь взгляду со стороны или, если угодно, глазу чужака.

1

Утрехтское издание Телеки 1784-го года — самое полное и самое новое издание на латыни — составлено подобно детскому обеду: все самое невкусное в начале, но чем дальше, тем аппетитнее. Через первую половину первого тома — которую издатель и редактор Шамуэль Телеки называет «*Carmina Heroica*», а Рабан Герезди — «эпическими произведениями», — мы продираемся с немалыми усилиями. После «эпоса» идут элегии, большинство из которых достойно внимания, однако попадают среди них и

¹ Впервые на венгерском языке (русский оригинал не сохранился): Janus Pannoniusról — a kívülálló szemével. [Ян Панноний — взгляд со стороны]. // *Kortárs* 1972. 4. 598–602. (*Примечание Ж. Х.*) Перевод на русский: Наталия Дьяченко.

весьма скучные; завершают том эпиграммы, которые кладут конец спору в отношении по крайней мере двух фактов: 1. Ян Панноний был весьма одаренным поэтом, 2. поэзия его — живая, и нам не нужно совершать над собой усилие, чтобы преодолеть «разницу во времени», скорее нам приходится напоминать о нем самим себе. Не то чтобы «*Carmina Heroica*» или элегии не убеждали в этом, но эпиграммы — самая живая часть наследия Яна Паннония. И это естественно.

Дело не в том, что большую часть первой книги занимают пространные панегирики, и век наш, что слышал уже достаточно панегириков, обращенных к вождям и наставникам всевозможных рангов, уже устал от этого жанра, а эпиграммы (в гораздо более широком, эллинистическом смысле этого слова) более созвучны сегодняшним интересам и проблемам. Важнее, что природа таланта Яна Паннония словно непосредственно была создана для эпиграмм. Он и сам это признавал: не буду повторять «Похвалу Марциалу» (Epiqr., I, 241)², которая довольно известна, но хочу обратить внимание на две эпиграммы (II, 20. и 21.), в которых молодой Панноний решительно отказывается от того, чтобы воспевать славные деяния предков, великие подвиги полководцев, кровавые битвы — такая ноша ему не по плечу, не по силам. Иными словами, он отказывается от крупных, монументальных форм в пользу малых композиций, эпиграммы и близкой к ней короткой элегии. Здесь его художественное чутье безупречно, а его достоинства — мастерская, стройная композиция, точные и афористичные выражения, юношеская свежесть миропонимания, утонченная живописность скупых и на редкость правдоподобных описаний, открытость и искренность, юмор — неизмеримы. Я нарочно собираю все это вместе, избегая примеров и подробностей, так как, судя по хрестоматиям и антологиям, эпиграммы больше и чаще всего переводили на венгерский. Надеемся, что в переводе они утратили не слишком много.

² Все ссылки относятся к изданию Телеки.

Вообще эпиграммы не равноценны друг другу. Художественные рамки эллинистической эпиграммы очень широки — начиная от того, что сегодня мы бы назвали социальной лирикой или политическим памфлетом, вплоть до нравоучений, от эпиграфии до желчной глоссы и философского размышления. В этом пестром разнообразии самыми привлекательными являются полностью личные или (реже) афористично-философские стихотворения. Прежде всего потому, что они соответствуют своеобразию таланта Яна Паннония, а также потому, что другие темы и мотивы затерялись в потемках истории, включая знаменитые исторические заявления и то произведение, в котором он вольнодумцем высмеивает юбилейные празднования 1450-го года в Риме: все это сегодня является предметом интереса исследователя, а не читателя. Нетрудно заметить, что из 409 эпиграмм вышеупомянутые составляют меньшинство.

2

Отдельного обсуждения заслуживают эротические эпиграммы. Без преувеличения можем заявить, что они принадлежат к шедеврам поэзии, и, разумеется, не из-за острой пикантности темы, ведь среди них попадаются и попросту грубые и удручающе однобокие в своем бесстыдстве. Кстати, общеизвестный, по крайней мере, по названию, цикл «*De vulva Ursulae*» (I. 306 и 321–323) несколько не оправдывает своей репутации.

Прежде всего необходимо распротиться с представлением о том, что эти эпиграммы непристойны. По меркам послуживших им образцами Катуллы, Марциала и *versus p̄graei* они не были непристойными. Древний Рим не стыдился подобного рода откровенности в высказываниях и никогда не считал их нелитературными. Не были они непристойными и в глазах гуманистов, которые стремились к возрождению классической эпохи. Достаточно вспомнить фацеции Поджо Браччолини или роман

Франсуа Рабле. Непристойными их сделал ход времени, и Телеки с видимым замешательством признает: «...Мы не можем отрицать, что некоторые из этих эпиграмм настолько вольные, что автор их в вопросах непристойности мог бы соперничать с самими Катуллом, Марциалом и Петронием» (Vol. I., X.). Сегодня, однако, мы являемся свидетелями такой развязности, каковой могла бы позавидовать и эпоха Возрождения. Тематика и стилистика новейшей литературы срывает ярлык непристойности с эпиграмм Яна Паннония. Можно лишь удивляться тому, почему по сих пор не появился полный их перевод на венгерский.

Также эпиграммы составляют, в определенном смысле, наиболее ренессансную по духу часть наследия Яна Паннония. Опять-таки не потому, что здесь «тело бунтует против средневековой аскезы» — о качестве произведения искусства еще ничего не решает тот факт, что оно соответствует формулам истории литературы, — а потому, что плоть бунтует с такой всеохватывающей мощью, с такой уверенностью в своей силе и своем праве, что это уже не бунт, а триумф, апофеоз. Стих напрягается и пылает, словно юное тело, жаждущее любви; пожалуй, нигде уж больше Ян Панноний не достигает такого идеального поэтического баланса, как в этих ранних эпиграммах. А то, что придает им особый, пряный привкус, — это ирония, точнее, самоирония, которая веет над его собственными радостями и горестями — свойство, крайне редко присущее совсем молодым людям.

Вероятно, лучшие среди лучших: «На все ту же Люцию» (I, 290), «На Линуса» (I, 316 и 317), «О возрасте» (I, 332), «К Магдалине» (I, 347), «Просит деву, пусть отдаёт» (I, 349), «На Пиндолу» (I, 369).

Насколько мне удалось установить, переведены [на венгерский. — Ж. Х.] из них только две: I, 332 и I, 347. Прочитую одно четверостишие в оригинале (I, 317):

Orabam frustra, frustra jejunos agebam,
Nil opis in donis, nil erat in crucibus;
Nam tanto diris, gravius tentabar am umbris.
Sed nunc paedico; daemones an fugiunt.

Оказывается, знаменитый парадокс Оскара Уайльда из «Портрета Дориана Грея» — «Единственный способ отделаться от искушения — поддаться ему», — был озвучен уже за полтысячелетия до Уайльда.

Само собой разумеется, лучшие эпиграммы не ограничиваются теми, что посвящены эротике. Замечательны и признаны по праву «Рим к паломникам» и «Прощание с Варадом», но не хуже, к примеру, «О себе» (I, 252) или «К Лелии» (I, 106), и совершенно неясно, почему они так и не были переведены.

3

Изучая поэзию Яна, мы сталкиваемся с вопросом, решающим с точки зрения поэзии не только Яна Паннония, но и всей эпохи Возрождения: как нам подойти к проблеме мифологического арсенала или, говоря шире, античного реквизита?

Уже и в античной литературе роль мифологии разнится, если сравнить Грецию и Рим. Что для греков в самом деле было «почвой и арсеналом», для Рима лишь арсенал; что в греческой литературе было органичным и первоочередным, то в римской явственно ощущается стилизацией, порою пышной, порою вольной, порою подчеркнуто наивной. А в Ренессансе? Хоть римляне и стилизовали, но, по крайней мере, они верили в старых богов, по крайней мере, не считали их всего лишь поэтической фикцией. Как правило, гуманисты либо добропорядочно верили в Христа-Искупителя, либо — гораздо реже — не верили ни в бога, ни в черта, но и для тех, и для других Зевсы и Аполлоны, нимфы и сатиры были лишь *façon de parler*, поэтической игрою и ничем

более. Если Ян Панноний заявляет, что «что Фебово святилище» (Eleg., I, 9, 83), то ни ему самому, ни читателю не приходит в голову понимать это буквально и напрямую.

Средневековое мышление, можно сказать, жило посредством «цитирования»: любую мысль подтверждали, иллюстрировали, отрицали, прибегая к цитатам из Священного Писания, отцов церкви или столпов теологии. Возрождение не заменило старый метод новым, оно лишь заменило цитируемый материал, вместо Библии подставив Вергилия и Овидия, вместо Августина и Альберта Великого — Платона и Плотина. С позиций общего развития это, естественно, очень важно, но с точки зрения элементарной логики совершенно непонятно: зачем Бога рядить в тогу Юпитера, императора Священной Римской империи причислять на манер Юлия Цезаря или Октавиана Августа, итальянских князьков или кондотьеров облекать добродетелями Катона? И хотя эта мода в том или ином виде продержалась несколько столетий, уже Эразм Роттердамский почувствовал ее нелепую и противоестественную суть и высмеял фанатиков гуманизма, «цицероновых обезьян».

Писатели и читатели эпохи Возрождения, однако, если и играли с античностью, то знали правила игры от начала до конца, и таким образом могли оценивать (и создавать) то одну, то другую оригинальную комбинацию из традиционных элементов. Наши современники на это не способны, они не видят искусства в ловком жонглировании мифологическими образами, старинными именами и понятиями. Текст распадается на части: «антикварные» элементы и — отдельно — все прочее. Сплавить, сварить эти две части они не могут. Ведь сегодняшняя литература свободна от цитатного мышления и если и обращается к мифологии часто, то делает это совершенно иным образом.

Повторюсь: все это справедливо не только в случае Яна Паннония, но и любого другого поэта Ренессанса. Думаю, мы можем сформулировать общее правило: ценность поэзии Возрождения для нынешнего читателя обратно пропорциональна

мифологической риторике произведения, его инвентарю классики. Сколь бы ни были важны, продуктивны и прогрессивны идеи автора, сколь бы ни были удачны отдельные образы или строки, они все же задыхаются в искусственно нагнетенной (и потому безусловно фальшивой для нас) античной атмосфере. — Не было ли более уместно говорить здесь о псевдоантичности?

Замечательным примером служит последняя в издании Телеки элегия: «Совещание Бога-Отца и Сына об истреблении рода человеческого...» (II, 18). По замыслу это, возможно, наиболее гуманистическое и вольнодумное из всех произведений Яна Паннония. Бог-Отец и Христос по горло сыты погрязшим в грехах родом человеческим. Бог обращается к душам людей. Мир устроен прекрасным, волшебным образом, но к чему это все, если он останется без людей? Более того, без людей бог не будет ни отцом, ни правителем, ни даже богом (161–162). Ведь сам бог создал людей столь слабыми, сам отдал их на растерзание столь многим соблазнам — так диво ли, что они без конца грешат? А если господу угодно лишь выместить свой гнев, пусть разделит грешников и безвинных, но не разит без разбору.

Все это в самом деле прекрасно, только убивает мифологию, превращается в пародию, травести, напрочь теряет меру, серьезность. Конечно: это такое же сочетание несовместимого, о котором позже напишет вышеупомянутый Эразм, крайне потешаясь над «цицероновыми обезьянами». *Olympus, Omnipotens, Superi, Dei, Coelicolae, Itygii lacus, caecus Cupido etc.* — трагедия превращается в фарс.

И все же талант поэта проявляется и в этих весьма неблагоприятных условиях, но только тогда, когда он забывает о добровольно принятых на себя обязательствах стилизации под античность:

Tu quoque, deposito, fateamur vera, timore,
Das tantis causam, materiamque malis.
Imbelles homini sensus, stimulosque, dedisti,
Duxisti e fragili mollia membra luto.
Quid referam tot opes, insani pabula luxus?
Quid Veneris stimulos, ingluiemque gulae?
Praeterea quantis obnoxia vita periclis!
Me miseram! quantis continuata malis! (173–181.)³

Интересно приспособить это мерило ко всем 33-м элегиям. Вот, например, «Траурная песнь на смерть матери, Барбары» (I. 6.) — по общему суждению, образцовое творение Паннония. В этой элегии в самом деле есть великолепные части, такие как изображение агонии (117–132) или превосходная «гнома».

Sincerus nullos affectus computat annos,
Quicquid ames, numquam consenuisse putes⁴. (81–82.)

Но античный балласт — от беглого намека до пространных (напр., 60–80) мифологических вставок — не только тормозит, но и разворачивает к земле полет поэтической мысли. И ничуть не хуже (если не лучше) редко упоминаемая «Траурная песнь

³ В оригинале дается только (!) венгерский перевод:
„Még magad is - ha szabad te előtted szólani nyíltan —
Bűnbe hogy essék, adsz eltévelyedni okot.
Gyöngé idegzete, ámde erősebb ösztöne, vágya
Porlatag alkata is hajlik a bűnre nagyon.
Ott a tömérdék kincs csábítja, hogy úzzenek ők fényt,
Hajtja falánság és hajtja gyönyörre Venus.
S mennyi veszély áll lesbe' szüntelenül életük ellen!
Oh, jaj, mennyi nyomor, mennyi baj zúgja körül!
Hát csoda, hogy vétekre hajolnak végre szegények?“
(Пеп. Hegedűs István)

(Дополнение латинской цитаты и примечание Ж. Х.)

⁴ В оригинале дается и венгерский перевод: „Mert hisz a tiszta szívek nem nézik az éveket, és nem / Vénül meg sohasem — úgy jön —, akit szeretünk.” (Пеп. Csorba Győző) *(Примечание Ж. Х.)*

Рацацинусу, дворецкому» (I, 15), где тот же самый балласт успешно уравновешен великою печалью, силою выражения, а также главной составляющей: действительно функциональным использованием мифа — муляж яблока наливается свежим соком. Такое чудо — редкость, но все же оно случается, словно бы в виде исключения из установленного выше правила. Поэт препирается с парками, и вот его личная боль преобразует риторическое общее место: вместе с поэтом мы видим в ясном свете, какое это злодеяние — доверять судьбу смертных бездетным старым девам, не ведающим страха и участия (73–86). Двустипшие для примера:

Essent si matres, audirent vota parentum,
Affectu proprios respiciente metus⁵. (77–78,)

Именно функциональность мифа выделяет 12-ю элегию из первого тома в числе лучших. Ведь здесь речь идет не о любовных проделках Юпитера и ревности Юноны, здесь Ян Панноний описывает платоновский миф о переселении душ, который он, как неоплатоник, воспринимал со всей серьезностью. Думаю, поэтому можно судить о глубокой горечи этих строк, поэтому заключительным строкам (39–44) мог бы позавидовать любой поэт любой страны и эпохи.

Напротив, 11-я элегия из той же самой книги, которую превозносят еще больше — «Ко сну» — в сравнении с предыдущей многословна, риторична и холодна. Как и в «Траурной песне на смерть матери...», в ней тоже есть замечательные строки и великолепные образы, и даже хорошо обыгран мифологический мотив (23–28: «Об Эндимионе»); но когда поэт обещает щедрую жертву Сну (95–100) или сыплет утомительными мифологическими отсылками (73–76), или называет родителей Сна, описывает их внешний вид, перечисляет его спутников (47–58), или

⁵ В оригинале дается венгерский перевод: „Volnának csak anyák, értenék az anyáknak imáját, / Értnék, más ha remeg, hogyha remegne szívük.” (Пер. Hegedűs István) (Примечание Ж. Х.)

воспроизводит предложенные древними естествоиспытателями виды сновторных, из которых ему ни одно не помогает (31–38), и так далее — современный читатель остается в лучшем случае безразличным, в худшем — раздражается, но целостность впечатления так или иначе страдает.

Пожалуй, дальнейшие примеры излишни. Разве что упомяну, что само по себе снятие античной маски еще ничего не гарантирует читателю. Если «Ян в лихорадке Балажу в лагере» (I, 3) — поистине замечательные строки! — развеселит даже самого угрюмого скептика и вызовет у него улыбку, то написанная от имени короля Матьяша «Ответ Константину, итальянскому поэту» (I, 8) вряд ли заинтересует кого-то, кроме историка. Неудивительно: это поэтическая публицистика, к тому же публицистика талантливая, но пройдет злоба дня, та политика, что в ней выражалась и пропагандировалась, угаснет и стихотворение.

4

Все то, о чем до сих пор шла речь, непосредственно относится и к «эпическим произведениям» Яна Паннония. «Carmina Heroica» не просто наименее удобоваримая часть наследия поэта, другою она и не могла быть. Сам жанр, материал, поэтические приемы, способ подачи — все это чуждо сегодняшнему читателю. Однако безрассудным расточительством было бы просто-напросто убрать из читательского итогового отчета больше трети из того, что создал Ян Панноний и что из него осталось.

«Хвалебная песнь к Лодовико Гонзаге, князю Мантуи», кажется, вообще не посчитали достойным венгерского перевода. Небезосновательно: это восхваление предков героя, его воинских деяний, мудрости правителя, покровительства искусствам и наукам сегодня можно прочесть до конца только по обязанности или по принуждению. Но в потоке скуки есть маленький островок — и эти пятнадцать строк (124–138) свидетельствуют об остром

глазе художника Яна Паннония, о его уверенной руке и искусстве построения произведения.

Песнь «К императору Фридриху III за умиротворение Италии» заслуживает более пристального внимания, хоть я и не решился бы предлагать ее читателю. Но тот отрывок, который посвящен бедствиям войны (234–259), из всех 377-и строк именно эти 26, нельзя исключить ни из одного собрания сочинений Яна Паннония. О внутренней энергии этого отрывка, об остроте чувства лучше всего говорит единственная строка, воссоздающая ужас чумы:

Desunt ligna rogis, tumulis humu s, ignibus aer. —⁶

(К сожалению, перевод искажает оригинал до неузнаваемости.)

Однако в наиболее известном эпическом произведении, панегирику Гуарино, вероятно, не найдется ничего, что могло бы достичь уровня этого отрывка. Хотя он и представляет собою своего рода манифест гуманизма, с пламенной похвалой новой учености, с прославлением фигуры учителя, который едва ли не равен богу, поскольку он единственный способен по-настоящему сделать человека человеком, все это, так же, как и изображение известной школы Гуарино, пестреющее занимательными мелкими подробностями, — обращено к любителю скорее истории, чем поэзии. Привлекает внимание разве что своеобразное изменение гомеровского сравнения: обе части сравнения подробно развернуты. Так, Гуарино, который жадно ищет знание, повсюду собирает его, сравнивается с пчелой (178–194), а любители науки, которые стремятся к мудрому учителю, схожи с изголодавшимся за зиму скотом, что, высвободившись, бежит на весеннее пастбище (339–365). Интересна «реальная» часть сравнения, в которой поэт использует материал недавних переживаний, а не избы-

⁶ В оригинале дается венгерский перевод: „Nincs fa koporsónak, nincs föld temetőnek elég már.” (Пер. Berczely A. Károly) (Примечание Ж. Х.)

точные примеры. Но боюсь, что это наблюдение заинтересует скорее филолога, чем читателя.

5

Я не боюсь упреков в том, что не обратил внимание на искусство стихосложения Яна Паннония или на классические источники его элегий и эпиграмм. Все это проблемы внутренние, а я подчеркнуто говорил с позиции стороннего наблюдателя.

Не боюсь и того, что меня упрекнут в недостаточном благоговении перед юбиларом в пятисотую годовщину со дня его смерти, в том, что я принижаю его достоинства. Полтысячелетия прошло с момента его смерти, и по меньшей мере треть того, что было им создано, не просто живет, но пребывает в расцвете мощи и чарующих сил. Положа руку на сердце: сколько существует поэтов Возрождения, у которых соотношение живого и мертвого было бы столь счастливым?

ПИСЬМО ЯНА ПАННОНИЯ ГАЛЕОТТО МАРЦИО⁷

Перевод Шимона Маркиша

Иоанн, епископ Печский, приветствует друга своего Галеотто⁸.

Ты пишешь мне, как злобствовал мой враг. Так сделай милость, выслушай меня терпеливо, если, вопреки своему нраву, я буду говорить доверительнее обычного. Не догадывается он, несчастный, право, не догадывается, какими кознями я ответил на его козни! Вот если бы он затеял открытую ссору, тогда бы, конечно, узнал, кто из нас двоих влиятельнее при дворе или еще где-либо, кого больше уважают, кто красноречивее, кто вообще и во всем первый! Я просто не вижу, в чем бы он мог причинить нам ущерб. Помешает возвыситься из епископов в архиепископы здесь, в Венгрии? Но мы уже и так удостоены этого сана! Помешает сделаться кардиналом в Риме? Но мы и сами отказываемся от такой чести! Отрешит от власти? Но столкнуть нас с той ступени, на которой мы ныне стоим, не в силах зависть не то что одного пришельца, но и всех здешних, вместе взятых! А я, ежели начну во всеуслышание говорить о его легкомыслии и пусто-звонстве, разве не смогу без труда помешать хотя бы тому продвижению, на которое он — совершенно незаслуженно! —

⁷ Источник: Хрестоматия по зарубежной литературе. Эпоха Возрождения. В 2-х тт. Т. 2. / Сост. Пуришев Б. И. М., Учпедгиз, 1962. 442–444. (Примечание Ж. Х.)

⁸ Галеотто Марцно из Парны (1427—ок. 1497) — итальянский гуманист, друг Яна Паннония. Несколько раз посещал Венгрию и прожил там довольно долго. При дворе венгерского короля Матвея Корвина им написана «Книга о шутливых, мудрых и замечательных изречениях короля Матвея, а равным образом о его деяниях».

столь твердо рассчитывает?! Ведь каждый знает, что легче и проще всего обвинять именно диспенсаторов, даже вполне честных!

*Так всемогущий отец да устроит, так вышнему Фебу
Бой начать да будет угодно!*

И я еще стану думать о лживых баснях того, чьи слова — мишень для насмешек, чьи писания — не писания, ибо он вообще-то не пишет, чьих стихов никто не читает?!⁹

Он утверждает, будто мы высокомерны. Я уверен, что нет такого смирения, которое он, сам человек беспредельно наглый, в другом не почел бы за надменность! Впрочем, я не настолько глуп, чтобы дольше возражать на его глупости. Мне достаточно и того, что апостол Павел вместе с поэтом Эпименидом превосходно говорит: «Все критяне—лжецы, гнусные твари, обжоры, бездельники». И хотя сам этот господин — не критянин, но глава критян, и не столько в священном собрании, сколько во лжи. А ты пишешь мне о дружбе, которая между вами завязалась! Ах, если бы она оказалась искренней и надежной! Но, поверь, в пустышках нет ни малейшего постоянства, а постоянство — необходимейшее условие в дружбе. Впрочем, я-то никогда не буду помехой вашему согласию. Ради мира я предам забвению прежде обиды, вычеркну из памяти все несправедливые нападки. Однако достаточно об этом. Обратимся к тебе и к твоим делам, любезный друг.

Ты пишешь о ласке и благосклонности к тебе короля, о щедрости нашего господина, об обещаниях господ предстоятелей Варадского и Калишского. Поздравляю тебя, ибо предвижу, что ты в ближайшем будущем станешь богат. Радуюсь и за себя, ибо убеждаюсь, что мой долг тебе возмещают, вместо меня, другие.

⁹ В этом месте в хрестоматии пропущена цитата, 3 строки из стихотворения, без указания сокращения. Ср. Письмо 22. // Jani Pannonii opera omnia. Janus Pannonius összes munkái. / V. Kovács Sándor. Budapest, Tankönyvkiadó, 1987. 553-556. (Примечание Ж. Х.)

Если же после всех этих дарений тебе будет еще чего-то не доставать до круглой суммы, прибегни за вспомоществованием ко мне и, коли попросишь умилительно, быть может, и получишь. О как хорошо, что твои Музы и твое остроумие здесь, у варваров, обретают лучшую награду, чем на родине! Как я боялся, что везу тебя к дикому, нетронутому плугом берегу! Теперь же смело следуй за своею судьбой и плавай, полагаясь лишь на собственные силы. Но при этом ни на миг не забывай, для чего ты сюда приехал. Ты приехал просвещать невежественных, веселить опечаленных и приобрести богатство — так смотри, чтобы твои слова или поступки ни в чем не противоречили этим целям. Вот почему мне не нравится, что ты позволяешь себе подшучивать над императором и Ренольдом. Разве не приходила тебе в голову мысль, до чего опасно указывать на тех, кто властен наказывать? Впрочем, суди сам, а мне достаточно дружески предупредить человека, столь разумного, как ты.

Ты пишешь, что король расспрашивает тебя о моем посольстве, — это не слишком меня радует. Я отлично понимаю, что ему любопытно не столько сами дела и их течение, сколько твои остроты, и не сомневаюсь, что его больше занимают твои рассказы, чем наши поступки.

В заключение письма ты просишь меня прислать книги. Но разве мало еще, по-твоему, я послал? Остались одни только греческие, а все латинские ты уже уволок. Слава богу, что никто из вас не знает по-гречески! А не то, я полагаю, вы бы мне и греческой ни одной не оставили. Нет, коли вы изучите греческий, я сразу же возьмусь за еврейский и стану составлять библиотеку из иудейских сочинений. Что это, скажи на милость, за ненасытность в стяжании книг? Вы думаете, это не порок? А на мой взгляд, всякая алчность порочна, чего бы ты ни желал — того или этого, разницы никакой! Стоит лишь преступить меру — и душа приходит в смятение, а это всегда дурно. К тому же вся Италия полна этим товаром, вам привезут сколько захотите; отправьте деньги во Флоренцию — с вас будет довольно и одного

Веспасьяно. Что это вы даром отбираете у меня то, что есть под рукой? Разве одни вы любознательны? Чтоб мне пропасть, если все вы, вместе взятые, за целый этот месяц прочли столько, сколько я за вчерашний день! Клянусь самими Музами, я намеревался и читать, и писать без конца. Но ты вырываешь у меня из рук необходимые для этого средства, и я, волей-неволей, умолкну, и язык мой покроется ржавчиной. Пусть теперь никто из вас не ждет от меня песен, никто не требует приветственных речей, никто не домогается переводов, которые я намеревался сделать и к которым даже приступил, никто не побуждает сочинять письма — всем этим будете заниматься вы с Поликарпом. А я, коли уж не могу чтить Феба, сделаюсь почитателем Марса, либо же посвящу себя домашним делам и сельскому хозяйству — тем трудам, кои предпочитает и превозносит Вергилий. «Однако», скажете вы, «книги-то остаются твоими, даже если теперь они у нас». Но я не владеть хочу книгами, а пользоваться, и в большей мере, нежели собственные, но находящиеся в чужих руках, считаю своими чужие, но находящиеся в моем распоряжении — одолженные, взятые на время. Ну да, ведь их я могу употребить в дело, а от тех мне столько же проку, сколько от вовсе не существующих. «Но ведь, в конце концов, все вернется к тебе по наследству!» Ах, как часто имущество одних переходило к другим, если того желал завещатель, и закон подтверждал его желание! А вдобавок неизвестно, чья жизнь будет продолжительнее. Нет большего врага порядка, чем смерть, и *он* точно так же может оказаться моим наследником, как я — *его*. Но пусть даже я окажусь долголетнее — кто скажет, на сколько переживу я покойного? А время до его кончины, уж наверное, протечет впустую! Ибо надо и учиться и самому писать теперь, пока чувства остры, разум силен, дух не капризен. А когда подойдет старость, должно будет заботиться уже не о науках, а о нравах, не о славе земной, а о спасении души. То, чем мы ныне забавляемся, по-юношески ликуя, должно будет либо оставить, либо переменить и от добрых речений и писаний обратиться всецело

к доброй жизни. А вы, как я вижу хотите, чтобы я взялся за чтение лишь тогда, когда глаза мои ослабнут и без очков я уже читать не смогу. Вот тебе моя жалоба, и, ежели она вам не по праву, подумайте, как несправедливо запрещать ограбленному хотя бы излить душу в слезах и пенях.

ПИСЬМО АНДРЕЯ КРЖИЦКОГО (КРИЦИЯ)
ЭРАЗМУ РОТТЕРДАМСКОМУ¹⁰

Перевод Шимона Маркиша

Андрей Криций, епископ Перемышльский
Эразму Роттердамскому

Письмо твое, ученнейший Эразм, я получил, получил и книгу, которую ты отправил мне вместе с письмом, сочинение достопочтенного отца, господина Кэтберта Танстолла, епископа Лондонского; и то, и другое— великая для меня радость. И вот чему я радуюсь прежде всего: хотя по сию пору я чрезвычайно занят делами священного служения, твое исполненное изящества послание до того меня восхищает, что я просто не в силах себя перебороть и всё краду тайком время у Святых писаний и действий, которые держат меня неослабно. И прежде я не мог не любить, не чтить беспредельно главу и сборника ученых занятий и утонченного богословия, богословия древнего и прославленного, — любезнейшего моего Эразма, хотя увы! никогда не видел его в лицо. Все здешние профессора знают, как высоко я ценю твои ученнейшие безупречные труды, — ты называешь их голландскими, пусть будет по-твоему, но они могут поспорить и потягаться с любыми древними — будь то труды греков или римлян, и таково мнение не одного лишь Криция, но всего мира! Что бы ни выходило из-под твоего пера, долгом моим было это раздобыть и предать у нас тиснению, а долгом Муз моих —

¹⁰ Источник: Хрестоматия по зарубежной литературе. Эпоха Возрождения. В 2-х тт. Т. 2. / Сост. Пуришев Б. И. М., Учпедгиз, 1962. 476–479. (Примечание Ж. Х.)

скифских невеличек! — рекомендовать новое сочинение Эразма читателю. До сих пор у меня не было случая выразить тебе свою неизменную любовь, и преданность, ибо — человек ни в какой мере не искательный и не честолюбивый — я опасался, как бы подобный поступок не вызвал у тебя или у других подозрения, будто я стремлюсь быть упомянутым в твоих трудах: ведь я вижу, как многие пекутся об одном — сподобиться похвалы Эразма, хотя бы даже незаслуженной (впрочем, и такая похвала может показаться величайшей удачей). Но коль скоро ты сам предоставил мне к этому возможность, коль скоро дал подняться в твоей душе чувству любви ко мне, который давно алкал не говорю уже «любви», но хотя бы единого твоего словечка... подумай сам, каким счастьем, каким утешением было для меня твое письмо!

Что сказать о книге? И уместно ли много о ней говорить? Скажу только, что ничего удачнее ты не мог бы мне прислать. Я-то, глупец, полагая, что расчеты и выкладки приличествуют купцам, но не епископам, доньше никогда не спрашивал отчета ни у своих официалов, ни у диспенсаторов; я забыл, чему, по всей видимости, учит нас пример величайшего и преславного наставника нашего, Христа, который описывает нам хозяев и отцов семейства, ведущих счета с управляющими и рабами. Ныне ты, как говорится, окатил ледяной водой мою беспечность и тупоумие, сам, столь великий муж, прислав мне такую книгу другого великого мужа: любой из вас без труда мог бы убедить меня не только что за арифметику взяться, но даже пуститься в пляс посреди площади. Итак, под совместным воздействием двух непререкаемых авторитетов, я приступаю ныне к новому для меня делу, тем более что годы мои еще таковы, когда и учиться, и менять образ мыслей или заведенный порядок жизни кажется незаторным и не слишком трудным. Но боюсь, как бы придворные заботы и хлопоты не помешали не только арифметике, а всем вообще моим занятиям, хотя для них лишь одних, на мой взгляд, я и рожден на свет, несчастный я человек! Сколько раз пытался я выбрать из этих бурных воли и посвятить себя себе же

самому и скромным своим трудам, но чем ближе, казалось, подходил к гавани, с тем большею яростью неизвестно откуда налетевший шквал вновь бросал меня в открытое море! В этом море, любезный Эразм, — если только ты хочешь знать мои обстоятельства, — носит меня, несчастного, из стороны в сторону, причем не пресловутый фимиам почестей, увлекающий других, меня соблазняет, но ведут част: желания близких, частью же благосклонность государя. Как далеко она простирается, ты можешь в полной мере судить хо бы по тому, что и епископскую кафедру король дал мне без всяких с моей стороны домогательств, и все мои литературные безделки, которые я подношу ему в дар, он хранит в особых лари и повсюду возит о собою. В этом лишь одном я, жалкий ком; должен быть сопоставлен с самим божественным Гомером.

Возвращаюсь теперь к твоему письму. Ты пишешь, что благородный господин Ярослав Лаский преподнес тебе мою книжку против лютеран. Он сделал это по связывающей нас взаимной приязни и, вероятно для того, чтобы засвидетельствовать неколебимость нашей веры. Однако мне, право же, неприятно, что до тебя, мужа, столь великого, дошли эти жалобы, вышедшие в свет до какой-то степени вопреки моей воле. Ты и сам знаешь, любезный Эразм, что в наш век любой уголок кишмя кишит суровыми судьями и крикунами, знаешь, сколько хлопот подобные господа кто бы они там ни были, хоть шершни, хоть даже и скараabei! доставляют порядочным людям, нередко — и знатным, и высокородным. Их тайных укусов не смог избежать и я, ибо всегда следил за твоими трудами и читал кое-что из Лютера: его увещания вначале казались здоровыми. Нашлись клеветники-доносчики, которые оговорили меня и перед папой. Наконец, меня вывел из себя грязный Лютеров язык: до того гнусно и бесстыдно он поносил и все святыни, и нас, епископов, каждого в отдельности, что этакой брани не то что вслух, но и про себя не мог бы произнести не краснея даже самый отъявленный вертопрах! Легко сообразив, что это за источник, из которого

текут целые реки иступленных ругательств, я издал тогда свою книжечку — с одной стороны потому, что был огорчен и опечален, с другой же для того, чтобы заткнуть рот «достойным» моим судьям. То был своего рода полет легкой пехоты, а между тем я строил боевую линию по всем правилам ратного искусства, на случай если Лютер попытается ответить ударом на удар. Но поскольку даже после второго издания этой книжки в Риме он остался нем, быть может, считая такую войну ниже своего достоинства, я отвел своих солдат назад, в лагерь, и почел за лучшее не вступать в дальнейшие столкновения с натурами, в коих нет ничего, кроме бешенства и проклятий, ибо в подобных столкновениях достойнее оказаться побежденным, нежели победителем, — таково мое неизменное убеждение.

Любезный Эразм, теперь уж и Мы, хоть и представляемся миру далекими сарматами, осведомлены, какие бури терзают вашу Германию. Боги бессмертные, неужели от века и до века так заведено, чтобы все, достигшее вершины, терпело крушение?! Сколько уже пало царств и империй, взошедших на вершину славы! Кому еще не ясно, что такая же участь постигает ныне Германию, которая по заслугам считается далеко превосходящею все прочие народы как воинским искусством, несокрушимостью городов и крепостей, обилием товаров, так равно дарованиями и науками? О, нежданная буря! Ты так упорно стремишь судно к гибели, что даже на главный якорь не остается, видимо, ни малейшей надежды! Все это столь гнусно и позорно, что слезы брызжут из глаз — лишь только вспомнишь.

То учиняют, в обиде и гневe, всевышние боги,

а сколь безрассудно с ними тягаться, нам внушают и сочинения поэтов, и — еще настоятельнее — достоверные рассказы историков. И ты, любезный Эразм, краса нашего века, великая опора наук, ты — в этом Вавилоне, посреди всеобщего смятения, посреди сущей Лерны заблуждений и злодеяний! Это кажется достойным и жалости, и негодования! Что тебе делать там, где на

здравые твои увещания никто не откликается? Удались же как можно скорее, прошу тебя, от этих смут, вырвись из этого пожара! Если бы ты немедленно перебрался к нам, ничто, по моему, не могло бы быть полезнее и для тебя, и для наук. Край наш — полугерманский, полусарматский, но в нем охотно обитают и те, кто числит себя среди счастливых и баловней судьбы. Нами правит государь, нравственные достоинства, мудрость, доброжелательство, благочестие и подвиги коего невозможно описать словами. У нас есть исполненный высочайшей мудрости сенат, у нас есть королевские сановники, не менее ревностные почитатели наук, нежели силы и оружия. Есть у нас и тонкие умы, есть благородный Музеон, появятся и Фробены¹¹, если будет с нами Эразм. О достойном тебя приглашении и условиях я позабочусь. Ты только дай знать, только намекни, что нам для тебя приготовить. Не ссылайся на старость и болезни: воздух у нас такой здоровый, что можно снова помолодеть, — ты сам придешь к этому заключению, а целительные свойства нашей воды таковы, что ты скоро сможешь нахаркать в рожу своему камешку в пузыре. Итак, обдумай, что ты намерен предпринять, и сразу же сообщи нам. Будь здоров, любезный Эразм, и отвечай взаимной любовью твоему от всей души

Крицию.

Краков, декабрь, 1525.

¹¹ Фробен — базельский книгоиздатель, друг Эразма.

ЭРАЗМ РОТТЕРДАМСКИЙ

НАВОЗНИК ГОНИТСЯ ЗА ОРЛОМ

Перевод Шимона Маркиша¹²

... **Об** этом повествует одна забавная греческая басня, которую Лукиан приписывает Эзопу: в «Икаромениппе» он упоминает, что у Эзопа была притча про то, как некогда навозные жуки и верблюды поднимались на небо. Что же до содержания рассказа об орле и жуке, то вот оно примерно какое. У орлиного рода со всем племенем навозников вражда с незапамятных времен, и война не на живот, а на смерть — ну, прямо-таки ἄσλονβος πὸλεμος¹³, как говорят греки. До такой степени ненавидят, они друг друга, что сам Юпитер, ὁ κράτος ἐστί μὲνιότην¹⁴ и чье мановение приводит в трепет весь Олимп, не смог их примирить и утишить раздор, — если только можно дать веру притчам. Да, согласия меж ними не больше, чем в наши дни между придворными богами и презренной, темной чернью. Но найдется, наверное, человек, несведущий и ἀνῆκοος¹⁵ в Эзоповых баснях, который изумится: что за дела у навозника с орлом? Какое родство, какая близость или соседство могли возникнуть между столь несхожими существами (ведь именно подобного рода узы чаще

¹² Источник: Эразм Роттердамский. Навозник гонится за орлом. Перевод с латинского и примечания. // Себастиан Брант «Корабль дураков»; Эразм «Похвала глупости» «Разговоры запросто»; «Письма темных людей»; Ульрих фон Гуттен «Диалоги». Примечания Марковича Е., Пинского Л., Маркиша С., Цетлина М. М., Художественная литература, 1971. С. 208–235, 236–394. (Примечание Ж. Х.)

¹³ непримиримая война (греч.).

¹⁴ чья сила необорима (греч.).

¹⁵ ненаслышанный (греч.).

всего служат началом и истоком вражды, особенно среди государей)? Что за причина такой жестокой ненависти? Откуда, наконец, у навозного жука столько отваги, чтобы не побояться войны с орлиным народом? А с другой стороны, чем это был так оскорблен и раздосадован возвышенный дух орла, чтобы не пренебречь врагом, столь ничтожным, недостойным даже ненависти?

Долгая история, долгая ненависть, долгие козни; и вообще предмет слишком велик, а потому человеческому красноречию недоступен. Но если бы Музы, которые некогда не сочли за труд нашептать Гомеру «Βατραχομυομαχίαν»¹⁶ - удостоили помощью и меня, покинувши ненадолго Геликон, я попытался бы в меру своих сил изобразить самую суть дела. Ведь не может быть на свете таких трудностей, чтобы люди не дерзали их одолеть, если путь указывают Музы! Однако, прежде чем приступить к рассказу в собственном смысле слова, я, по возможности коротко, очерчу нравы, внешность и природные задатки обоих воителей, — тогда и самый рассказ будет понятнее.

Итак, во-первых, вот что бросается в глаза и вызывает изумление: древние римляне, люди, вообще-то говоря, мудрые, заявляя преимущественно против остальных народов притязания на символ этой птицы, считая, что он роднит их с богами, одержав под его водительством столько побед и справив столько триумфов, платят своему благодетелю черной неблагодарностью, наносят ему нестерпимое оскорбление. Действительно, пернатое самое мужественное и силы необоримой они лишают мужского достоинства и чуть ли не в Тиресия какого-то обращают, называя его «аквила» — именем женского рода! Сами они после этого не мужчины! Зато по-гречески орел бесспорно мужского рода, и это, по-моему, намного более подобает тому, кого вышний Юпитер, отец и государь богов и людей, пожаловал царскою властью над перелетными птицами, сведав его верность на русом Ганимеде; тому, кто один, когда все боги разбегаются, подносит гневному

¹⁶ «Войну лягушек и мышей» (греч.).

Юпитеру трезубые стрелы, нисколько не испугавшись половицы: «Πόρρω Διός τε καὶ Κεραινοῦ»¹⁷. И не без веских оснований, на мой взгляд, среди столь многих птичьих племен и бесчисленных колен именно орла единодушно решили объявить самодержцем не только φρήτρα¹⁸ птиц, но сенат и народ стихотворцев. Что до птичьего постановления, то большинство склонялось к мысли вручить верховное владычество павлину: его краса, блеск, величие, гордость, поистине царские, казалось, прямо-таки требовали царства. Так бы и проголосовали, когда бы не иные птицы, умудренные долгим житейским опытом, вроде воронов и ворон: если во главе птичьего государства поставить павлина, рассудили они, выйдет то же, что уже много лет можно наблюдать на примере некоторых самодержцев, а именно, что царем он будет только по званию, на словах, власть же царскую все равно возьмет орел, хотя бы народ его и не выбирал.

Кроме того, я полагаю, поэты, мужи на диво мудрые, разглядели, что никакой другой образ не способен вернее передать характер и житейские правила царей. (Я говорю о большинстве, не обо всех: в любом роде вещей всегда было и будет доброе меньшинство, и новый век рождает новых людей.) Итак, если позволите, сравним в немногих словах орлов с государями.

Во-первых, ежели само наименование в какой-то мере знаменательно (в чем я нимало не сомневаюсь), греки весьма удачно называют орла αἰτὸς — от αἰσσω, то есть примерно: «увлечен порывом» или «несусь напролом». Некоторые птицы от природы покойны и ласковы, другие дики, но искусством наставника приручаются и привыкают к людям. Лишь орел ни к какому учению не способен, и любые старания приручить его тщетны. Так неудержим природный порыв, который его уносит, что на всякое свое хотение требует немедленного дозволения. Не угодно ли

¹⁷ «Подальше от Зевса и от [его] перуна» (греч.).

¹⁸ фратрии, колена (греч.).

поглядеть на птенца с истинно орлиною душою? Его, «стража при молнии», картинно описал Гораций:

Когда-то младость и племенной задор
Его толкнули вон из гнезда скорей,
А ветер весенний, дождь прогнавши,
Робкого первым учил полетам.
Потом пыл жизни бросил врагом его
К стадам овечьим; скоро к жестокому
В борьбе дракону он помчался
В жажде добычи и ярой битвы.

Намек этот особенно хорошо понимают те земли, которые на себе испытали, скольких несчастий стоит подобного рода неукротимый пыл юных государей. Философам свойственно сдерживать свои страсти и во всем следовать голосу рассудка, но, как гласит сатира, нет ничего своевольней, чем ухо тирана.

У него всегда наготове одно:

«Так я хочу и велю! Рассудок уступит хотенью!»

Далее, хотя писатели различают шесть разновидностей орлов, у всех шестерых одинаково клюв круто загнут и когти такие же кривые, так что даже по наружности можно догадаться, какая перед тобою птица — плотоядная, враждебная покою и миру, рожденная для битв, грабежей и разбоев. И, точно мало быть плотоядным, есть орлы, которые зовутся «костедробительными»!..

Но тут, любезный читатель, ты решительно останавливаешь меня и безмолвно вопрошаешь: какое отношение имеет этот образ к государю, чья подлинная слава — в милосердии, в том, что он способен причинить зло чуть ли не каждому, но не хочет вредить никому, что он один чужд язвительной беспощадности и всего себя издерживает ради выгод своего народа; недаром же мудрый Филоксен на вопрос, что в мире самое полезное, отвечал: «Царь». Он имел в виду, что свойство истинного государя — никого не обижать и всем помогать (насколько достанет сил),

быть скорее «всеблагим», нежели «всемогущим». Впрочем, и нельзя стать всемогущим иначе, как будучи всеблагим, то есть оказывая благодеяния всем и каждому.

Скажу напрямик: я хвалю образец, весьма искусно нарисованный философами, и, пожалуй, готов признать, что подобные государи будут править в Платоновом государстве. Но в летописях едва ли сыщется хоть один властитель, которого ты решился бы сопоставить с этим изображением. А если кто припомнит и оценит государей из новейших времен, он не встретит, боюсь, никого, кроме тех, что заслуживают самой позорной брани, какую у Гомера Ахилл бросает Агамемнону: «Δηϊοβίρος βασιλεύς...»¹⁹

А Гесиод называет царей δωροφάγους²⁰, хотя правильнее было бы назвать их λατφάγους²¹. И хотя Аристотель отличает царя от тирана по примете самоочевиднейшей: один заботится лишь о собственной выгоде, другой о благе народа,— все же иным людям царское звание, которое древним римским властителям (и каким властителям!) казалось непомерным и рождающим зависть, а потому безусловно нежелательным, иным людям, повторяю я, и царское звание не в радость, если не прицепить к нему длинный хвост блистательного лганья, чтобы именовались «Божественными» те, кому и человеческое-то имя не впору, «Непобедимыми» те, кто ни разу не одержал победы в бою, «Высокими» те, кто ниже всех, «Тишайшими» те, кто сотрясает землю военными бурями и безумными мятежами, «Светлейшими» те, кто погружен во мрак глубочайшего невежества, «Христианнейшими» те, у кого нет ничего общего со Христом. Ежели у этих божественных, прославленных, победоносных остается досуг от игры в кости, от пьянства, от охоты, от блуда, то весь целиком его посвящают царственным думам. При этом забота лишь одна: все законы и постановления, войны и мирные

¹⁹ «Царь — пожиратель народа...» (греч.).

²⁰ дароядцами (греч.).

²¹ всеядными (греч.).

договоры, суды и советы, священное и мирское направлено к тому, чтобы все имущество всех граждан угодило в государеву казну, иными словами — в бездонную бочку. Так на орлиный лад они упитывают себя и своих птенцов, оципывая невинных птичек.

Пусть-ка теперь толковый физиогномист взглянется повнимательнее в облик орла — в алчные и бесстыжие глаза, грозный зев, злобный взор, хмурый лоб, в горбатый нос наконец, который Киру, царю персидскому, представлялся драгоценным украшением государя,— разве не узнает он некоего царственного подобия, полного величия и великолепия? А самая окраска, скорбная, ужасная, зловещая, отливающая нечистойю темнотою траура?! Ведь грязноватый, темный оттенок мы так и зовем «орлиным». А голос — неприятный, страшный, вселяющий ужас и в то же время гнусавый клекот! Нет такого существа, которое не испугалось бы, услышав орлиный клекот... Символ этот узнает любой, кто испытал опасность сам или хотя бы видел, как опасны угрозы государя, даже произнесенные шутивным тоном, и как все трепещет, когда зазвучит такой примерно орлиный глас:

Εἰ δε κε μή δωώσιν, εγώ δε κεν αὐτός ἐλώμα',
ἢ τεον ἢ Αἴαντος ἰών γέρας ἢ Ὀδυσσης
ἄξω ελών ὅ οὐ χεν κεχολώσεται, οὐ κεν ἴκωμαι²².

Или же такой, не менее βασιλική²³:

Μὴ νό τοι οὐ χραίσμωσιν ὅσοι δεοί εἰς ἔν Ὀλυμπῶ
Ἀσῶν ἰέντ', οτε κέν τοι ἀέλτους χεῖρας ἔωείω²⁴.

²² «Если ж откажут, предстану я сам и из кущи исторгну
Или твою, иль Аяксову мзду, или мзду Одиссея;

Сам я исторгну, и горе тому, пред кого я предстану!» (греч.)

²³ царственный (греч.).

²⁴ «Или тебе не помогут ни все божества на Олимпе,

Если, восстав, наложу на тебя необорные руки» (греч.).

Заслышав этот клекот, повторяю я, дрожит чернь, съезжается сенат, рабствует знать, повинуются судьи, молчат богословы, поддакивают правоведаы, отступают законы, отступают обычаи и порядки; перед ним все бессильно — и вышние веления, и благочестие, и справедливость, и человечность. И хотя столько есть птиц красноречивых, столько певчих, хотя так разнообразны голоса и напевы, способные растрогать даже камень, надо всеми, однако же, берет верх этот противный и вовсе немзыкальный, скрипучий крик орла.

Существует среди орлов одна разновидность, которую очень хвалил Аристотель, потому, вероятно, что подобные черты желал видеть в своем птенце — в Александре. Эта порода почти так же, как прочие, хищна и прозорлива, но не так нагла и криклива и, во всяком случае, более человечна, потому что воспитывает свое потомство, а прочие поступают так же, как нечестивые родители, которые подкидывают своих детей, тогда как даже тигры не отказываются от своих тигрят! По этой причине их называют *γνήσιοι*, то есть как бы настоящей, чистокровною породой. Видал их и Гомер, — несмотря на слепоту, — потому что именует *μελάνωτα* и *οφρήτορες* — «черноспинными» и «ловчими»; оба эпитета как нельзя лучше подходят к таким государям, как Нерон, Калигула и слишком многие иные. Но насколько же некоторые среди них, клянусь Юпитером, еще более *γνήσιοι* и, я бы сказал, орлинее самих орлов! Это те, кто скипетром и изображениями предков приближены к богам, но не гнушаются лестью людишкам ничтожного происхождения и, я бы даже сказал, исполняют роль прихлебателей — была бы только надежда на щедрую поживу.

Писатели сообщают, что орлы долговечны. Но, достигнув глубокой старости, они жаждут только крови, которою и поддерживают свое ненавистное всем существование: верхняя половина клюва вырастает настолько, что клевать мясо орел более не может. Отсюда известная каждому пословица «*Αετού γήρας*»²⁵ —

²⁵ «Орлиная старость» (греч.).

насчет стариков, чрезмерно преданных хмельному питию. Вообще-то весь род птиц с кривыми когтями, если верить Аристотелю, либо не пьет вовсе, либо до крайности редко, а если когда и пьет, то одну лишь воду, и только орел жаждет крови. Выходит, что, загибая ему клюв, природа — далеко не всегда мачеха! — позаботилась об остальных существах и положила какой-то предел ненасытной прожорливости орла. Попечение природы обнаруживает себя еще и в том, что она не позволяет орлу снести более трех яиц, ни вывести более двух птенцов. А если верить стиху Мусея, на которого ссылается Аристотель, — «Рождает трех, выводит двух, но жив один». В течение всего времени, что орлы сидят на яйцах, а длится это около тридцати дней, промыслом природы им отказано в пище, и когти на этот срок повертываются в противоположную сторону; а иначе все звери лишились бы своих детенышей.

Итак, пока орел высиживает птенцов, от голода у него седеют перья. Отсюда ненависть к собственному потомству. (Впрочем, что до римских орлов, это скорее в области желаемого, нежели наблюдаемого: они вообще не ведают ни предела, ни меры, расхищая добро простолюдинов.) Страсть к стяжанию с годами всё возрастает, и всего усерднее свирепствует орел, когда в гнезде запищат птенцы. В эту пору народ терзают все новые и новые повинности. Наконец, орлу природа противопоставила несметное множество врагов, о которых мы вскоре будем говорить. Заботливость природы не удивит того, кто поверит Плинию, который приводит доказательство ненасытной алчности орла, — доказательство совершенно сверхъестественное, которому я, пожалуй, не дал бы веры даже в том случае, если бы прочел у Демокрита, а между тем его повторяет Плутарх, — автор в высшей степени надежный, — как общепризнанное и бесспорное. А именно: даже перья орла пожирают перья других птиц, если их перемешать, так что те постепенно истаивают и исчезают. Такова сила врожденной хищности. А я полагаю, что то же самое произойдет, если смешать кости тиранов с костями людей из народа,

и что кровь их способна смешаться не более, чем кровь эгифа и флора.

Теперь взгляни, насколько все это отвечает приметам иных государей. (Пожалуйста, читатель, не забывай, что, как уже было сказано однажды, не о добрых и праведных идет у нас речь.) Одна пара орлов нуждается для своих опустошительных набегов в большом просторе и не терпит другого разбойника в близком соседстве, а потому определяет рубежи и границы. Но разве есть такое владение, которое не было бы тесным для наших орлов? А какое стремление раздвигать свое царство до бесконечности! Какие распри с соседними орлами либо коршунами о пределах царства, то есть грабежа! Но вот в чем, пожалуй, заметно различие: эта птица, такая хищная и жадная, рядом с гнездом, однако же, не разбойничает — для того, разумеется, чтобы возмездие за обиды не пало однажды на ее голову, — но большею частью тащит добычу издалека, а тираны и закадычных приятелей не щадят, и к родным и домочадцам протягивают алчные когти. Более того: опасность тем вернее, чем ближе ты к тирану, словно бы к Юпитеру и его перуну.

Врожденную и унаследованную от родителей ненасытность в грабежах значительно умножает воспитание. Орел, как слышно, едва оперившихся птенцов выбрасывает из гнезда, чтобы они сразу же, от молодых когтей (почти по пословице!) приучались жить грабежом и полагаться на собственные когти. Но у некоторых государей, боже бессмертный! какое множество дополнительных побуждений к хищности, помимо растленного воспитания! Какая свора льстецов, сколько продажных чиновников, сколько бесчестных советников, сколько безмозглых друзей, сколько ничтожных собутыльников, которые и бескорыстно радуются общественным тяготам. К этому прибавь чванство, наслаждения, изысканную роскошь, которые никакой добычей не насытишь. Прибавь глупость и невежество, упрямее которых, если они соединены с удачливостью, нет ничего на свете. Эта зараза способна испортить и самые счастливые натуры, так что

же, по-твоему, будет, если она вползает в жадный и гнусный ум? Это все равно что плеснуть в печку масла!

Но недостаточно βασιλέως²⁶ был бы снаряжен орел, если бы не было у него для разбоя иных орудий, кроме кривых когтей и кривого клюва, если бы не присоединялись к ним очи, зорче Линцевых, способные глядеть, не щурясь, на полдневное солнце; говорят, что такое испытание устраивает он своему потомству, проверяя, законное ли оно. Поэтому орлы высматривают и выбирают добычу из самой дальней дали. Впрочем, у царя птиц только два глаза, один клюв, когтей всего десяток, утроба тоже одна. А у наших орлов, увы! сколько ушей-слухачей, сколько глаз-соглядатаев, сколько когтей-чиновников, сколько клювов-начальников, сколько утроб-адвокатов да судей, утроб положительно бездонных и ненасытных! Им всего мало, от них ничто не укроется и не спасется, даже содержимое самых заветных сундуков и шкатулок. Однако вред был бы, пожалуй, намного меньше, если бы к оружию и телесной мощи не присоединялся коварный ум, иными словами — если бы железо, и само по себе губительное, не увлажнялось ядом. Ступая по земле, орел вытягивает когти, чтобы их не притупить и во всей остроте сберечь для разбоя; эта черта у него общая со львом. И нападает он не без разбора, но лишь тогда, когда уверен, что враг слабее. И на добычу падает не камнем, не вдруг, как прочие иные, но опускается потихоньку, чтобы не раздавить с маху свою жертву. И даже на зайца, которого ловит всего чаще, не налетит, пока тот не выйдет на ровное место. И лютует не во всякое время, чтобы самому не быть застигнутым в минуту усталости, но охотится от завтрака до полудня, в остальные же часы — до тех пор, пока рынки не заполнятся толпою, — сидит праздно. Далее: добычу он не пожирает на месте убийства, чтобы какое-нибудь внезапное нападение не захватило его врасплох, но, отдохнувши и проверив свои силы, уносит ее в гнездо, словно в замок.

²⁶ по-царски (греч.).

Каким образом берет он оленя, уступая ему в размерах, будет сказано немного дальше. Ибо если уж обращаться к свидетельствам его хитроумия, то первым делом надо припомнить, как, поднявши ввысь черепаху, он высматривает годное местечко и бросает ее на камень, чтобы разбить панцирь и добраться до мяса. (Правда, в случае с Эсхилом орлиной верности глаза он не обнаружил — когда лысую голову поэта принял за белый камень и, выпустив из когтей черепаху, зашиб беднягу насмерть; уже это одно дает всем поэтам законное основание ненавидеть орла.) Теперь он так расправляется с черепахою постоянно и точно по праву, но в первый раз заманил ее хитростью, пообещав, будто с его помощью она выучится летать. Внушив ей такую надежду, он взмыл в небо и метнул черепаху на скалу, чтобы — по обычаю всех тиранов — чужое горе обратить в свое удовольствие. Но если поразмыслить, как разнообразны приемы, как многочисленны хитрости, обманы и уловки, при помощи которых государи обируют простой народ, — все эти прибыльные законы, пени, лживые звания, притворные войны, доносы, узы свойства — как бы не пришлось отказать орлу в царском имени.

Остается вкратце перечислить главных врагов этого высокогородного разбойника. Ведь истинную правду гласит пословица: «Орел не ловит мух», и еще: «Орел не замечает древоточцев». Если добыча кажется недостойной царских когтей, орлы просто не замечают ее, разве что кто из них в родстве с Веспасианом, который считал благоуханной любую прибыль. Да, бывают и орлы-выродки, которые живут рыбною ловлей, или даже такие, которым не стыдно подбирать падаль. Но все, что духом повыше, — словно тираны, уступающие кое-что пиратам и грабителям, от которых (как объявил Александру Македонскому знаменитый пират) отличаются лишь тем, что владеют большим флотом, верховодят большими шайками и своим грабительством терзают большую часть земного круга, — мелкую добычу оставляют коршунам да ястребам, а сами воюют с четвероногими, не без опасности, разумеется, но и не без надежды на победу, как и

подобает отважному полководцу. Главным образом, как я уже сказал, орел охотится на зайца, откуда и прозвище одной из орлиных пород — «зайчатники»; так же точно мы называем полководцев: одного «Африканским», другого «Нумантинским». Хоть враг этот и робок и невоинствен, зато съедобен, так что, если славы от такой победы и немного, зато пользы немало. Но бывает иногда, что в разгар охоты на зайца охотник вдруг обращается в добычу, сраженный пернатою стрелкой и оправдывая пословицу: «Τοῖς ἰδίοις πτεροτοῦ ἐναλοθνήσχω»²⁷.

Отваживается он и на схватку с оленем, — совершенно, впрочем, безнадежно, если бы не лисье лукавство: недостаток силы он восполняет хитростью. Перед боем он как следует вываливается в пыли, а затем, усевшись врагу на рога, хлещет оленя крыльями по морде и засыпает ему глаза пылью, покуда тот не ослепнет и не ринется вниз головой на утесы. Еще жарче и намного опаснее битва с драконом, которая, к тому же, происходит в воздухе. Дракон коварно выслеживает орлиные яйца. Орел, в свою очередь, где ни завидит врага, разит мгновенно.

Непримиримая его вражда с лисицею не удивит никого из тех, кому известно, какой царский прием оказала ему некогда лисица. Сперва они подружились — водой не разлить, а после, сидя на яйцах, орел оголодал и утащил детенышей соседки к себе в гнездо. Лисица вернулась домой, поглядела на следы жалкой и мучительной кончины своих лисенят и — единственное, что было в ее власти! — призвала в свидетели богов и среди них первым Юпитера-Φῖλον²⁸, отомстителя за поруганную дружбу. И, по видимому, кто-то из богов внял ее молитвам. Несколькоми днями спустя случилось так, что орел похитил мясо с жертвенника и вместе с мясом, сам того не ведая, принес в гнездо уголек. Когда же орел снова отлучился, ветер понемногу раздул пламя, и гнездо загорелось. Птенцы в ужасе выпрыгнули, хотя

²⁷ «От собственных перьев погибаю» (греч.).

²⁸ Покровителя дружбы (греч.).

еще и не оперившиеся. Лисица их подобрала, отнесла в нору и сожрала. С той поры нет ни малейшего согласия между орлами и лисами, к немалому, надобно заметить, ущербу для лисьего племени. А впрочем — и поделом, пожалуй: ведь зайцы в свое время просили у них *συμμαχίαν*²⁹ против орла, а они отказали, как сообщают «Летописи четвероногих», из коих Гомер позаимствовал *Βατραχομομαχίαν*.

И с коршуном у орла жестокий раздор — как с товарищем по ремеслу и соперником по прожорству; однако ж орел и более жесток, и более благороден, потому что питается только тем, что сам и убьет, и никогда по лености не сядет на падаль. Поползния он ненавидит по заслугам: чего только поползень не выделяет, стараясь разбить орлиные яйца. Сражается он и с цаплями: эта птица, надеясь на силу своих когтей, отваживается нападать на орла и бьется до того горячо, что погибает в стычке. Неудивительно и то, что он не ладит лебедем, птицею поэтов; удивительно другое — что существо столь воинственное нередко терпит поражение от лебедя. Поэтическое племя уже привыкло к монаршей немилости: у самодержцев совесть нечиста, а поэты своевольны и говорливы и нередко предпочитают отправиться вместе с Филоксеном в каменоломни, нежели промолчать. Если их что огорчило, свою горечь они изобразят чернилами на бумаге — и тайны царей разглашены во всеуслышание, даже перед потомством.

Нет у него мира и с журавлями, потому, на мой взгляд, журавли — неизменные приверженцы демократии, которая самодержцам ненавистна как смерть. Но журавли сильнее орлов: когда, покидая Киликию, они готовятся пролететь над горами Тавра, где полным-полно орлов, то берут в клюв большие камни и, таким образом лишив себя голоса, ночью, в молчании благополучно минуют опасное место.

²⁹ военного союза (греч.).

А вот вражда с птицею по имени трохил совсем особая. Она возникла, как сообщает прославленный любитель прогулок, единственно по той причине, что трохила тоже называют «царем» и βουληφόρος³⁰, главным образом — у римлян. Орел преследует его непримиримую ненавистью, словно бы он и в самом деле заявлял притязания на царство. Впрочем, трохил не из тех врагов, которых следовало бы опасаться орлу: он бессилен и робок, но не лишен ума и хитрости и потому прячется в кустарнике и в пещерах, так что другим птицам, хотя бы и более сильным, поймать его непросто. Когда-то давным-давно он состязался с орлом в быстроте и выиграл не столько благодаря силе, сколько лукавству.

Наконец, истребительную войну ведет он с кибиндом, такую ожесточенную, что часто, сцепившись, попадают в плен оба. Кибинд — это ночной ястреб. И тираны ни к кому не питают большей ненависти, как к тем, кто решительно расходится во мнениях с толпою и чересчур зорко видит в потемках. Но было бы отчаянно глупостью с моей стороны продолжать список всех его врагов, потому что он воюет со всеми подряд! И в иных сословиях живых существ одни воюют с другими, но у каждого есть и друзья. Много врагов у лисицы, но ворон ей приятель, и с его помощью она обороняется от птицы эсалона, разрывающей в ключья ее лисенят. Ладит лисица и со змеями, хотя кроликов любит совершенно так же, как они. Крокодил враждует с ихневмоном, зато с трохилом в такой дружбе, что эта птичка беспрепятственно и безнаказанно разгуливает в самой пасти чудовища. И только у орла ни с единым положительно живым существом нет ни дружбы, ни близости, ни добрососедства, ни товарищества, ни мира, ни перемирия. Он враг всем, и все ему враги. Да, потому что не может не быть всеобщим врагом тот, кто живет и кормится всеобщей бедою. И, сознавая это, не на равнине вьет он себе гнездо, а среди отвесных скал или, иной раз,

³⁰ советником (греч.).

на макушке дерева, но только самого высокого, и, наверное, твердит про себя слова, любезные каждому тирану: «Пусть ненавидят, лишь бы боялись!»

Далее: у египтян священное существо — аист, и кто его убьет, рискует собственной головою, у римлян священны гуси, никто из британцев не причинит зла коршуну, иудеи щадят свиней, древние не охотились на дельфинов, и обижать их было запрещено, и даже если они причинят ущерб рыбакам, их наказывали всего несколькими ударами, точно малых детей; но против орлов повсюду в мире тот же закон, что против волков и тиранов,— кто умертвит общего врага, заслуживает награды. Итак, орел никого не любит и не любим никем, в точности как дурные государи, которые властвуют лишь себе на пользу и к великому урону для государства.

Обыкновенным же чувствам подобные великие сатрапы чужды до такой степени, что иногда и собственных детей любят лишь корысти ради, а еще чаще относятся к ним с подозрением и ненавистью. Столь свирепый зверь, как лев, отблагодарил своего благодетеля и в обмен за избавление от боли в лапе даровал избавление от смерти; этой истории верят почти все. Дракон, услышав знакомый голос, примчался и спас своего кормильца; эта история внушает доверие очень многим. Аспид ежедневно приползал к одному и тому же столу, и, когда узнал, что один из его детенышей ужалил насмерть хозяйского сына, он убил собственного детеныша в отмщение за попранное гостеприимство и больше в тот дом со стыда не возвращался; эту историю рассказал Филарх, и многим она внушает доверие, Деметрий Физик счел необходимым ее записать, а Плиний упомянуть. Пантера услужливо указывала дорогу человеку, который вытащил из западни ее детенышей, пока не вывела его из чащобы на большую дорогу. Аристофан Грамматик влюбился в девушку Стефанополиду, и соперником его был слон; это сообщает Плутарх, как нечто общеизвестное, как пример, кочующий из одной ораторской речи в другую. У него же находим

рассказ о драконе, без памяти любившем девушку Этолиду. Любовь дельфинов к людям — служба, которую они сослужили Ариону, или вынесенному на берег Гесиоду, или некоей девице с Лесбоса, спасенной вместе с возлюбленным, или мальчику, разъезжавшему взад-вперед по волнам, — не вызывает сомнений. Но в страсть орла к юной девушке не поверят даже те, кто всему верит. Его ненависть к людям предопределена судьбою; это можно понять хотя бы из того, что к Прометею, *φίλανθρωλότατος*³¹ среди богов, палачом на Кавказе был приставлен орел.

Но при всех этих пороках есть и черты, заслуживающие похвалы. Орлы величайшие хищники, но они не пьяницы и не похотливцы. Действительно, орел похитил Ганимеда, но для Юпитера, не для себя. А между нашими орлами нетрудно найти таких, которые похищают для себя, и не одного только Ганимеда, но и девиц, и мужних жен, и это еще непереносимее, чем грабежи, хотя и грабежи переносить совершенно невозможно.

Итак, разновидностям птиц нет числа, и одни, как, например, павлины, вызывают восторг богатством оперения и красок, другие, как, например, лебеди, замечательны снежною белизною, третьи, как, например, вороны, напротив, сверкают черным блеском, четвертые, как, например, страусы, всех превосходят размерами, пятые, как, например, фениксы, прославились сказочными чудесами, шестые, как, например, голубки, знамениты плодовитостью, седьмые, как, например, куропатки и фазаны, украшают столы важных господ, восьмые, как, например, попугаи, веселят нас своею болтливостью, девятые, как, например, соловьи, восхищают пением, десятые, как, например, петухи, отличаются особой отвагою, одиннадцатые, как, например, воробьи, рождаются людям на забаву; и тем не менее среди всех только орла сочли мудрецы пригодным для того, чтобы изобразить подобие государя, орла — не красивого, не певчего, не съедобного, но плотоядного, хищника, грабителя, разбойника,

³¹ самому человеколюбивому (греч.).

воинственного, одинокого, ненавистного всем, всеобщее наказание, способного причинить бездну вреда и, однако же, еще более зложелательного, чем зловредного.

Да и льву власть над царством четвероногих вручена не по иной какой причине, кроме лишь той, что нет зверя свирепее и гнуснее. Собаки годны на многое, но прежде всего на то, чтобы караулить имущество. Волы крестьянствуют. Кони и слоны воюют. Мулы и ослы перевозят тяжести. Обезьяна — прихлебатель. Дракон полезен хотя бы по той причине, что доказал пользу укропа для остроты зрения. А лев — тиран, и только, враг и пожиратель всех, огражденный от опасностей лишь силою и страхом, поистине царственное животное, так же как орел. По-видимому, это понятно людям, которые украшает благородные гербы львами с оскаленною, настежь распахнутою пастью и когтистыми, протянувшимися к добыче лапами. И, по-видимому, зорче глядел Пирр, который радовался, что его называют «Орлом», чем Антиох, гордившийся прозвищем «Ястреб». Нет ничего удивительного в том, что лев царит над четвероногими, если среди поэтических богов самым подходящим для царского правления был признан Юпитер — нечестивый оскопитель и убийца родного отца, кровосмеситель, вступивший в брак с родною сестрой, прославивший себя столькими блудными связями, прелюбодеяниями, похищениями девиц и после всего этого еще устрашающий вселенную $\kappa\upsilon\alpha\nu\acute{\epsilon}\omicron\varsigma \omicron\phi\rho\upsilon\varsigma \kappa\alpha\iota \phi\omicron\lambda\omicron\epsilon\nu\tau\acute{\iota} \kappa\epsilon\rho\alpha\upsilon\nu\phi\chi$ ³². А государство пчел, где лишь царю отказано в жале, многие восхваляют, но подражать пчелам никто не хочет, так же, впрочем, как и Платонову государству.

Но возвращаюсь к орлу. За вышепоименованные столь царственные дарования, за столь выдающиеся заслуги перед всяким на Земле дыханием сенат и народ стихотворцев, во-первых, единогласно постановил величать орла «Царь надо всеми» и даже $\theta\epsilon\acute{\iota}\omicron\varsigma$, то есть «Божественный». Во-вторых, отвел ему вполне

³² иссиня-черными бровями и полыханием молнии (греч.)

почетное место между светилами и отличил несколькими звездочками. И в-третьих, назначил на завидную у небожителей должность — подавать разгневанному Юпитеру оружие, которым тот сотрясает вселенную. А чтобы он мог исполнять свою должность без опасений, ему, единственному из живых существ, было определено не страшиться молнии, быть неуязвимым для молнии и смотреть на молнию тем же немигающим взором, каким глядит он на солнце. К этому мудрейшие и древнейшие римляне прибавили, чтобы среди знамен их легионов главенство принадлежало орлу, чтобы он для самих знамен был как бы знаменосцем, поднявшись даже над Волчицею, кормилицей римского племени, над Минотавром и кабаном, не самыми лютыми хищниками, поднявшись, наконец, и над конем. Знамена с изображениями этих четырех животных некогда следовали за орлом. Вскоре, однако, спутники наскучили ему, и он запретил им покидать лагерь и стал выходить на поле битвы один. Только орла, повторяю я, сочли римляне достойным украшать собою скипетры, знамена, печати, дома, одеяния, утварь, прислугу самодержавного властелина мира, хотя, если память мне не изменяет, Римская держава была основана гаданием по полету коршунов, а не орлов. А коллегия птицегадателей объявила о такой примете: на чью кровлю сядет орел или на чью голову уронит войлочную шапку, тому боги сулят верховную власть.

Вот тебе один из вождей. Перехожу теперь к навознику.

Это животное (а впрочем, и не животное, пожалуй, потому что некоторых чувств ему недостает) из самого низшего разряда насекомых; греки называют его постыдным именем κάθαρρος, латиняне — «скарабей», наружность у него мерзкая, запах еще более мерзкий, но всего мерзее — жужжание; крылья прикрыты панцирем. Скажу более: весь скарабей — не что иное, как сплошной панцирь. Родится он в навозе, то есть в дерьме, в нем и живет, и пребывает, и услаждается, и развлекается. Главная его забота — скатывать шарики, как можно большего размера, с виду

— словно бы благовонные лепешки, да только не из благовоний, а из навоза, всего лучше козьего: для него козье дерьмо — что майоран. Лепит он их, напрягаясь изо всей силы и пятясь, потому что задние лапки, которые у него длиннее передних, вскидывает поверх катышка, а голову опускает к земле. И если случится, что скараabei толкают свой груз по склону какого-нибудь пригорка, и то и дело упускают шарики, и всё снова и снова сбегают за ними вниз, можно представить себе, будто видишь Сизифа, катящего свой камень. Они не знают ни усталости, ни отдыха и трудятся с неизменным усердием, пока не доберутся до норки. В таких катышках родились они сами, в них же выводят и потомство, укрывая детенышей, еще слабых и нежных, от зимней стужи.

Я не сомневаюсь, что навозный жук известен всякому, потому что попадает повсюду, кроме разве тех мест, где нет ни крупницы навоза. Но разные виды навозников между собою не схожи. Есть такие, у которых панцирь отсвечивает темною зеленью. Большинство пугает взор мерзкою чернотой. Попадают очень крупные, вооруженные длинными рогами; концы рогов раздвоены и образуют клешни, которые в нужный миг захлопываются и кусают врага. Бывают и рыжие, тоже весьма крупные; они роют норки в сухой земле. Есть такие, что проносятся мимо с грозным жужжанием и ужасным шумом, так что любого несведущего могут испугать не на шутку. Существуют и другие наружные различия. Но у всех одно общее свойство: из навоза выходят они на свет, навозом питаются, в навозе их жизнь и радость.

Я уже предвижу, что какой-нибудь слишком горячий поклонник римских полководцев будет оплакивать участь орла: столь царственной птице выпало иметь дело с противником столь презренным, столь худородным, что потерпеть от него поражение — величайший позор, а победа над ним не прибавляет славы ни на волос, меж тем как для врага более чем достаточной славою окажется сама борьба с орлом, даже если она завершится разгромом и бегством. Аякс у поэтов стыдится такого

бессильного соперника, как Улисс, а орла заставляют биться с навозным жуком! Другой еще более изумится тому, откуда у этого ничтожнейшего насекомого столько дерзости и отваги, что он не побоялся затеять войну с самой воинственной из птиц. И далее: откуда у него средства, силы, припасы, союзники, чтобы столько лет вести военные действия?

Но ежели раскрыть силена, ежели разглядеть эту жалкую тварь поближе и как бы в ее дому, мы заметим в ней столько завидных дарований, что, всё тщательно взвесивши, быть может, и себя самих пожелаем увидеть скорее навозником, чем орлом. Только пусть никто не перебивает меня и не спешит с возражениями, пока не выслушает до конца.

Прежде всего, уже в том преимущество навозного жука перед орлом, что он ежегодно сбрасывает с себя старость и молодеет. И это такое преимущество, что, по-моему, не один римский первосвященник, хоть ему и открыт прямой путь на небеса, поскольку ключ от небес в его руках, предпочел бы, когда настанет тягостная старость, полагающая предел всем удовольствиям, сбросить обфар³³ вместе с навозником, нежели менять тройную корону на семерную. Далее: в таком крохотном тельце какая крепость духа! какая героическая сила ума! какое упорство и целеустремленность! По сравнению со скарабеем Гомерова муха — ничто! Именно отсюда, если не ошибаюсь, прозвище «буйвол», которое носят некоторые из навозных жуков. А с буйволами и львы не вступают в драку с легким сердцем, что же тогда сказать об орлах?

И разум у навозника незаурядный, если не считать безосновательной старинную и повсюду известную греческую пословицу: *καὶ ἄρον σοφώτερος*³⁴, которая, по-видимому, приписывает жуку редкостную, несравненную мудрость. И язвительные замечания насчет того, что, дескать, живет он не слишком опрятно и

³³ выползок, линовище (греч.).

³⁴ мудрее навозного жука (греч.).

дом у него гнусный, меня нимало не смутят. Надо только освободиться от пошлого предрассудка, который тяготеет над нашими суждениями, — и окажется, что навозного жука не за что презирать; кстати, это относится и к его наружности.

Действительно, если верно учат философы, что та форма, которая зовется шаровидною, не только прекраснейшая, но и во всех отношениях наилучшая, и ни одна иная так не мила Демиургу, создавшему по ее образцу небо, бесспорно самую прекрасную из вещей нашего мира, — почему бы не считаться красивым навозному жуку, который к этой форме гораздо ближе, чем орел? И затем, если конь красив в своем роде, а собака в своем, как можно отказывать в подобной же красе навознику? Разве что обо всякой внешности будем судить применительно к собственной наружности? Но тогда все, несходное с человеческим образом, немедленно будет объявлено безобразным. Цвет навозника, я полагаю, никто порочить не станет: ведь он сообщает ценность некоторым самоцветам. Далее: если навозник употребляет себе на пользу кишечные выделения животных, так слава его разуму, а ничего преступного в этом нет! Как будто не то же самое делают врачи, которые не только обмазывают больных кишечными извержениями многих животных, а в равной мере и человека, но даже растворяют кал в целебном питье. И алхимикам, мужам поистине божественным, нисколько не стыдно пользоваться дерьмом для извлечения знаменитой «пятой сущности». Не стыдно и землепашцам, самому почтенному в прошлом роду людей, утучнять поля навозом. А есть племена, которым для украшения стен дома изнутри вместо гипса служит навоз. Тем же навозом, измельченным и высушенным на солнце, поддерживают огонь, будто дровами. Киприоты кормят своих быков человеческим калом, и не только кормят, но и лечат.

Но, возразят мне, этакий смрад ласкает ему обоняние! Глупо было бы, однако ж, требовать от навозного жука человеческого носа! Ведь это чисто человеческое качество — испытывать отвращение к запаху своего кала. Никому иному из живых существ оно

не свойственно. Стало быть, скарабей не грязнее нас, а удачливее. Впрочем, и в людях дурное чувство вызывает не столько самый предмет, сколько общепринятое о нем мнение. Действительно, древним этот предмет казался совсем не таким гнусным, как нам, раз они называли его благоприятнейшим словом — «летамен», то есть «радость». И богу Сатурну они не постеснялись дать прозвище «Навозного», бесспорно почетное, если верить Макробию. А Плиний сообщает, что Стеркут-Удермитель, сын Фавна, получил от того же предмета не только имя, но и бессмертие в Италии. В Греции тот же предмет доставил великую славу двум царям — Авгию и Геркулесу. Никогда не изгладится память о царственном старце, которого (как замечает Цицерон в «Катоне») Гомер представил потомству собственноручно удобряющим почву тем самым добром, какое радует и скарабея. Если римского императора нисколько не оскорбляла вонь отхожего места, сочетавшаяся с прибывками, почему навозника может отпугнуть от столь завидных выгод столь ничтожное неудобство, которое, впрочем, и неудобством-то признать нельзя? И наконец, мы видим, что навозник и в дерьме чист, панцирь всегда сияет, а орел и в воздухе издает зловоние, — так кто же, спрашивается, из них опрятнее? Я даже считаю, что само имя *χάνικρος* произведено от «καθαρός»³⁵, можно, впрочем, выводить его и от слова «кентавр». А главное, не следует думать, будто скарабей грязен и скареден от природы и всякая роскошь ему противна: ведь он без памяти любит розы, неудержимо к ним тянется и рвется, если верить Плинию.

Если же кто сочтет эти дарования незначашими и заурядными, то, во всяком случае, любой признает и блистательным и великим, что с незапамятных времен скарабей числится среди священных изображений и упоминается в таинственных пророчествах как самый верный символ выдающегося воителя. Как сообщает Плутарх в заметках «Об Изиде и Озирисе», образом

³⁵ чистый (греч.).

царя в египетских иероглифических рисунках было око со скипетром, что обозначало, конечно, бдительность в соединении с правым и справедливым правлением, ибо в те времена, я полагаю, цари были еще именно таковы и мало чем походили на орлов. В Фивах, говорит он далее, находились некие изображения, лишенные рук: они представляли собою судей, которым надлежит быть как можно дальше от всякого соблазна взятки. А одно из них было, к тому же, и безглазым: оно обозначало главного судью, потому что ему надлежит быть свободным от всех решительно страстей и взирать только на дела, а не на лица. И вот среди священных изображений — а не среди куч на скотном дворе! — можно было видеть и скарабея, вырезанного на печати. На что же намекали нам мудрейшие богословы удивительным этим символом? На вещь поистине редкостную — на выдающегося и непобедимого военачальника. И это тоже сообщение Плутарха, а не моя выдумка, — по образцу невежественных богословов, частых сочинителей аллегорий.

Но человек простодушный и недостаточно сведущий спросит, вероятно: а что общего между военачальником и навозным жуком? Сходство громадное! Во-первых, погляди, как скарабей сияет оружием, как он весь, от макушки до пят, тщательно покрыт панцирем и латами! Даже Маворс у Гомера вооружен не лучше, хотя поэт снабдил его самым полным доспехом. Прибавь боевой натиск, грозное жужжание, боевую песнь. Что тягостнее для слуха, чем звук трубы? Что 'αουσοῦτερον³⁶, чем грохот тимпанов? Голоса трубы, который ныне так радуется слух царей, некогда не переносили бусириты, потому что он напоминал им рев осла, а ослы для этого народа были гнусною тварью. Прибавь терпение и трудолюбие в перекачивании тяжестей, несокрушимую твердость духа, презрение к жизни. Кроме того, говорят, что у скарабеев нет самок, одни только самцы. Что, скажите на милость, может более приличествовать доблестному полководцу?

³⁶ грубее (греч.).

И еще одна подробность (ее сообщает тот же Плутарх) будет здесь очень уместна,— что в этих милых катышках, о которых говорилось выше, скарабеи и производят свое потомство на свет, и выкармливают его, и воспитывают, и выращивают. Мне эту загадку истолковать было бы не просто; легче объяснят ее императорские солдаты, которые знают, что такое *ἐν σπλῖδι ξενίζεσσαι*, *ἤσσειν*³⁷, которые не раз во время осад терпели, нагие, жестокую стужу и еще более жестокий голод, которые горькое существование продлевали даже не корешками трав, но всякою гадостью и дрянью, которые по нескольку месяцев не сходили с кораблей. Если поразмыслить, как грязна эта жизнь, навозник будет чист и опрятен, если задуматься, как она несчастна, можно позавидовать и скарабею. Но не спешите со своим пренебрежением: таковы обстоятельства и участь самых прославленных императоров. Заодно я хотел бы выразить крайнее изумление: почему это наши пиргополиники предпочитают видеть на своих гербах,— в коих, как они уверены, заключена вся знатность без остатка,— леопардов, львов, псов, драконов, волков или иных животных, подсказанных ли случаем или выбранных по определенной причине, меж тем как подлинный их символ — навозный жук? Символ, не ко в высшей мере сообразный, но и одобренный и освященный самою древностью, единственной родительницею знатности.

Упорнейшее презрение к навознику должно быть поколеблено у того, кто припомнит, как маги и лекари пытаются врачевать худшие недуги человека с помощью этого насекомого. Рога луканского жука (есть такая порода) не только носят в кошельке, но и на шею вешают, а иногда и в золото оправляют — против всех детских болезней. Да, среди чудодейственных целебных средств (я бы даже сказал «баснословных», если бы не авторитет Плиния) навозник имеет равную с орлом силу. Ведь о *δείνος*

³⁷ гостить на щите, спать на земле (греч.).

εκεῖνος³⁸ скарабей, вырезанный в изумруде, — не из всякого дерева, по пословице, можно ваять Меркурия, так и не всякий самоцвет скарабей считает достойным своего лика, — изображенный, повторяю я, в изумруде, самом ясном и красивом из самоцветов, и повешенный на шею (но только непременно на шнурке из шерсти павиана или, на крайний случай, из ласточкина пуха), он служит верным средством против любой отравы, не менее верным, чем трава моли, которую некогда дал Улисс Меркурий. Но не только в этом его сила: прекрасно действует он и тогда, если нужно обратиться с просьбою к государю. Стало быть, особенно важно надеть перстень со скарабеем, если ты решился просить у государя какую-нибудь доходную должность, архидиаконскую, к примеру, или архиерейскую. И тяжесть в голове он разгоняет — немалую, клянусь Юпитером, напасть, особенно для пьяниц. Так вот, что касается этих замечательных лекарств, мудрые маги не делают никакого различия между орлом и навозником. Но вправе ли кто глядеть свысока на самого скарабея, если даже каменное его изваяние обладает такою силою? Раз уже речь зашла о самоцветах, я прибавлю, что ежели орлу лестно слышать название камня «аэтит», то и здесь не уступит ему навозник, которому обязана своим именем кантариада. Она воспроизводит все обличия жука с такою дивною точностью, что можно подумать, будто видишь не изображение, но живого скарабея, заключенного в прозрачный камень.

И, наконец, — если это относится к делу, — родившийся из дерьма навозник прославлен не меньшим числом пословиц, нежели царь птиц. Если же кто из приверженцев орла возразит, что некогда у фиванцев (заметим, кстати, людей простых и грубых) ему воздавали божеские почести и что скарабею с ним не равняться, я особенно спорить не стану, а только напомним, что эти почести орел разделяет с крокодилами и павианами, даже с луком и бурчанием в животе, ибо египтяне поклонялись всякому

³⁸ дивный этот (греч.).

подобному уродству. Но если пустое имя божества все же имеет какой-то вес, были свои верные и у скарабея.

Обоих вождей мы, худо ли, хорошо ли, описали. Теперь пора поведать причины столь ужасной войны.

Некогда на горе Этне орел преследовал зайца и уже парил над добычею, нацеливши когти, как вдруг заяц, и вообще-то робкий, а теперь полумертвый от страха, кинулся к ближайшей норе навозника, словно бы к убежищу. Ведь в отчаянном положении, в крайних опасностях ищут и чают защиты, где угодно. А тот навозник был, говоря словами Гомера, ἦς τε, μέγας τε³⁹. Рассказывают, что на той горе племя навозников необыкновенно рослое, отчего как раз и вошел в поговорку ὁ Αἰτναῖος κἀνίχρος⁴⁰, — разумеется, за громадные размеры. Итак, прибежав к норе, заяц бросился навознику в ноги, обнял его колени и принялся умолять и заклинать, чтобы пенаты дома сего оборонили просителя от беспощадного врага. Уже и то немало польстило жуку, что есть, оказывается, существо, которое желает быть обязанным своею жизнью ему, навознику, и полагает возможным получить от него такое благодеяние. И еще: все люди обычно проходят мимо его норки с проклятьями и зажимая нос, а это существо сочло целесообразным явиться сюда в поисках спасения, словно бы к священному алтарю или к изваянию императора. Тотчас же взлетает навозник навстречу орлу и такую речь пытается утишить его ярость:

Чем больше твоя мощь, тем более приличествует тебе щадить невинных. Не надо осквернять мой очаг пролитием невинной крови, дабы и твое гнездо никогда не извело подобного несчастья. Благородному, царственному духу свойственно прощать даже недостойных. Мне, ничем не заслужившему твоей ненависти, да послужит на пользу уважение к жилищу, коего целость и

³⁹ огромен и славен (греч.).

⁴⁰ навозник с Этны (греч.).

неприкосновенность безусловно дозволяют законы, желает справедливость, одобряет обычай. Да послужит на пользу если не влиятельность заступника, то хотя бы его усердие.

Если навозный наш род презираешь и наше оружие, Ведай, что боги тебе не забудут ни правды, ни кривды.

Если ж тебя нисколько не смущает оскорбление крова, которое некогда узнаешь и ты, в свою очередь, почти хотя бы всемогущего Юпитера, которого ты единым поступком оскорбишь трижды. Этот заяц мой гость — ты оскорбишь ξένιον⁴¹, он молит о защите, и я молю тебя за него — ты разгневаешь Ἰκετήσιον⁴². Наконец, друг заступается за друга — ты оскорбишь Φίλιον⁴³. Ты сам знаешь, что такое неотвратимый гнев Юпитера и как строго карает раздраженный Громовержец, — ведь ты подаешь ему оружие, когда он в неистовстве. Не все разрешает он своим домочадцам, не всегда уступает чувствам.

Многое еще намеревался высказать жук, но орел, небрежно махнув крылом, сбил его наземь. Зайца, попусту разливавшегося в мольбах, он безжалостно умертвил и растерзал на глазах у навозника и, растерзав, понес в безжалостное гнездо. Нисколечко не подействовали на него ни просьбы, ни угрозы жука, которых он, однако же, не отвергнул бы, если бы благоразумием был богат настолько ж, насколько силой и дерзостью; или если бы пришло ему на память, как в давние времена лев был избавлен от смертельной опасности мышью, и то, что едва могли даровать боги, случайно подарила тирану всех четвероногих ничтожная и презренная мышь; или если бы он подумал о муравье, который, в отплату за благодеяние, подарил жизнь голубке, искусав птицелову пятку. Нет существа настолько жалкого и низко поставленного, чтобы оно не было в состоянии при случае оказать помощь другу или навредить врагу, даже самому

⁴¹ [Зевса] — Хранителя гостеприимства (греч.).

⁴² [Зевса] — Заступника просителей (греч.).

⁴³ [Зевса] — Покровителя дружбы (греч.).

могущественному. Но в ту пору ничто подобное орлу в голову не пришло; он целиком был занят своею добычею.

Эта обида засела в груди у благородного скарабея глубже, чем можно было предполагать. Она не давала покоя возвышенному и титаническому духу; отсюда стыд, что в деле столь справедливого его влияние не возымело должного действия; отсюда жалость, что кроткое, ни в чем не повинное существо растерзано столь свирепо; отсюда негодование, что орел так грубо и так безнаказанно отмахнулся от него, имеющего, как ему представлялось, законное право на уважение. (Ведь никому собственное влияние не кажется чересчур легковесным.) К этому присоединялась мысль, что в будущем весь род навозников навсегда лишится всякого уважения, если однажды орлу сойдет невозбранно его наглость. Вот когда, еще не располагая возможностью отомстить, обнаружил навозный жук нечто царственное, а именно то, что сказал об Агамемноне и прочих царях Калхас:

εἶπερ γάρ τε χόλον γε καὶ αὐτῆμαρ καταλέψῃ,
ἀλλὰ τε καὶ μετόπισθεν ἔχει κότον, ὄφρα τελέσῃ,
ἐν στήθεσσιν ἑοῖσι.⁴⁴

Коротко говоря, он копил в сердце все уловки и хитрости, не обычную замышляя кару, но лелея в помыслах побоище и прямо-таки πανολεθρίαν⁴⁵. Но искушать Марса нападением на самого орла, противника на редкость воинственного, он считал небезопасным; не потому только, что был слабее, но и потому, что Марс, бог глупый и вздорный, такой же слепец, как Плутос или Купидон, чаще всего благосклонен к неправому делу. Но даже если бы силы были равны, даже если бы защитники правого дела сражались успешнее, жук видел, что может уязвить

⁴⁴ «Вспыхнувший гнев он на первую пору хотя и смиряет, Но сокрытую злобу, доколе ее не исполнит, В сердце хранит» (греч.).

⁴⁵ поголовное истребление (греч.)

орла больше и сытнее напитать свою ненависть местию, если живого и невредимого замучит насмерть долгою пыткой, уничтожив его потомство. Нет для родителей страдания тяжелее, чем страдание их детей. Иные не замечают самых жестоких требований собственного тела, но муки детей вынести не в состоянии. Жуку доводилось видеть, как с поразительным презрением к жизни бросаются в огонь ослы, спеша на выручку к осятам; доводилось видеть примеры подобных порывов у многих животных. Он полагал, что и орел не чужд этому общему чувству. Вдобавок, рассуждал он, для всего навозного рода безопаснее, если такой упорный враг будет свален, как говорится, под самый корень. Наверное, он слышал известную пословицу: «Νήτηος, ος πατέρα κτείνας παίδαο καταλείλει»⁴⁶

Наконец, его щекотала смутная, но соблазнительная надежда, что, если все сойдет благополучно, то, сокрушив орла, он сядет на царство сам.

И поскольку скорбь прибавляет не только храбрости, но и разума, скарабей прилежно разведывает, в каком месте укрыл неприятель свою надежду на потомство. Выследив это, он обращается к Вулкану, с которым был в добрых отношениях, — по сходству цвета, — и просит выковать ему доспех, который и летать бы не мешал, и защищал бы от не очень сильных ударов. И вот Вулкан вооружает навозника с головы до пят оружием, которое тот носит и до сей поры; а прежде он был безоружен, наподобие мухи.

Гнездо орла находилось оттуда далеко, на высокой обрывистой вершине, громадное, надежно сплетенное из хвороста и соломы. Прилетел ли или приполз к нему мой замечательный навозник, точно неизвестно, но что прибыл, и прибыл без промедления, это точно. Некоторые утверждают, будто в тот миг, когда орел ударил его крылом, жук вцепился в какое-то перо, и орел, не подозревая ничего дурного, сам принес его в гнездо. И вот

⁴⁶«Лишь неразумный, отца истребивши, щадит ребяташек» (греч.).

туда, куда даже люди (а нет на свете животных более коварных или более изобретательных на всяческие пакости!) не могли добраться, проник навозный жук. Он прячется в засаде среди соломы и, выждав удобный миг, выталкивает орлиные яйца из гнезда, одно за другим, до последнего. Яйца раскололись, несчастные птенцы, еще бесформенные, вывалились на камни, лишившись жизни прежде, чем успели ощутить ее вкус.

Но и этой столь суровою местию не насытилась досада скарабея. Существует самоцвет, из числа самых благородных, который греки называют «аэтитом» — по имени орла; он напоминает яйцо; мужской камень отличен от женского, в котором виднеется зародыш, весьма схожий с птенцом. Он на диво способствует разрешению от бремени, отчего и поныне его подносят роженицам, чтобы ускорить роды. Пару таких камней, мужской и женский, орел всегда кладет у себя в гнезде: иначе ему не снести яиц и, уж заведомо, не высидеть птенцов. И это сокровище навозник тоже вышвырнул из гнезда, чтобы и на будущее отнять у орла способность к рождению детей. Камни упали на острые скалы и разбились вдребезги.

Впрочем, и этого еще недостаточно разъяренному скарабею. Только тогда признает он горе врага тяжким, когда насладится его скорбью и жалобами. И вот он снова зарывается глубоко в солому.

Прилетает орел — и видит небывалое бедствие, видит свою плоть, растерзанную в клочья, видит неоценимую утрату благородных самоцветов, и жалуется, и клекчет, и кричит, и визжит, и рыдает, и зовет в свидетели богов, и орлиными своими очами, которым скорбь придала еще более остроты, высматривает вокруг могучего врага. Кто угодно мог прийти ему на ум, кроме того презренного навозника! И страшные угрозы, страшные заклятья шлет он виновнику своей горчайшей беды. Понимаешь ли ты, читатель, какое наслаждение испытывала в этот час душа навозника?

Что было делать бедному орлу? Снова пришлось отправиться на Острова Блаженных, — ибо лишь там добывают аэтит, — искать другую пару самоцветов. Гнездо он переносит в иное место, намного более высокое и уединенное; снова кладет яйца. Но и сюда совершенно таким же образом пробирается неведомый враг: все разоряет, прежнюю трагедию повторяет от начала и до конца. И снова переселяется орел — в еще более надежный замок; обзаводится другими аэтитами, кладет другие яйца. И снова навозник тут как тут.

Нет ни меры, ни конца этому бегству и этой погоне, пока царь пернатых, изнуренный столькими несчастьями, не решают, как говорится, бросить священный якорь и, отчаявшись в собственных силах, искать защиты у царя богов. Приступает он к Юпитеру, излагает трагедию своих бедствий, рассказывает про неприятеля, такого могущественного и — что всего тяжелее — неведомого, так что даже возможность отомстить отнята у страдальца. Но дело идет не только о его гибели, прибавляет орел, дело касается и самого Юпитера: если враг не уймется — погибнет придворная должность, дарованная Юпитером, придется менять оруженосца, а ведь это что-нибудь да значит — привычные и знакомые слуги, хотя бы даже в случае с новым виночерпием замена и оказалась весьма приятной. Юпитер был тронут горестным положением своего прислужника, тем более что недавнее похищение Ганимеда было еще свежо в памяти. Он велит орлу положить яйца ему за пазуху: если уже и там они не сохранятся, то, стало быть, не сохранятся нигде. Орел сносит яйца и последнюю свою надежду слагает за пазухою у верховного бога, заклиная его теми блаженнейшими яйцами, что снесла ему Леда, добросовестно исполнить долг хранителя.

Но чего только не исполнит упорная боль души? Боюсь, как бы дальнейшее не показалось кому-нибудь совершенно невероятным. К самой твердыне верховного Юпитера подлетает непобедимый скарабей, — быть может, не без помощи какого-то благосклонного божества, — и роняет ему за пазуху навозный

катышек, нарочито для этого припасенный. Юпитер к грязи непривычен: ведь обитает он в самой чистой части мира и безмерным расстоянием отделен от земной пакости. Почуяв мерзейшую вонь, он старается вытряхнуть навоз из-за пазухи и ненароком выбрасывает орлиные яйца, которые, упав с такой высоты, конечно, погибли еще прежде, чем коснулись земли. Только так наконец и узнали многократного убийцу, и именно это добавило последнюю каплю к радости скарабея: он был счастлив, что его узнали. Напротив, для орла, который услышал обо всем от самого Юпитера, новым и очень тягостным огорчением оказался столь презренный виновник его бедствий, ибо немалым утешением служит и то, если верх над тобою взял великий противник.

Тут, словно бы сызнова, началась между ними ужасная война. Орел повсюду, где только ни заметит навозное племя, губит его, истребляет, сокрушает, расточает. В свою очередь, и навозник напрягает все силы, чтобы извести орла. Разбой, засады, убийства без остановки, без передышки; и казалось, что покой настанет лишь тогда, когда оба народа будут уничтожены поголовно, — после Кадмейской, как мы бы выразились, победы. Одолеть жук не мог, а уступить не умел.

Наконец Юпитер, видя, какое опасное складывается положение, решает вмешаться и пытается частным образом примирить враждующих. Но чем больше пытается, тем сильнее взаимная ненависть, жарче гнев, ожесточеннее битвы. Нет сомнения, что в сердце бог сочувствовал орлу, но в то же время его смущало, что если кому бы то ни было сойдет безнаказанным пренебрежение к *Ἰκετήσιον*, *Φίλιον* или *ξένιον*, это будет до крайности вредным примером на будущее. А потому он поступил так, как всегда поступал в чрезвычайных обстоятельствах, — созвал богов на совет. После краткого вступления он изложил суть дела, а затем глашатай Меркурий объявил об открытии прений. Собравшиеся высказывались один за другим. Симпатии разделились. Боги попроще и пониже поддерживали навозника, а из высших

божеств за него всей душою была Юнона, настроенная к орлу неприязненно из-за Ганимеда. В конце концов приняли такое постановление (Меркурий громко его огласил, а Вулкан запечатлел на меди):

Навознику и орлу вести вечную войну по собственному усмотрению;

Какой бы ущерб каждая из сторон ни понесла, исков по этому случаю не вчинять, все относя на счет войны;

Все, приобретенное грабежом, остается во владении приобретателя по праву войны;

Лишь одно не угодно богам — истребление любого из народов.

Посему в продолжение тридцати дней, когда орел высиживает яйца, враждующим воздерживаться от боев и соблюдать перемирие;

В продолжение этого времени навознику воспрещается появляться в общественных местах, дабы к голоду и трудам высиживания не присоединялось у орла чувство досады, связанное с войною.

И еще от себя Юпитер определил (хотя некоторые и возражали):

Справедливо на необъятных просторах Земли выделить хоть малый уголок, который служил бы прибежищем моему прислужнику и где он был бы в безопасности от набегов скарабей. Никаких новшеств при этом я не ввожу. Есть места, которые неведомы волкам; есть места, недоступные ядам и отравам; есть места, где не живут кроты. Вот и я отмерю несколько югеров во Фракии близ Олинфа, и если туда каким-либо образом, волей или неволею, нарочно или ненароком, ступит лапкою скарабей, да будет он предан смерти. И выйти, однажды вступивши, да не будет ему дозволено, но да терзается он мукою, покуда не испустит дух. Имя этому месту нарекается Канфаролефр, дабы само название предупреждало навозника, что он погиб, ежели, вопреки нашему

постановлению, дерзнет туда вторгнуться. А дабы никто не счел бесчеловечным, что Олиньф закрыт для навозника, орел отныне изгнан с Родоса.

Так он сказал и кивнул — и Олимп всколебался великий, и все собрание богов задрожало. И до нынешнего дня сохраняет силу это постановление, и сохранит навсегда. Война не на живот, а на смерть между навозником и орлом продолжается, но в те дни, когда орел высиживает птенцов, сынов скарабеевых не увидишь нигде. Место, отведенное Юпитером, они обходят с величайшим тщанием, а если принесешь туда навозника, он тут же издохнет. Свидетельствует об этом, — если кто станет искать свидетеля, — Плиний в XXVII главе Книги одиннадцатой; и еще один автор, более почтенный, — Плутарх, в заметках «О безмятежности духа».

Но я прекрасно знаю, любезный читатель, что ты уже давно недоумеваешь и спрашиваешь себя: «Что это с ним? По какому случаю намолол он столько вздора? И даже не из мухи делает слона, как говорится, а из навозника — гиганта! Как видно, мало ему хлопот со всеми этими тысячами пословиц, — не успокоится, да не заморит нас, вдобавок, нестерпимо многословными баснями!» Сейчас я все объясню. Поскольку у каждого свое мнение, есть люди, которые мои объяснения к пословицам считают скудными и постными. На их вкус только одно замечательно — если растянешь книгу до бесконечности. Вот им-то мне и хотелось показать, что я краток умышленно, но что недостатка в средствах для раскрашивания и расцвечивания у меня нет, да только цель у меня другая — помочь читателю, а не похвастаться изобилием в речах.

Но пора наконец вернуться к пословицам.

Эту басню поминает комедиограф Аристофан εν Εἰρήνῃ⁴⁷, и вот в каких выражениях:

⁴⁷ В «Мире» (греч.).

Ἐν τοῖσι Αἰσώλου λόγο'ς ἐξευρέθη
Μόνος πετεινῶν εἰς θεοῦς ἀγμένους.
Αλ'στον εἶπας μῦθον, ὦ πάτερ πάτερ,
Ὅπως κάκιστον ζῶον ἦλθεν εἰς οὐρούς.
Πλοεὶν κατὰ ἔχθραν αἰετοδ' ἀλάλι ποτέ,
Ὡ ἐκκυλίνδων κἀντιτιμωρούμενος.

То есть:

(Тригей)

Не знаешь? В баснях у Эзопа сказано,
Что из крылатых жук один небес достиг.

(Девочка)

Отец, отец, невероятно все-таки,
Чтобы богов достигла тварь вонючая.

(Тригей)

С орлом враждуя, жук когда-то в небо взмыл
И там разворошил гнездо орлиное,
Ответной кары ожидая от орла.

Притча внушает, что нельзя презирать врага, даже самого ничтожного. И правда, есть людишки совсем ничтожные, но злобные, такие же черные, как навозники, и такие же гнусные и докучливые, и такие же презренные; пользы от них никому из смертных не может быть ни малейшей, а упорной своею злокозненностью они часто умудряются причинять неприятности даже и высоким особам. Они запугивают чернотой, оглушают жужжанием, дурманят смрадом, кружат неотступно подле, строят козни, так что намного лучше враждовать с большими людьми, чем раздражить этих скарабеев, которых и побеждать-то неловко, и отогнать невозможно, и борьба с которыми непременно тебя же опоганит и замарает.

ШИМОН МАРКИШ

Краткая биография

Шимон Маркиш родился 6 марта 1931 году в Баку, рос и воспитывался в Москве.

Отец — Перец Маркиш (1895–1952), поэт на идиш, расстрелян в последнем сталинском процессе, завершившем «антикосмополитическую» кампанию и уничтожающем еврейских деятелей культуры. Мать — Эстер Лазебникова (1912–2010).

Войну семья провела в эвакуации с другими писательскими семьями в Чистополе и Ташкенте (1941–1943).

Маркиш записался в МГУ на английское отделение. После ареста отца не мог остаться на престижной специальности, перевелся на классическую филологию. Преподаватели, главным образом Сергей Иванович Соболевский, профессор старого поколения (ему было за 90), сразу заметили в нем талант.

Учебу прервала ссылка — семья, не имевшая вестей об отце, была арестована и отправлена в тюремных вагонах этапом в Среднюю Азию, в Казахстан (Кзыл-Орда) в январе 1953 г. За неделю до ареста Маркиш в ускоренном процессе защитил свою диссертацию об Апулее, но диплома не получил. В ссылке он работал кладовщиком, а с изменением положения после смерти Сталина преподавал в школе самые разные предметы.

Маркиш вернулся в Москву летом 1954 года, женился, у него родился сын.

Получив диплом тем же летом, начал работать переводчиком в Государственном издательстве художественной литературы (1956–1962). Переводил в первую очередь с греческого и латинского, но и с английского, немецкого, иногда под чужим

именем. В 1962 году его приняли в Союз советских писателей (с рекомендацией Анны Ахматовой), и стал «свободным» переводчиком (как он писал в биографии, «фриланс»). Между 1958 и 1970 годами был соредактором серии книг по теории художественного перевода «Мастерство перевода».

В 1970 году женился на венгерке, в августе переехал в Венгрию, и сразу сменил гражданство. Работал над темой «Эразм и еврейство». Перевел том венгерских народных сказок. Вступил в Венгерский филиал Клуба Пэн (Pen Club). Родился второй сын. Работы не нашел, поэтому не получил паспорта и не мог выехать из страны, повидаться с матерью, эмигрировавшей в Израиль в ноябре 1972 года после долгого ожидания разрешения на выезд. В 1973 году Маркиш поехал в Москву, похоронить бабушку, чтобы больше никогда не возвращаться в Россию. Устроившись с помощью Дюла Ортутай (фольклориста и политика культуры) на работу «без зарплаты» в Институте литературоведения Венгерской Академии Наук, он мог получить паспорт и поехать в Париж, где уже обсуждались планы о его переезде на Запад.

Через парижских знакомых он скоро получил приглашение на работу в основанное тогда русское отделение Женевского университета. С трудом получил разрешение на выезд на один учебный год, приехал в Женеву вместо сентября 1973 года в феврале 1974 году, с опозданием на семестр, с визой до лета. По истечении паспорта не вернулся в Венгрию, стал невозвращенцем. Жена с сыном не поехали за ним.

Маркиш работал в Женеве 22 года, вплоть до пенсии (1996).

Получил израильский паспорт в 1975 году. В 1982 году женился в третий раз.

В 1983 году защитил докторскую диссертацию на тему «Русско-еврейская литература» в Сорбонне (Нантерр, Париж X).

В 1983 году преподавал один семестр в Университете Колгейт (Colgate University, Hamilton, New York).

В 1987 году был приглашен в качестве старшего исследователя в Исследовательский институт Еврейского университета в Иерусалиме на 3 месяца, работал в архиве Жаботинского.

Между 1991 и 1993 годами был соредактором «Еврейского журнала» (Мюнхен).

С 1991 года жил попеременно в Женеве и Будапеште с четвертой женой, Жужей Хетени.

В 1995 г. получил обратно венгерский паспорт, которого его лишили в 1987 году, а в 1997 году стал гражданином Швейцарии.

В 1996–1997 академическом году был приглашен на пост профессора по гуманитарным наукам на кафедру англистики во Флоридском интернациональном университете (Florida International University, Miami, USA).

В 1998 году читал пленарный доклад на Нобелевском симпозиуме по художественному переводу в Стокгольме.

В 1999–2000 академическом году был старшим исследователем в исследовательском институте в столице Венгрии (Collegium Budapest for Advanced Studies).

В 2002 году он читал юбилейный доклад в международном Обществе Эразма Роттердамского (Erasmus of Rotterdam Society) в Голландии.

Последней завершенной работой Маркиша в октябре 2003 году был совместный с Жужей Хетени перевод романа венгерского Нобелевского лауреата Имре Кертеса «Обездоленность» на русский язык, за который они были удостоены призом-стипендией по художественному переводу Милана Фюшта при Венгерской Академии Наук.

Он умер внезапно 5 декабря 2003 году в Женеве.

Библиография работ Шимона Маркиша по Эразму и его эпохе

Книги

- 1966 Никому не уступлю. М., Детская литература, 1966. 213 С.
- 1969 Niekam Nenusileisiu. Verte Zilioniene M. («Никому не уступлю», на литовском). Vilnius, 1969. 217 С.
- 1971 Знакомство с Эразмом из Роттердама. М., Художественная литература, 1971. 223 С.
- 1976 Rotterdami Erasmus. (на венгерском). Пер./Ford. Farkas János László. Budapest, Gondolat, 1976. 357 С.
- 1979 Erasme et les juifs, traduit du russe par Fretz M., Lausanne, L'Age D'Homme, 1979. 209 С.
- 1986 Erasmus and the Jews. Transl. by Anthony Olcott, afterword by Cohen A. A., Chicago, University of Chicago Press, 1986. 203 С.

Статьи

- 1960 Первое русское издание произведений Гуттена. // Вестник истории мировой культуры 1960. 1. 130–133.
- 1963 Интонация русского Рабле. // Мастерство перевода. Сб. 3. М., Советский писатель. 1962. С. 134–156.
- = Русский Рабле. Литературная Россия, 1 февраля 1963.
- 1966 Эразм из Роттердама (к 500-летию со дня рождения). // Вопросы литературы 1966. 11. С. 139–155.
- 1966 Похвальное слово Эразму из Роттердама // Литературная газета 1966. № 127. 27 октября. С. 3.
- 1966 (об Эразме) // Труд, октябрь 1966 ?

- 1972 Janus Pannoniusról — a kívülálló szemével. [Янус Паннониус — взгляд со стороны]. // Kortárs 1972. 4. 598–602.
- 1973 Erasmus és a zsidóság [Эразм и евреи]. // Filológiai Közlöny XIX. 1–2. 1973. 90–96.
- 1975 The Correspondence of Erasmus. Letters 1 to 141. 1484 to 1500. Transl. by Mynors A. B., Thomson D. F. S., annot. by Ferguson W.K. Toronto and Buffalo 1974. // Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance 37 (1975) P. 299–301.
- 2001 Прощание с Эразмом, или был ли Эразм антисемитом? // Лехаим 2001. 3. (107)
- 2002 Erasmus and the Jews. A Look Backwards. Twenty First Annual Birthday Lecture. // Erasmus of Rotterdam Society Yearbook Twenty-Two. (2002) P. 1–9.
- 2004 Прощание с Эразмом. // Иерусалимский Журнал 18, 2004. С. 207–209. (посмертно из архива)

Переводы, редакция

- 1958 Эразм Роттердамский: Похвала глупости. Пер. Губера П. / Ред. Маркиша С. М., Художественная литература, 1958. 291 С. = 1960 Гос. издательство художественной литературы, М., 1960. 167 С.
- 1958 Примечания. // Франсуа Рабле. Гаргантюа и Пантагрюэль. Перевод Н. Любимова. М., Государственное Издательство Художественной литературы. 1958. С. 639–703.
- 1959 Ульрих фон Гуттен: Диалоги, публицистика, письма. Сост. и перевод с латинского Маркиша С. М., Издательство Академии наук СССР, 1959. 522 С.

1962 Гуттен У. Письмо Лютеру;

Гуттен У. Из диалога «Вадиск, или римская троица»;
Шишигорич Ю. О некоторых обычаях граждан Шибеника
из книги «О местоположении Иллирии и о городе Шибенике»;

Панноний Я. Письмо Галеотто Марцио;

Богуслав Гасиштейнский из Лобковиц. Письма;

Кржицкий А. Письмо Эразму Роттердамскому;

Сарницкий С. Из «Описания государства Бабинского, составленного, дабы повеселить читателя».

// Хрестоматия по зарубежной литературе. Эпоха Возрождения. В 2-х тт. Т. 2. / Сост. Пуришев Б. И. М., Учпедгиз, 1962. С. 296–297, 289–296, 375, 442–444, 458–465, 476–479, 482–485.

1969 Эразм Роттердамский: Разговоры запросто. Перевод с латинского и предисловие Маркиша С. М., Художественная литература 1969. 703 С.

1971 *Эразм Роттердамский.* Навозник гонится за орлом. Перевод с латинского и примечания. // Себастиан Брант «Корабль дураков»; Эразм «Похвала глупости» «Разговоры запросто»; «Письма темных людей»; Ульрих фон Гуттен «Диалоги». Примечания Маркович Е., Пинский Л., Маркиш С., Цетлин М. М., Художественная литература, 1971. С. 208–235, 236–394.

1971 *Ульрих фон Гуттен.* Переводы с латинского // там же (Себастиан Брант....., 1971.) С. 505–682.

A Summary

The second volume of "The Unvanished Past: Collected Works of Shimon Markish" includes writings about the era of Renaissance and Reformation. The text of the book "Meet Erasmus of Rotterdam" (1971) is accompanied by articles published mainly between 1966–1986, on Hutten, Erasmus, and their time. Two confessionalary lectures with similar titles overview the history of Erasmus-studies of Soviet times. Three translations are also included: "A dung beetle hunting an eagle" by Erasmus; a text about tyranny; and two forgotten translations from 1962 (of Pannonius, and Cricius) retrieved along with the other five only in 2021. They are mentioned in the article on Janus Pannonius re-translated from Hungarian for this book.

This edition is launched for commemorating the 90th birthday of Shimon Markish (March 6, 1931–December 5, 2003).

The uniqueness of this series consists in the fact that it covers all the fields of Markish, a classic philologist, researcher of the era of Humanism-Renaissance-Reformation and the founder of the now flourishing research area of "Russian-Jewish literature"; and in the fact that it shows him as a researcher, publicist and translator at the same time, but especially in the fact that – unlike the first editions of these texts (often with errors), their illegal versions (on the Internet or reprint books) – all texts are corrected on the basis of original manuscripts, typescripts and articles in journals and books corrected by the author's hands even after publication, from his library and archive. The volumes of the series include also archival materials that have never been published or only in other languages; and the full version of those texts that were shortened by editors as well.

* * *

This open-access text **has copyright restrictions** entailing the obligation of proper referencing and quoting according to common academic rules.

Any form of reprinting or reusing is allowed only by permission or by contract with the copyright holder.